

# СИБИРЬ

4 • 2024

225 лет

со дня рождения  
Александра Сергеевича

Пушкина



*А. Пушкин*



Фото И.А. Прищеповой



# СИБИРЬ

405/4 4•2024

Литературно-художественный  
журнал писателей Восточной Сибири  
Учредитель — Иркутское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Союз писателей России»  
Журнал выходит при финансовой помощи  
Министерства культуры Иркутской области  
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

## Содержание

### Александр Сергеевичу Пушкину 225 лет

Памяти Александра Пушкина

**Владимир Скиф.** И вдоль земли скользят немые тени... ..... 3

### Поэзия

90 лет со дня рождения выдающейся русской поэтессы

**Светлана Кузнецова.** «На окраине русской надежды...» ..... 21

**Татьяна Белявская.** «Берёза в чёрном от корней до кроны...» ..... 99

**Маргарита Графова.** Песня праведного сердца ..... 115

**Александр Кобелев.** Картинки из детства ..... 165

### Проза

125 лет со дня рождения

**Андрей Платонов.** Тверской бульвар. Притча.

Вступление и заключительная часть — **Анатолия Сосунова** ..... 9

**Иван Комлев.** Рождество 1987 года. Роман. Части II, III ..... 28

**Геннадий Ефиркин.** Ностальгия. Рассказы ..... 103

**Дмитрий Овчинников.** Благое дело. Рассказ ..... 119

### Очерк и публицистика

**Ирина Прищепова.** «Вода, вода, кругом вода...». Об очерке В.Г. Распутина

«Вниз и вверх по течению» ..... 126

**Олег Нехаев.** Подлецы таких не переносят ..... 144

## Литературная критика

**Наталья Егорова.** Золотой самородок на соболиной тропе.  
*О жизни и творчестве Светланы Кузнецовой* ..... 170

## Культурная жизнь

**Антон Лухнев.** Путь к Пушкину ..... 185

## Книжная лавка

**Вячеслав Лютый.** На русском перепутье.  
*Изображение и смысл в поэзии Владимира Скифа* ..... 187

**Эдуард Анашкин.** Светлое триединство ..... 193

Книжная полка ..... 197

Главный редактор **Ю.И. БАРАНОВ**  
Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**  
Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

### СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,  
М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.  
Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: shurnal\_sibir\_irkutsk@mail.ru  
Подписано в печать 14.07.2024 г. Дата выхода в свет: 28.07.2024 г. Формат 70x108/16.  
Усл-печ. л. 20. Тираж 1000. Цена свободная.  
Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес издателя: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.  
Отпечатано в типографии: ООО «Цифровик»  
Адрес типографии: 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2

# Александр Сергеевич Пушкину 225 лет



## ВЛАДИМИР СКИФ

### И ВДОЛЬ ЗЕМЛИ СКОЛЬЗЯТ НЕМЫЕ ТЕНИ...

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

#### Святогорский монастырь

В Петербурге равнодушном  
Поселилась пустота.  
Мчится гроб по ночи выюжной  
В Святогорские места.

В доме няни свет потушен,  
Скорбных песен не поют...  
Мчатся тучи, выются тучи,  
Тени, бесы ли снуют?

Святогорская ограда  
Моровых не знала зим.  
Шелестит над белым садом  
Шестикрылый Серафим.

Триединый конь блистает  
Тёмным оком у крыльца.

А над ним душа летает,  
Словно не было конца.

Над оградой, над Собором,  
Над серебряным крестом  
Пролетит она и скоро  
Повстречается с Христом.

— Эй, жандарм! Гляди-ка в оба!  
Гроб обвязан... Что с того?  
Отворилась крышка гроба,  
А во гробе — никого...

Тишина. Тропа кривая  
Убегает за пустырь...  
Камер-юнкера скрывает  
Святогорский Монастырь.

#### Василий Жуковский

И в Петербурге, и в Москве  
Жуковский первым слыл поэтом...  
И вдруг явился Пушкин в свет  
И полыхнул нездешним светом.

Переполюня счастьем мир,  
Сияло пушкинское Слово,  
Как будто Пушкин отломил  
Лучи у солнца золотого.

...Жуковскому был знак: окрест,  
Под пенье струн и переклики,

Спустились Ангелы с небес  
И с ними — отрок смуглолицый.

«Приходит Пушкин на века!» —  
Земля и небо говорили.  
Жуковскому ученика  
Неужто боги подарили?!

Ах, ученик! Был ученик —  
Непревзойдённый сочинитель,  
Он в душу русскую проник,  
И это чувствовал учитель.



Над веком Пушкин воспарил,  
В нём бились мировые страсти.  
Жуковский рядом пел, творил  
И света Пушкину не застил.

Его в невзгодах не бросал,  
Поэтом истинным рождённый,  
И на портрете написал,  
Что он — Учитель Победённый.

## Евгений Боратынский

В свои расселины вы приняли певца,  
Граниты финские, граниты вековые...  
*«Финляндия», Евгений Боратынский*

Поэт Евгений Боратынский  
По зимней улочке идёт...  
На ветках иней цепкий, стынкий  
Колючкой белою цветёт.

Сапог соскальзывает финский  
И с горки катится притом...  
Поэт Евгений Боратынский  
Стучится в мой полночный дом.

С утра прозрачно, к ночи звёздно,  
Земля намаялась и спит.  
Прошёл обоз. В лесах морозно,  
На небесах — звезда скрипит.

Мы с дочкой гостя принимаем  
И замечательно поём...  
Кто этот гость? — пока не знаем,  
Но постепенно узнаём.

... Ушли из памяти ордынцы,  
Ермак не выплывет со дна...  
Над тёмным миром Боратынский  
Идёт куда-то мимо сна.

Уходит гость. Плита остыла.  
Зарделись города верхи.  
А дочка песню сочинила,  
Взяв Боратынского стихи.

## Антон Дельвиг

Лицея удивительная дельта  
Произошла из многих рукавов,  
Среди которых полнозвучный Дельвиг  
Был чародеем музыки и слов.

Да только Дельвиг не оставил силы,  
Чтоб долго жить. Он в вечность уплывал.  
И вот: «Зовёт меня мой Дельвиг милый!» —  
Воскликнул Пушкин и в закат упал.

Он был поэтом милостию Божьей,  
Самозабвенно рифмами играл.  
В свои друзья, пройдясь небесной пожней,  
Его лицейский Пушкин выбирал.

...Создатель русских песен и романсов  
Убийство друга из-за туч видал...  
Когда на небо Пушкин поднимался,  
Его у рая Дельвиг ожидал.

Они вдвоём по космосу витали,  
Летали посреди иных миров  
И славы на земле своей достали,  
И обагрились кровью вечеров.

Земля кричала, бесов ли венчала?  
По снегу вился многоглавый змей...  
А на губах у Дельвига звучало  
Так больно: «Соловей мой, соловей!».

## Сергей Соболевский

Я твёрдо убеждён, что если б  
С.А. Соболевский был тогда  
в Петербурге, он, по влиянию  
его на Пушкина, один мог бы  
удержать его от дуэли

*В.А. Соллогуб*

Ах, Соболевский, Соболевский,  
Какая строгая печаль  
Объяла нивы, перелески,  
Российскую немую даль.

Молчат прострелено опушки,  
Они запомнили навек,  
Как раненый Дантесом — Пушкин  
В голубоватый падал снег.

А Соболевский вдоль Парижа  
Слонялся в этот чёрный день,  
Он Петербург как будто слышал,  
Вдруг Пушкина явилась тень...

Тень Пушкина среди Парижа?!  
...Десяток дней вы были врозь,  
И вот друзей верней и ближе  
На Чёрной речке не нашлось.

...Эпоха призакрыла веки,  
Когда закончилась дуэль.  
И села, кажется, навеки  
Россия с той поры на мель...

На Чёрной речке ветер резкий  
По февралю крылом забил...  
Ах, Соболевский, Соболевский,  
Ведь Пушкин так тебя любил...

## Вильгельм Кюхельбекер

В этом длинном забеге  
От рожденья до смерти  
Шёл Вильгельм Кюхельбекер  
Присяжным у бессмертья.

Коренник Александр  
Сергеевич Пушкин  
В кущи райского сада  
Был Всевышним допущен.

А Вильгельм Кюхельбекер —  
В этой жизни — продлился,  
Над Сенатской, как беркут,  
Покружил и спустился

На обочину века,  
На окраину жизни,

Где морозное млеко —  
Это млеко Отчизны,

Где являлся он миру  
В кольцах зимнего свея,  
Грелся пушкинской лирой,  
Миражами Лицея.

Позабытый в столицах,  
Поискрошенный болью,  
Как подбитая птица,  
Умирал он в Тобольске.

В неказистой избушке  
Видел он, умирая,  
Как махал ему Пушкин  
Из Лицейского рая.

## Константин Данзас

Настоящее — потёмки,  
А не прошлое, Данзас!  
Вновь тебя корят потомки,  
Что поэта ты не спас.

Лучше вечным арестантом  
Быть иль заживо сгореть,  
Чем остаться секундантом,  
Секундантом умереть.

Отврати сию нелепость,  
И тебя бы мир простил...  
«Ты меня везёшь не в крепость?» —  
Горько Пушкин пошутил.

Пролетите, кони, мимо!  
Там, на речке, ждёт беда,

Что не будет поправима,  
Не исчезнет никогда...

Но летят, рыдая, кони  
К той дуэли роковой.  
От себя ли, от погони  
Мчит поэт — ещё живой.

Роль Данзаса, роль Дантеса  
В это драме знаем мы.  
Там смертельная завеса  
Снега, инея, зимы...

Грянет выстрел среди леса,  
Обнадёжит выстрел нас...  
Но убьют здесь не Дантеса!  
Что же ты молчишь, Данзас?..

1980

## Наталья Горчарова

Пронзают вечность журавли  
Своими крыльями тугими.  
Ко мне во сне явилось имя,  
И это имя — Натали.

Я видел бледное лицо,  
Я на крыльцо взошёл несмело...  
Мне имя тонкое звенело,  
Как обручальное кольцо.

А ноги сами в дом несли,  
Где свечи, платья кружевные...

Я заглянул в глаза живые  
И остутился — Натали!

В её глазах — забытый век,  
А там: Россия, Пушкин, осень.  
Там Бог в бессмертие уносит  
Поэта, павшего на снег.

Сквозь лёд окошка — на полу  
Свивались лунные дорожки.  
Он умирал, просил морошки...  
И дьявол столбенел в углу.

1997

## Мария Волконская

Утаённая любовь Пушкина — глубокое чувство, испытанное поэтом на юге. С ним обычно связывают поэму «Бахчисарайский фонтан» и ряд стихотворений. По одной из версий, «утаённая любовь» выступает в собственноручном донжуанском списке под литерами NN. Пушкинистами предполагалось, кто была вдохновительницей утаённой любви — Мария Раевская (впоследствии княгиня Волконская, жена декабриста).



Тогда, на южном берегу,  
Он за тобою шёл упрямо,  
Вписал следы твои в строку,  
А имя в дневниках упрятал.

Ты в тайном списке — имярек,  
Тебя любил он безнадежно...  
Горел, бурлил кровавый век,  
Растил мятежников прилежно.

К Сенатской — двигались года,  
Как будто бравые драгуны.  
Начало бурь! Уже тогда  
Звенели пламенные струны.

Уже Волконский начинался,  
Рылеев рифмами трубил.  
А Пушкин... Он тебя любил,  
Но миру в этом не признался.

1977

## Дантес

Уснули грозы до весны,  
Заборы шаткие  
Уснули.  
И твёрдый снег  
                          из тишины  
В лицо ударил,  
Словно пули.

Запела вьюга, зачала  
В крошечной мгле  
Хромого беса,  
И снарядила,  
                          родила  
Слепую пагубу —  
Дантеса...

А Пушкин — вечность!  
Неспроста  
Над ним сновали  
  злые силы.  
И бездна бездны — пустота  
Сиянье вечности  
Гасила.

Белел, как смерть,  
Январский лес —  
Под чёрным пологом  
  навета,  
В тот день  
Себя убил Дантес,  
А не Бессмертного Поэта.

1967

## Ломоносов

Открылась бездна, звезд полна,  
Звездам числа нет, бездне дна...

*Михайло Ломоносов*

Не дымится пространство, уж тихо и поздно,  
По дороге небесной ходит светлый Господь.  
И заснула Россия, и речкою звёздной  
Проплывают планеты и лунный ломоть.

Сколько плотных веков над землёй просквозило,  
Сколько звёздных миров прокатилось над ней.  
И горючей тоской зазвенела Россия  
Над печалью соборов, над сонмом полей.

Может быть, оживёт в новом времени Пушкин,  
Может, Лермонтов бросит скитаться в раю,  
Сдвинет с ним и со мной белопенные кружки,  
И они зазвонят в сумасшедшем краю.

Полетит этот звон по дороге небесной,  
Задохнётся дорога, от века темна...  
И шагнёт Ломоносов на землю из бездны,  
И пройдёт по земле ледяная волна.



*125 лет со дня рождения*

## АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ



---

ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (настоящая фамилия Климентов) — русский советский писатель, поэт, публицист, драматург, сценарист, журналист, военный корреспондент. Инженер-изобретатель, получивший целый ряд авторских свидетельств и патентов. Участник Великой Отечественной войны.

Родился 16 [28] августа 1899 года в Воронеже.

Выходец из пролетарской семьи, Андрей Платонов до последних дней оставался убеждённым коммунистом, причём — сталинского настроя, не раз пытался вступить в партию и своим творчеством искренне полагал ускорить победу не замузнёного грязью коммунизма. «Антисоветскими» его творения становились совершенно помимо его воли и желания, исключительно благодаря огромному художественному чутью и честному отношению писателя к неповторимому своему дару.

Автор романов «Чевенгур», «Счастливая Москва», множества повестей и рассказов, среди которых «Сокровенный человек», «Ювенильное море», «Епифанские шлюзы», «Котлован», «В прекрасном и яростном мире», «Джан», «Возвращение».

Андрей Платонов — создатель уникального литературного стиля, одной из особенностей которого является употребление детской лексики для выражения далеко не детских вещей и мыслей и опять же с сугубо детской прямоотой и дошностью.

Сталин, пристально следивший за Платоновым, назвал его язык тарабарским и поручил Горькому «перевоспитать» писателя в целом.

Горький, прочитав в рукописи роман «Чевенгур», нашёл его *“чрезвычайно интересным”*, разглядел в Андрее Платонове нового Гоголя, но усомнился, что роман решатся издать.

Самые известные произведения Андрея Платонова долгое время находились под запретом даже после ранней смерти писателя от туберкулёза в 1951 году. Не каждый читатель и сегодня сразу поймёт, что такое «Чевенгур»: грустный шарж или убойная карикатура на коммунизм.

В мировой культуре XX века Андрей Платонов стоит в одном ряду с выдающимися создателями новых направлений и стилей в литературе: Францем Кафкой, Джеймсом Джойсом, Робертом Музилом, Эженом Ионеско, Сэмюэлем Беккетом. Есть также основания считать его писателем-экзистенциалистом.

Андрей Платонов умер 5 января 1951 г. в Москве.

## Тверской бульвар

### Притча

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нём написаны стихи, и со всех четырёх сторон к нему поднимаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, — и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нём лежал кусок чёрного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счёт искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было своё горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живёт неправильно, или просто он выпил вина...

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка ещё не спит и даже в темноте вечера занята работой на своё пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, — он не держит воробья, когда тот протирает утомлённые крылья, так что воробью приходится всё время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашёл. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он не даром прилетал — хоть что-нибудь, а взял! Пусть живёт и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр — на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик всё же терпеливо ожидал воробья, и на четвёртые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошёл с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажать себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий тёплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нём: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещённые электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло ещё пять дней, а воробей всё не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с крошенным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

**В** глубине зимы, близ полуночи, началась однажды позёмка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного

вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, — и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его тёплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала помещением футляра, а воробей всё ещё шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наесться надолго. Старик подошёл к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своём сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой позёмки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсионер услышал пение выюги за окном. Морозный, жёсткий снег нёсся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло ещё ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевлённой игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придётся. Сегодня поёт буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Всё же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошёл по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от трущегося по нём летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесёт хлеб, и снег засыплет его. Всё равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шёл поток урагана, — худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошёл к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоятся прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

**С**едой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошёл пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порывался ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдуваемые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принёс ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зёрен: их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока



он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгрёб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замёрзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Всё-таки воробей спал осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твёрдый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.

Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чём-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, — ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съёжился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.

Когда воробей проснулся во второй раз, его всё ещё несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато и тепла не было, — он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдётся.

Проснулся воробей на земле, в чистой и тёплой тишине. Он лежал на листьях большой зелёной травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошёл кормиться.

Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зёрнами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепёшками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно; он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать ещё немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого чёрного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения тёплой, тёмной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.

Спустя время воробей нашёл себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там ещё жила одна змея, но у неё не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, — и мелкие земляные животные оставались у неё внутри, а сжёванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в её тёмные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на неё и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвёт его, спящего, с камня и унесёт обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населённой, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живёт сейчас в тёплом, цветущем краю и спит по ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживёт его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один её чёрный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходило сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он ещё живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замиранья сердца, старик услышал могучий ветер;

стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья, и воробей пожил бы ещё на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенёс зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха, и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нёс его могучей силой в далёкую сторону. Воробей не боялся полёта и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжёлом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из тёплой страны, зёрна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьём, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бую, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снёс его в сторону — сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперёк бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибывались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из неё. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полёт против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого чёрного хлеба, — летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

**В** весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил её на лапки возле себя. Во всё время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошёл на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил её на покой в коробку с ватой.

После этого старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина, и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошёл покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучёт товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

— Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

— Давай, — сказал он. — А где вы её взяли?

— Она сама с неба на камни упала, — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мёртвая. Старик положил её в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошёл дальше.

Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснётся.

Напившись чаю, музыкант бережно лёг спать на бок, не желая повредить воробья.

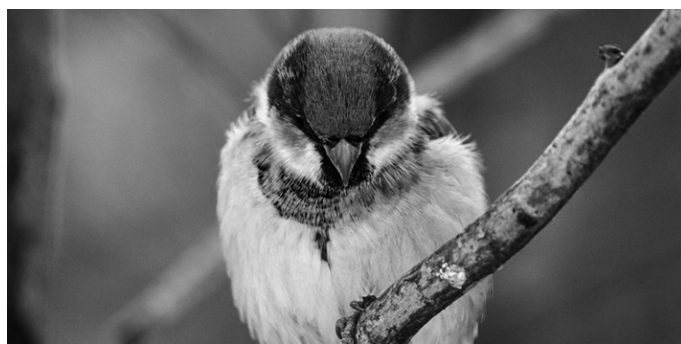
Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! — подумал старый человек. — Значит, сердце его отошло от смерти!» — и он вынул воробья из теплоты под свою рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, — там лежала вата, там воробью будет мягко.

На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками вверх, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.

Вечером старый музыкант не пошёл на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке не доставало чего-то для полного утешения горящего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.



***Я стал доступен утешенью;***

*За что на Бога мне роптать,  
Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать!*

*В чужбине свято наблюдаю  
Родной обычай старины:  
На волю птичку выпускаю  
При светлом празднике весны.*

Памятник автору этих строк на Тверском бульваре — важнейший литературный образ в платоновской притче “...о воробье, унесённом ветром в рай и возвратившемся оттуда” (из записной книжки Андрея Платонова, 1936 г.). «Тверской бульвар» — изначальный заголовок (сегодня притча впервые печатается именно под этим заголовком). Андрей Платонов заменил его в надежде, что название «Любовь к родине» облегчит трудности с публикацией этой вещи.

Надежда оказалась тщетной — притча в печать не прошла. Красная площадь не уступила Тверскому бульвару, сердце отринуло душу.

Притча увидела свет спустя уже много лет после смерти автора, во времена хрущёвской «оттепели», под громоздким и поразительно узкоакцентуированным заголовком «Любовь к родине, или Путешествие воробья (Сказочное происшествие)».

В каждом из нас — кто любит мир и знает цену жизни — бьётся горящее сердце; каждый из нас нуждается в утешении, потому что все мы — и вольно, и невольно — наносим удар за ударом по жизни других существ.

Здесь скорбно и бессильно умолкает даже такой могучий целитель нашего сердца, как искусство. Здесь наша извечная вина вызывает к искуплению.

**Только прямое и неустанное пособничество торжеству чьих-то хрупких жизней, только спасение обречённого на гибель беспомощного существа может принести человеческому сердцу утешение, а душе — счастливое чувство собственной необходимости и важности в мире.**

**Птица — символ одухотворённости, символ души. Покормить птиц — значит напитать свои души добрыми чувствами, обрести утраченную одухотворённость.**

**Покормите птиц. Будьте добры. Будьте культурны.**

**P.S.** Чёрный хлеб и то, что говорится о нём в притче, следует принимать как метафору, как образное выражение. В действительности кормить птиц чёрным ржаным хлебом категорически недопустимо.

## **Быль и предания**

\* \* \*

По московскому бульвару неспешно бежит дворник с метлой и кричит:  
— Я вот те постреляю!..

От дворника удирает мальчик с рогаткой и думает: «Вот сейчас убегу... Вот

потом прибегу... Домой... Напьюсь молочка.... И сяду читать... Корнея Чуковского...»

А в это время усталый Корней Чуковский сидит на пленуме Союза писателей СССР и думает: «Какая серость!.. Какая бездарь!.. Где же русские писатели?.. Вот приеду домой, напьюсь чаю с вареньем, сяду в кресло и буду читать Хемингуэя».

А в это время Хемингуэй пьёт виски в американском писательском клубе и думает: «Эти ослы воображают, что они в самом деле писатели! Вот вернусь домой и сяду читать Андрея Платонова».

А в это время Андрей Платонов с метлой бежит по московскому бульвару за мальчиком с рогаткой и кричит:

— Я вот те постреляю!..

\* \* \*

Однажды на семинаре в Литературном институте студенты спросили: кто из современных русских писателей самый лучший?

Старый писатель, проводивший семинар, взглянул в окно и движением руки подозвал к себе студентов:

— Видите дворника? Вот этот дворник и есть лучший русский писатель.

Дворником в Литературном институте служил Андрей Платонов.

\* \* \*

Тверской бульвар. Здесь, кажется,  
вчера  
Андрей Платонов подметал  
дорожки.  
Шёл семинар у Федина.  
И кошки  
У мусорного ссорились ведра.

Москва спешила в тёплое метро,  
Несла коврижки, булочки,  
картошки...  
Андрей Платонов подметал  
дорожки,  
По вечерам дописывая «Фро».

А утром на скамеечке сидел  
И сыпал воробьям с ладони крошки.  
Ах, слово! Для него ты —  
свет в окошке,  
Тебя он в эти дни не проглядел.

Писал. Творил. Так гении творят.  
Он жил в какой-то тесной  
боковушке.  
Шутили институтские подружки:  
— Наш дворник сочиняет, говорят!



А он входил с Природою в родство,  
Сердечный вёл урок чистописанья...  
Бессмертие, и слава,  
и признание —  
Всё это будет!  
Только без него...

Эти строчки Владимира Скифа — просто замечательны, а другой известный иркутянин — Игорь Ширококов — однажды выразился так: *“Он дворник, но Дворник с Большой Дороги, с той Большой Дороги, по которой идём все мы, от мала до велика, летят птицы и плещет волна древнего озера, дороги, имя которой — Жизнь”*. Правда, сказано это было уже о другом дворнике...

\* \* \*

Один из античных правителей, известный своими военными неудачами, оказавшись после смерти в царстве теней, попросил богов показать ему самого способного полководца.

Ему показали.

— Да я же его знаю! — воскликнул изумлённый правитель. — Но ведь он был всю жизнь горшечником...

— Вот поэтому ты и не смог выиграть ни одного сражения, — услышал в ответ правитель.

\* \* \*

*“Ничего не меняется в нашем мире: как и прежде, молодёжь не хочет слушать старших, а всякий невежда мнит себя писателем”*.

Это изречение учёные открыли на папирусе древнего свитка.

\* \* \*

Многие творения Платонова, и в первую очередь «Чевенгур», оставались под запретом ещё долгое время после смерти писателя.

За нелегальное ознакомление советских граждан с текстом романа «Чевенгур» можно было легко загреметь в тюрьму. Такая печальная участь постигла, например, в 1982 году иркутского журналиста Бориса Черных.

\* \* \*

Кто же мы, если взять нас на взгляд со стороны?

Андрей Платонов описывает земную жизнь с такой иноземной зоркостью, с таким неземным (как и Гоголь) акцентом и в таком надземном ракурсе, будто прибыл сюда откуда-то с другой планеты, специальным корреспондентом Космоса — сообщить землянам, что *“будет братство звёзд, зверей, трав и человека”* («Рассказ о многих интересных вещах», 1923 г.).

Такие посланцы время от времени появляются на нашем грустном свете, и тогда мы с удивлением и восхищением читаем:

*“...Если любишь цветок, что растёт где-то на далёкой звезде, хорошо ночью  
глядеть в небо. Все звёзды расцветают.*

*...И ты полюбишь смотреть на звёзды. Все они станут тебе друзьями.*

*...Взгляните на небо. И спросите себя: жива ли та роза или её уже нет? И вы  
увидите: всё станет по-другому”.*

Но это — уже Антуан де Сент-Экзюпери («Маленький принц», 1943 г.), мудрый Сент-Экс, ещё один великий провозвестник экокультуры — культуры нашего бытия в мире.

*Подготовка публикации,  
вступление и заключительная часть —  
Анотолия Сосунова,  
автора и ведущего пресс-акции  
«Покормите птиц!»*

# ПОЭЗИЯ



*90 лет со дня рождения выдающейся русской поэтессы*

## СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА



КУЗНЕЦОВА Светлана Александровна (1934–1988) родилась в Иркутске. Детство Светланы Кузнецовой прошло в Сибири на берегах Витима в центре Ленского золотопромышленного района в Бодайбо, где окончила среднюю школу. Поступила в Иркутский государственный университет на филологический факультет. После смерти отца оставила учёбу. Работала редактором художественной рекламы. Писать стихи начала в 9 лет. Первая книга поэтессы «Проталины» вышла в 1962 году в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» с предисловием известного поэта Александра Прокофьева, который выделил Светлану Кузнецову среди молодых и напутствовал её в поэзии. В 1964 году издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник Светланы Кузнецовой в серии «Библиотечка избранной лирики». Светлана Кузнецова переехала в Москву в середине 1960-х годов. Поступила в Литературный институт имени Горького. Окончила Высшие литературные курсы в 1965 году. Её приняли в Союз писателей СССР по рекомендации Александра Прокофьева. Творчество молодой поэтессы заметил Александр Твардовский: будучи главным редактором, он опубликовал в журнале «Новый мир» стихотворение Светланы Кузнецовой «Мои родители». С 1964 по 1972 год в московских издательствах — «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Советская Россия» выходят сборники стихов Светланы Кузнецовой: «Соболи», «Только о любви», «Сретенье», «Забереги». Её стихи публикуются в ежегоднике «День поэзии», в Библиотеке журнала «Огонёк», в газете «Литературная Россия». Она выступает перед большими аудиториями в московских вузах: в МГУ, в МЭИ, научно-исследовательских институтах. Песни на стихи Светланы Кузнецовой в исполнении дуэта популярных (с 2002 года — народных) артистов — Аллы Иошпе и Стахана Рахимова звучат на радио. В 1982 году в издательстве «Советский писатель» вышел новый сборник стихов «Гадание Светланы». Последний прижизненный сборник Светланы Кузнецовой «Стихотворения» выходит в издательстве «Советский писатель» тиражом 35 тыс. экземпляров в 1986 году. Подборка её стихов «Невидимый полёт» появилась в журнале «Новый Мир» (№ 9, 1988 год). В «Литературной газете» развернулась полемика о различии мужской и женской поэзии. В статье «Под женским знаком?» поэт Юрий Кузнецов (11 ноября 1987 года, № 46), рассуждая на эту тему, приводит примеры, проводя параллели между Нобелевским лауреатом Габриеллой Мистраль и Мариной Цветаевой, между Анной Ахматовой и Светланой Кузнецовой. В последние годы жизни Светлана Кузнецова подготовила и сдала в печать два новых сборника: «Второе гадание Светланы» и «Светлана Кузнецова. Избранное. Стихи». Обе книги вышли в издательстве «Советский писатель», когда её не стало — (в 1989 и 1990 годах).

## «На окраине русской надежды...»

\* \* \*

Милый друг, веселясь и горя  
На сплошной вековой мерзлоте,  
Так раскованно вдруг говорю я  
О роскошной своей простоте.

Потому что невиданно краток  
И невиданно беден мой миг,  
Не измерен в якутских каратах,  
Не исчислен страницами книг.

Мне не только глядеть не полезно —  
Чтобы выжить, не надо мне знать,  
Как упрямо ложится железо  
На сибирскую трудную гать.

Этот миг от тумана густого  
До небесной сквозной чистоты,  
От сибирского дна золотого  
До высокой моей нищеты.

1977

### Гадание Светланы

Не дороги, а тропинки  
Побежали по судьбе.  
Начинаются воспоминки,  
Как поминки по себе.

Начинает нечисть чары  
Залихватским говорком.  
Подымает нечисть чары  
С заграничным коньяком.

Зажигаю я на Святки  
Сине-черную свечу.  
Без опаски, без оглядки,  
С силой темною шучу.

Подымает мне в угоду  
Все одно и то же вновь:  
Поверх моря — непогоду,  
Поверх сердца — нелюбовь.

Ставлю зеркало в оправе  
Из литого серебра.  
Неразумный разум вправо  
Ждать от нечисти добра.

Дарит полуию поляну,  
Дарит полную луну.  
За подарками не встану,  
Даже рук не протяну.

Потому не захотела  
Очертить последний круг.  
Потому сказать посмела:  
— Кто явился, тот и друг!

Полунощною порою  
Не души своей мне жаль.  
За посулом, за игрою  
Вижу позднюю печаль.

Мне любой в друзья годится.  
Нету нечисти числа.  
Несыть жадная садится  
У накрытого стола.

Вижу позднюю дорогу  
Да порошу во полях.  
Вижу полностью, ей-богу,  
Всю поруху во друзьях!

1976

\* \* \*

*Алле Марченко*

Может, я ведьма уже, но еще не пророчица.  
Все, что скажу я, ты знаешь, подруга, сама:  
Умная женщина — это всегда одиночество,  
И одиночеством полнятся наши дома.

Век, нам доставшийся, с нами за что-то не нежен,  
И почему-то небрежен встречаемый друг.  
Бег наш по кругу, подруга, вполне безнадежен,  
Но ведь мы сами с тобой очертили тот круг.

Нас заморочили сны о иных вероятностях,  
Судьбы чужие должны мы по миру нести.  
Вот потому-то и тонем мы в тех неприятностях,  
От каковых только глупость способна спасти.

Может, я ведьма уже, но еще не пророчица:  
Что впереди там маячит — тюрьма иль сума?  
Умная женщина — это всегда одиночество,  
Стать же глупее — увы, не хватает ума...

80-е

## Посвящение сна

*Таисе Бондарь*

Там, где крест называется крыжем,  
За неверье казня и кляня,  
Словно ворон с готической крыши,  
Черный падает сон на меня.

Черный ворон стремится к вороне,  
Разбивается в кровь о стекло.  
Что мне думать сейчас об уроне,  
Коли в комнате темной светло?

Что мне думать о смысле полона,  
О добре размышлять и о зле,

Коль блестит серебро медальона  
Под луною на черном столе?

Кроны граба и красного тиса  
Замыкаются над головой,  
Чтобы ты мне приснилась, Таиса,  
В черной шали моей грозовой.

Чтоб, о краткости встречи жалея,  
Не пытаюсь судьбу прояснить,  
От забытой свободы шалея,  
До рассвета с тобой говорить.

80-е

\* \* \*

Перепуталось в сердце и зло и добро,  
Порвалась путеводная нить.  
Как прекрасно на черном столе серебро,  
Я бессильна тебе объяснить.

Я не властна тебе рассказать про рассвет  
У сибирского злого костра.  
За окном, над собором, которого нет,  
Воронье раскричалось с утра.

За окном над порубленным бором встает  
Тень его, как зеленая мгла.  
За окном над погубленным словом поет  
Золотая залётка пчела.

80-е

\* \* \*

Позабыв на часок про закаты  
И про след свой на зыбком песке,  
Я достану забытые карты  
И раскину на пестром платке.

И опять, доверяясь надежде,  
Я закрою на правду глаза.  
Ведь согласны служить мне, как прежде,  
Все четыре бывалых туза.

Ведь в послушном рисованном мире,  
Как положено, встав у руля,  
Неразлучны со мной все четыре  
Незабвенных моих короля.

Знаю все я, что мне они скажут,  
«Да» ответят они или «нет»,

И какой они выход укажут  
Мне оттуда, где выхода нет.

«Полно, полно, ведь все оно минет,  
Все промчится, пройдет, пролетит,  
Тяжесть камня с души твоей снимет,  
Да и рученьку позолотит.

Да и рученьку... Перстень игриво  
Самоцветом на пальце сверкнет,  
И неведенья льстивое диво  
К подобрешшему сердцу прильнет.

И тогда у черты этой самой,  
Что теряется где-то во мгле,  
Королевой, червонною дамой  
Напоследок пройдешь по земле».

80-е

\* \* \*

За той чертой, глубокой как овраг,  
Где сны мои сегодня побывали,  
Существовал когда-то враг и враг,  
Кудесник и мудрец существовали.

Врачу сказала — исцелился сам,  
Врагу сказала — я вражды не стою,

Кудеснику — не верю чудесам,  
А мудрецу — сумею быть простою.

Какой самоуверенной была  
В ту пору я, звездой своей хранима.  
Необратима радость, что прошла  
По берегам свинцового Витима.



Необратимо жаркое тепло,  
Дарованное мне оленьей паркой,  
Но обернулось оборотнем зло,  
Что проглядела я за песней сладкой.

И нету обручального кольца,  
Чтобы отлить на оборотня пулю...  
Стою одна и, не закрыв лица,  
Последнее возмездье караулю.

1980

\* \* \*

Мать моя лежала на столе  
Тихо, словно золото в земле.  
Тихо, словно золото лежала,  
Мне и брату не принадлежала.

Не принадлежала никому.  
И была счастливой потому.

1976

\* \* \*

Опять посреди непогоды  
Тревожу вопросами рань:  
— Зачем в лихоманные годы  
Меня родила глухомань?

Зачем, постигая безвестность,  
С напрасной мечтой о тепле,  
Несу я свою неуместность  
По этой холодной земле?

Зачем снеговая завеса  
Не скрыла от всех навсегда  
Меня, порождение леса,  
Меня, порождение льда?

...И слышу: — Не будет ответа.  
Напрасно себя не трави.  
Наложено вечное вето  
На эти попытки твои.

Зачем меня так обольщало,  
Томило тоской бытие,  
Веселую жизнь обещало,  
А вышло почти «житие»?

В надежную сеть мирозданье  
Сплело среди звездных систем  
Бессильное взрослое знанье  
И детскую муку — «зачем?».

80-е

\* \* \*

Молодые песни перепеты,  
А о новых я не хлопочу  
И совсем про давние рассветы  
Вспоминать сегодня не хочу.

Что мне думать о своих убытках?  
День сегодня бархатисто-мглист,  
Снег, как на рождественских открытках,  
Невозможно мягок и пушист.

Что мне думать про свое начало?  
Все равно уже не прояснить  
Суть того, что тело укачало  
И сумело душу подменить.

Что мне думать о своих потерях?  
Нынче мир по-новому богат,  
Нынче птицы в розоватых перьях  
Оттого, что близится закат.

Что мне думать о своих утратах?  
Скоро, оттого что ночь слепа,  
Заблудившись в именинных датах,  
Оборвется белая тропа.

Несомненно, жизнь идет на убыль.  
Несомненно, жизнь не удалась.  
Но ведь оттого и сохнут губы,  
Что в свой срок нацеловались всласть.

80-е

\* \* \*

Кто там за туманами прячется,  
Глядит сквозь морозную ночь?  
Сибирь моя, мать моя мачеха,  
Свою проглядевшая дочь.

Давно я ушла бесприданницей.  
Ты видишь, как руки пусты?  
Себя ощущая изгнанницей,  
Взрастила иные цветы.

И нынче под нравоучения  
Кричу, свою боль не тая:

К чему мне твои приключения,  
Былые твои соболя?

К чему невозвратные дали,  
В которых затерян мой брат,  
И годы, что не отрыдали  
Над перечнем давних утрат?

Разлуки с тобой не хотела...  
За что же, за что я в долгу?  
За то ль, что тогда уцелела  
На белом безгрешном снегу?

80-е

\* \* \*

О пути, что мне выпал на долю,  
Я последнюю песню пою  
И все ту же несладкую волю  
На последнем дыханье хвалю.

Я любила лукавого друга.  
Я пила молодое вино.  
И плясала вокруг меня вьюга,  
Та, что с веком была заодно.

Ликовала я с ней, горевала.  
Годы шли, оставались слова.  
Несчастливой себя называла,  
Но, как видно, была неправа.

Путь как путь. Он и прост, и опасен.  
Я прошла его так, как смогла.  
Однозначен мой мир, но прекрасен.  
Однозначна я в нем, но светла.

1974

\* \* \*

Позабыв про холод и про нарты,  
На придумку скорую легка,  
Красные раскидываю карты,  
Русского гадаю мужика.

Как ты ни раскидывай, однако,  
На плетне все так же виснет вновь

Красная немытая рубаха,  
Русская напрасная любовь.

На окне все так же загнивает  
Красная напрасная герань.  
Русский ворон надо мной витает.  
Дышит русской гибелью елань...

80-е

\* \* \*

А вы торопились, а вы не спросили.  
А вы посчитали все это игрой.  
А там начинались стихи о России,  
За тем перелеском, за тою горой.

Там время чеканило высшие пробы  
На всем, что в отвал отходило пустой,  
И там я однажды сронила в сугробы  
Тяжелый, наследственный крест золотой.

Сронила открыто, сронила, как откуп,  
Приучена опытом предков — платить.  
Так что же неймется небесному оку?  
Оплачен мой счет, и не стоит грустить.

Оплачен мой счет, и оплакана доля.  
Сибирская тройка умчалась, спеша.  
Огромность родного осеннего поля  
Теперь только может осилить душа.

И то не осилит. По краешку муки,  
Как ведьма, пройдет, заклинанья творя.  
Но знаю — за миг до последней разлуки  
Над ней ослепительно вспыхнет заря.

Что я призову у последнего крова,  
На самом последнем из смертных кругов?  
Лишь чёрную магию русского слова.  
Лишь белую магию русских снегов.

1977

\* \* \*

На окраине русского края  
Ничего у судьбы не молю,  
В сером сумраке лет вспоминая  
Тех поэтов, которых люблю.

Не такая случалась погода.  
Не такие творились дела.  
Бессловесная наша природа  
Не такие потери несла.

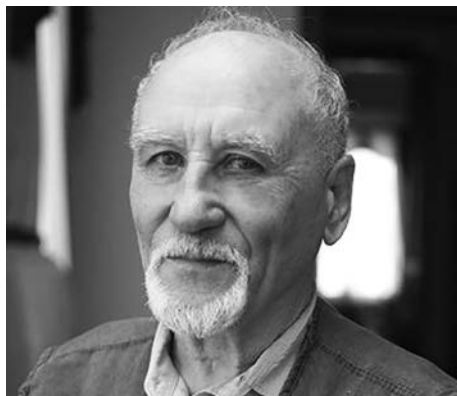
Уходили они в неизвестность,  
Приминая зыбучие мхи...  
Бессловесная наша словесность  
Не такие не помнит стихи.

На окраине русской надежды,  
На окраине русской беды  
Я смыкаю усталые вежды,  
И метель замечает следы.

80-е



ИВАН КОМЛЕВ



## Рождество 1987 года\*

РОМАН

Часть II, III

Глава 1

В небесной канцелярии, кажется, что-то напутали: обычно в конце декабря наступало потепление, и в новогоднюю ночь, как правило, шёл снег, падал крупными сказочными хлопьями, создавая праздничное настроение; но в этот раз последние дни уходящего года сопровождалась жестокими морозами; не отступил холод и тридцать первого декабря. Каретов по дороге домой дважды брался оттирать нос.

---

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист. Родился в 1940 г. в г. Омске. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-геодезист. Работал в экспедициях Главного управления геодезии и картографии в районах от Урала до Амура и от Байкала до моря Лаптевых. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России с 1991 г. Автор книг: «Ковыль»: повести и рассказы (Иркутск, 1990); «Лепёшка»: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); «У порога»: повести и рассказы (Иркутск, 1994); «Когда падает вертолёт»: повести и рассказы (Иркутск, 2001); «На рубеже»: публ. статьи (Иркутск, 2008); «Ковыль» (М., 2016), «Рядовой Иван Яценко» (М., 2019) и др. Лауреат конкурса «Золотое перо» (2002 г.), лауреат в номинации «Проза» и дипломант в номинации «Публицистика» Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад» — 2020 г., дважды лауреат премии им. А. Зверева журнала «Сибирь». Живёт в Иркутске.

---

\*Продолжение. Начало в № 1, 2024 г.

Дома в передней комнате стояла наряженная ёлочка.

Владимир уловил смолистый дух ели ещё в прихожей; сын, очевидно, устанавливая деревце, отпилил ствол снизу, обрезал лишние ветки, и пораненная ёлочка, в последний раз оживая в тепле, источала волнуемый аромат, который настраивал на ожидание чего-то необыкновенного и без того растревоженное сердце.

Блестящие шары всех цветов радуги, серпантин, игрушечные звери и птицы и, разумеется, розовощёкие Дед Мороз со Снегурочкой — этот буйный карнавал красок резко контрастировал с однотонной больничной обстановкой, и больница сразу ушла в прошлое, поблёлка и растворилась, как печальный сон. Но, как и от плохого сна, остался в душе осадок, нежелание, чтобы сон повторился вновь.

— Не хотели ставить, — сказала Тоня, внимательно высматривая в лице мужа ответ на мучивший её вопрос, — а потом решили, что лучше будет, если как всегда... Толик уже ушёл к своей, наверное до утра. Будем вдвоём.

— Вот и хорошо, — прошептал ей в губы Владимир, — главное — быть вдвоём!

— Ошалел. Булочки у меня в духовке сгорят, — отбилась от него жена. — Да и провонял лекарствами. Иди в ванную!

— Анекдот рассказать?

— Анекдот? — посмотрела удивлённо. — Какой ещё анекдот?

— От старичков услышал. Случай был такой на войне. Вышла часть на новые позиции, один солдат подходит к командиру взвода и просит отпустить его в родную деревню, до которой было километров десять. Тот говорит. «Я не могу тебя отпустить, обращайся к командиру роты». Солдат попросился у ротного, тот тоже сказал, что не имеет такого права, иди, мол, к комбату. Командир батальона выслушал солдата и говорит: «Ты опоздаешь к шести часам, а мне приказано в шесть быть готовым к наступлению. Опоздаешь — окажешься дезертиром, тебя расстреляют». Солдат клянётся, что успеет, возьмёт лыжи у разведчиков и — махом, туда и обратно. Отпустил его комбат. Солдат сходил в деревню и прибыл в часть вовремя, всё хорошо. Самогонки принёс, хлеба и сала. Товарищи говорят: «Наливай!» А он им говорит: «Кто угадает, что я сделал в первую очередь, когда пришёл домой, тому налью». Ну, все, конечно, говорят: «Ясно, что сделал, если бабу свою два года не видел!» Ладно, угадали, налил по первой, выпили. Просят налить по второй, а он опять: «Кто угадает, что я сделал потом — тому налью, а кто не угадает — тому нет». Вот они что только не говорили: «К родственникам сходил, в баньке попарился, ещё раз жену приласкал». Нет, никто не угадал, — Владимир замолчал, улыбаясь.

Антонина поменяла в духовке лист с булочками, посмотрела на мужа:

— Что лыбишься? Что он потом сделал?

— Вот и солдаты тоже пристали к нему, скажи, мол, что ты сделал во вторую очередь?

— Сказал?

— Сказал.

— Ну?

— «Лыжи снял!»

— Ах, вон ты к чему клонишь! — расхохоталась Тоня. — Нет уж — иди мойся!

Пришлось подчиниться. Принял душ, вытерся, накинул халат и, замотав голову полотенцем, пришёл на кухню. Обнял Антонину сзади, упрятав её всё ещё упругие груди в своих ладонях и целуя нежную шею, спросил:

— Ну, готовы твои булочки?

— А вдруг кто-нибудь придёт?

Но тревожится она не этим, а всё той же пугающей её неизвестностью: что с мужем, что выяснилось в больнице, и что ждёт впереди? Не фальшивое ли в нём нетерпение, не прячется ли за ним желание скрыть от неё серьёзность своего положения — и в сомнении покоряется ласке.

— Никаких вдруг! Не откроем, нечего шляться по гостям — это семейный праздник. — Владимир подхватывает её на руки и, смеясь, несёт из кухни. — Ох и любишь, чтобы я каждый раз тебя уговаривал!

— И каждый раз не дождусь, чтобы ты сказал одно слово...

— Люблю! Разве я не сказал?

## Глава 2

Анастасия Васильевна в последний день старого года почувствовала себя совсем здоровой: гуляла по коридору, читала книгу, отдыхала, сидела на лавочке с Марьей Михайловной, старушкой из соседней палаты, вела с ней неторопливые разговоры. Домой хочется, но обе не просились. Новогодняя ночь всякий раз канительная, не уснёшь, а не в их возрасте можно колготиться до утра. Так что тишина и покой больничной палаты — лучше всего. Так они рассудили меж собой, а всё равно хочется домой.

К обеим приходили дочери, поздравили с праздником, принесли всякой всячины; сидели долго с домашними новостями — уважили матерей тем, что не торопились уйти, хотя дома дел, конечно, хватает.

После ужина опять сидели старушки рядом, молчали. И было им легко и просто и чуточку грустно. Много было говорено прежде, почти всё о настоящей своей жизни рассказали они друг дружке; о прошлом — горьком и тяжёлом — почти не вспоминали, а нынешняя жизнь хорошая, о ней можно говорить сколько угодно. Одно только удивляло Марью Михайловну, что очень уж тесно живёт семья Анастасии Васильевны.

У Марьи Михайловны вопрос с квартирой решился давненько и как-то сам собой. Жила она когда-то с тремя детьми в двухэтажном деревянном доме, где было печное отопление, мучилась с дровами и углём, на водокачку с вёдрами по воду ходила, но потом в их доме поселился один хозяйственный человек, да к тому же ещё был он какой-то начальник. В общем, печи в доме сломали, взамен водяное отопление провели и воду дали. Некоторые удобства, верно, как были во дворе, так там и остались, и ванную только начальнику установили, остальные жильцы, как прежде, ходили в баню. Но это — пустяк: банное мытьё даже и лучше, полезнее. Немного погодя тому человеку его товарищи из райисполкома ещё раз удружили: постановили дом этот снести, а квартиры жильцам дать взамен благоустроенные. Снесли. Переехала Марья Михайловна со своими уже большими детьми в трёхкомнатную квартиру, мысленно поблагодарила судьбу за то, что она так с ней неожиданно по-доброму обошлась, да и стала жить без заботы: полы не скрипят, штукатурка не отваливается, воду в дом носить не надо, с помоями на улицу не бегать. Время шло, дети выучились; парни из дома ушли, свои квартиры от работы получили, а дочь, наоборот, мужа привела, внучку родила, и вот их теперь опять в квартире четверо, и всем место есть.

Не могла понять Марья Михайловна, почему это Анастасия Васильевна своё право на большую жилплощадь не использует. Если сама ходить по кабинетам не

способна, то гнала бы зятя, пусть расстается. Тем более, что грамотный зять, в институте по науке работает.

Анастасия Васильевна объяснить всего не может, отчего она смиренно сидит в тесноте, и сама никуда больше хлопотать не идёт, и дочку на зятя не зюкает.

Взять хотя бы ранешнюю жизнь. Каждый по домашнему хозяйству трудился, дом строил, огород обрабатывал и холсты ткал — всё сами, помимо того, что на колхоз работали. Когда замуж вышла за военного, то, конечно, свою крышу строить им некогда было, часто переезжали, становились на постой к тем, у кого изба просторная; если в городе стояли, и там квартиру давали, то и тогда у неё сомнений не возникало: казённому человеку и дом казённый полагается. А вот такой порядок, что завели теперь, когда и в деревнях — не только в городе — кричат на председателя, какую, мол, он с них работу требует, если квартиру не дал, такой порядок Анастасию Васильевну сильно смущает: разве серьёзную жизнь можно построить, если все квартирантами станут? Без хозяев, на одних квартирантах, далеко не уедешь.

И чувствует втайне Анастасия Васильевна, что хоть квартира законом и установлена быть, но её семье не положена: не нахлебники пока ещё. А что она обзавилась однажды на льготы, глядя на других людей, то майор в военкомате её правильно усовестил, поделом, долго будет помнить!

Другое сомнение и вовсе держит в тайне Анастасия Васильевна. Ещё в войну за убитого мужа стала на детей получать пенсию. Но меньшую сумму, чем полагалось. Сама она этого не заметила, просто не знала, сколько ей причитается. Что за человека, воевавшего за свою землю, за детей своих и за жену — убитого на войне, деньги получать можно, а теперь вот и квартиры тоже, этого она уразуметь не могла, ни прежде, ни нынче. Как определить на рубли или на квадратные метры, чего стоила любовь и жизнь человеческая? Что стоила смерть? Жизнь и смерть только жизнью соизмеряются, а в жизни её Кондрата и в смерти его для Анастасии Васильевны есть тайна.

Это бухгалтерша заметила ей однажды. Что, мол, не возмущаешься, мать? Получаешь за мужа, как за рядового, а он не капитан ли был?

Её как ножом пронзило: ошибка! Может быть, не в деньгах ошибка, а в том, что не её Кондратий Михайлович убит и похоронен в неизвестной деревеньке Муры Лычковского района под Ленинградом, а чужой ей человек?! Научили её, написала запрос в Архив военный, почему идёт не капитанское обеспечение семье, а рядовое? Того ли человека убили, что мужем ей доводился? И если это он, то как оказался в рядовых?

В армии порядок строгий. Всё, что нужно, выяснили и прислали ответ, из которого следовало: её муж, а убит рядовым. За что разжалован, об этом — ни слова. Стало быть: провинился. А в чём — ей знать не положено.

Неизвестная мужнина вина невидимой гирей лежит на душе Анастасии Васильевны. Прощтрафился Кондратий Михайлович, и она, получается, с ним виновата, и дети, и потому пенсия была рядовая.

Но почему-то жуткой тенью страшных предвоенных лет, когда забирали и увозили в небытие один за другим старших офицеров, предстаёт ей теперь эта виновность. Тогда, до войны, её поразило в самое сердце слово «враг!», которым наградили командира полка Василия Спиридоновича — она и фамилию-то его не успела запомнить. Случилось это, может, через неделю после того, как они прибыли с мужем в новую часть. И она поверила тогда, что командир — враг, только в



голове сумятица была и на сердце нехорошо. «Вот, — думала о себе, — деревня и есть деревня, как тебя просто обмануть: заботой и ласковым словом, на которое не поспешил малоразговорчивый командир». А принял их Василий Спиридонович хорошо: поселил семью с малыми крикливыми ребятишками в свою квартиру, в отдельную комнату. И раскладушки самолично принёс, и чаем с дороги немедленно напоил...

Мужа потом за этот чай тоже куда-то вызывали.

После, когда истории с разоблачением повторились другой и третий раз, с другими командирами, закрались в душу её страх и сомнение, но даже мужу не посмела она те сомнения высказать. И он на эту тему разговора не заводил. Будто не было ничего.

Нужны ей, после всего, квадратные метры?

Это Милке и Сене нужны, они другие. И ничего не знают. Вера характером ли ближе к матери, или чувствует что-то?

Антону, зятю, как-то раз тоже понадобилось просторное жильё. Мешают ему заниматься дома, а если сутками на работе пропадать — Вера ворчит. Вот он и взялся было свои квартирные права выяснять. Ну, оказалось, что в очереди на расширение площади, в институте их, его, как человека тихого и спокойного, к хвосту определили. Он с тех пор, как подал заявление, так и не справлялся ни разу, когда и как до него дело дойдёт. Думал, что всё по-научному движется, придёт время — сообщат. Но не зря же говорят: «Дитя не плачет — мать не разумеет». Когда понял Антон, что обошли его не один раз, что никакого порядка в квартирном деле в ихнем институте не наблюдается, взревел бугаём. Не столько из-за тех метров, что не дали ему, сколько из-за обиды. Шаромыгами и прохиндеями свой профсоюз назвал. У них там, оказывается, такой порядок установился: кто член того комитета, тот первый в новую квартиру въезжает, и по возможности друга обеспечивает. В местком не служил Антон, и друзей его там тоже не было.

Он тогда про льготную очередь вспомнил: положено, мол, нашей семье, у тётки муж на войне погиб; сказал это в жилищной комиссии, давайте, мол, квартиру вне очереди, и бумаги предъявил. Как раз распределение нового дома приключилось. От такого поворота месткомовцы растерялись поначалу, глаза на Антона выпучили: других таких семей, у кого родственник на войне погиб, в списках больше не значилось. Чуть бы, и дали бы им просторную квартиру. Но нашёлся один, за ним стали другие: нету, мол, такого правила, чтобы всем старухам подряд квартиры раздавать, она в институте не работала! Вот если б работала, тогда — другое дело.

Антон в областной комитет профсоюзный сходил и там выяснил. Сказали: положено дать. В институте не согласились, послали своего гонца в тот же комитет за разъяснениями. Он там сильно возмутился, и профсоюзные начальники ему сказали, что местком тоже прав. Тогда Антон всю эту историю в газету обсказал и спросил: где же справедливость? Газета Антоново письмо обратно в обком направила, ответьте человеку и нам тоже. Ответили на зелёной бумаге, что квартира полагается. Но в институте опять не поставили Антоново заявление в специальную очередь: «А нам не такой ответ дали!» И показывают свою бумагу. О, господи! Что тут делать? Опять Антон в профсоюзный обком: «Не выполняют ваше указание!» А те уже по-другому говорят: «Правильно, что не выполняют. Это мы вам и в газету ошибочный ответ дали. Вы несите заявление в райисполком, пусть вас там на льготную очередь ставят». «Хорошо, — сказал Антон, — давайте другую бумагу, с правильным ответом». Не дали. Сказали, чтобы он сперва заявление в

институте новое подал, а когда институт даст ему письменный отказ, тогда и они новую бумагу напишут. Как в сказке про белого бычка — ни начала, ни конца.

Осерчал Антон, плюнул на бесстыжих товарищей и ушёл в другой институт работать, а про жильё с тех пор ничего слышать не желает.

Тогда Вера, всё-таки, взялась хлопотать. Сходила в военкомат. Там ей сказали, что свои списки давно в райисполком передали, квартирами больше не занимаются. Но чтобы в райисполкоме их семью в льготную очередь поставили, военком ходатайство на специальном бланке написал. Ну, и опять же заявление от Анастасии Васильевны понадобилось. Она сперва это заявление отказалась писать наотрез:

— Пока наше солнце взойдёт, роса очи выест. Не для нас эта льгота придумана, — пыталась объяснить дочери, но та настояла на своём.

Написала Анастасия Васильевна заявление, дочь унесла бумаги, вернулась домой радостная:

— За девять лет, что прошло, как ты, мама, в военкомате была, списки в пять раз короче стали! Но главное, что постановление горисполкома есть: ликвидировать эти очереди за два года!

Получается, что к концу этого года должны были бы они в новую квартиру въехать. У неё всякий раз, когда дочь ходила очередь проверять, сердце в тревоге замирало: вдруг взаправду дадут?! Запало ей в голову: не жить ей в новой квартире, как только переедет, так и умрёт вскоре. А может, когда скажут, что переезжать пора, умрёт. Мысль в этом месте как о порожек запнулась: и как же тогда поступят с новой квартирой — отберут ордер, или дадут дочери вселиться?

А Вера как ходит в исполком, так сообщает, на сколько мест очередь ближе стала. За два года сократилась наполовину, не выполнили обещания в два года управиться. Слышала Анастасия Васильевна, как дочь сказала мужу:

— По одной-две квартиры в год в ветеранскую очередь отдают.

— А как же тогда наша очередь на десять номеров за год продвигается? — удивилась Анастасия Васильевна.

Вера покраснела и не нашлась, что сказать. А ничего и не надо говорить, Анастасия Васильевна и так догадывается, куда старики из списков выбывают. Вот и ей предстоит та же участь, не зря у неё о смерти были думы.

Нет, в загробную жизнь она не верит. Да и кто теперь во что верит? Вон, когда умершего старика выносили, никто не перекрестился даже. Одна только Марья Михайловна тайком осенила себя крестным знаменем, но и она слабо верует: говорила, что теперь пост Рождества, и грех скоромное кушать, а сама, хоть понемногу, ест и скоромное.

Анастасия Васильевна не верует, ну и не притворяется. Так уж у них в семье повелось, бабушка её посты соблюдала, а мать считала, что когда есть чем накормить детей, то надо кормить. Голодные дети, по её разумению, больший грех, чем несоблюдение поста. По молодости Анастасия побаивалась Бога, но потом жизнь её научила, что Бог, коли он есть, сам по себе, а люди — сами по себе. Позже, с войной, с горем, которое заходило во все дома, к верующим и неверующим, совсем она изверилась. Придёт смерть, зароят в землю, обратишься в тлен и — всё. Никаких надежд, ничего уже не поправишь. И для последнего успокоения необходимо приготовиться здесь, в миру, обрести покой и мир в душе, простить всех и заслужить тем самым и себе прощение.

Но два старика, толстый с въедливым взглядом из-под припухших век и жилистый с громким голосом, неожиданно нарушили умиротворённое настроение

Анастасии Васильевны своими разговорами о Сталине. Словно молнией ночное небо осветило — так ясно стало ей, что разжалование и смерть её Кондрата каким-то непостижимым образом связаны с малопонятным для неё словом «культ». И страстно захотелось ей, чтобы была всё же высшая справедливость, где правит не суд людской, где истина не подгоняется под прихоти человеческие. И тогда, чтобы уйти в иной мир, и там вновь воссоединиться с мужем, ей надо понять тот путь, которым завершилась его недолгая земная жизнь. Иначе, кажется Анастасии Васильевне, они не найдут или не узнают друг друга на том свете. Много стали ныне говорить о правде, которую, выясняется, прятали раньше от простых людей, и у неё теплится теперь надежда, что из новой этой правды она дознается той истины, что так недоставало ей всю её вдовью жизнь.

### Глава 3

До Нового года остались считанные часы, и когда Роман обнаружил, что все врачи, наконец, разбежались по домам, а двери стационара вот-вот заперут на засов и навесят на него замок, он быстро поднялся на второй этаж, прошёл в палату, достал из шкафа сумку, в которой были припрятаны лёгкая пуховая куртка и шапка. Жена принесла ему тёплую одежду прошлым вечером, он пронёс её под прикрытием Кадочкина и спрятал в нижнем отделении шкафа, предназначенном для обуви. Утренний обход обошёлся, слава богу, без «шмона», старшая медсестра иногда проверяла тумбочки и заглядывала в шкаф, а то бы погорел. Роман вытащил из-под матраца ещё одни спортивные брюки, надел их, натянул тёплую кофту поверх рубахи, из тумбочки вытащил и надел кроссовки, шапку с курткой взял под мышку, выглянул в коридор:

— Ну, всего доброго в наступающем году, а я — пошёл.

— У самоволку? — спросил Фиалко явно с одобрением в голосе.

— Да, — и Роман выскользнул за дверь.

— Ото ловко! — сказал Фиалко молчавшему Савельеву. Ефим Михайлович не отозвался. — А я и не видав, когда он усё притащив: одёжу и обужу.

И в голосе его уже не было одобрения, а слышалась сварливая нота, словно бы Роман поступил нехорошо, принеся одежду без ведома Алексея Федотовича. Лицо Савельева сохраняло непроницаемое выражение и тогда, когда он внимательно наблюдал за сборами Романа, и теперь, когда дверь за ним закрылась.

— Ты не догадався, как молодой сделал, а то бы ты тоже домой ушёл, — сочувственно сказал Алексей Федотович Савельеву. — Мороз аж тридцать два градуса.

Градусы он знал из сообщения московского радио, но это было днём, а к вечеру сколько накачало?

— Ну и что? — Савельев чувствовал, что сосед подковыривает его: вот, мол, дом близко, а не уйдёшь! — Хоть сорок. Если бы отпустили, я бы мог и в одной пижаме добежать.

— Ну да, — кротко согласился Фиалко, — не отпустили. Теперь четыре дни никто не придёт. А то бы ты завтра ещё упросился.

— Ладно! — оборвал его Савельев и сел.

«Этот толстомордый лис, — подумал он, — зачем-то хочет выпроводить меня. Пойти? Опасно: если узнают, могут наказать. Выпишут, чего доброго, из больницы за нарушение режима, не дадут инвалидность — пенсия пропадёт. Но надо

пойти. Может, обойдётся, не узнают? Ну, узнает врачаха, Лена, так она добрая, не выгонит, небось, пожалеет. И не выдаст».

Савельев медленно снял с себя полосатую казённую рубаху, стащил шаровары, в одних трусах прошёл босиком к шкафу, достал из него серую рубаху и тёмно-синий костюм, оделся. Ботинки у него были сданы в хранилище вместе с шапкой и пальто, но в тумбочке были спортивные тапочки, которые он принёс с собой, чтобы ходить здесь; они были неудобные — точно по ноге и, главное, со шнурками, всякий раз надо наклоняться и снимать, и надевать руками; поэтому он пользовался больничными шлёпанцами. «Была не была!» Его уже захватил тот бесшабашный дух, что с малых лет руководил им во всех критических случаях. На голову у него совсем нечего было надеть, но волосы длинные, уши не обморозятся, а лицо к холоду привычное, как-нибудь...

У двери оглянулся, попросил:

— Ты тут скажи, Алексей, если сестра спросит, что я здесь, пошёл, мол, по надобности. Или что-нибудь... Я утром завтра приду, или к обеду.

— Добре, добре: скажу, шо в гальюне, — Фиалко усердно закивал головой, показывая, что он сделает всё, чтобы удружить товарищу, как-никак оба они фронтовики, — а завтра ты придёшь. Так. Так.

Входная дверь была закрыта изнутри на засов, но замок ещё не повесили, и никто не заметил, как Ефим Михайлович отодвинул засов и вышел. Кладовщица, которая ночью сторожила, была отпущена домой, старшая сестра замок собиралась повесить сама в восемь часов, как обычно, но забыла, и вспомнила только в одиннадцатом часу.

## Глава 4

В десятом часу в палату пришёл Кадочкин, содрал со своей постели простыни, скомкал, вместе с подушкой понёс прочь из комнаты. Алексею Федотовичу, смотревшему на него с внимательным любопытством, сказал на ходу:

— Буду ночевать у соседей.

— Ага, ночуй, — одобрил Фиалко, — там тебе в карты грать будет сподручнее.

То, что он остался один, его нисколько не угнетало, наоборот, обрадовало. Праздник, не праздник — какая разница? Он привык быть один, и постоянное присутствие других людей рядом с ним утомляло его и раздражало. Теперь же можно было поступать так, как он привык дома, как ему было удобно: вставать ночью в любое время, включать свет, есть, пить, храпеть во сне, не беспокоясь, что на тебя нападут за это с руганью. Благодать!

Он достал из тумбочки газету «Правда», её вместе с колбасой доставил ему ответственный за больного Фиалко товарищ. Читал Алексей Федотович небольшими порциями, и в газете оставались ещё непрочитанные заметки. Раньше, когда он работал «в органах», понять перемены при смене правительства помогало начальство, которое, в свою очередь, получало разъяснения и инструкции сверху. Теперь же, когда он на пенсии, и уже сколько лет никто установок ему не даёт, приходится доходить до всего своим умом, вернее, установку или разъяснение надо отыскивать в газете. Дело слишком непривычное для Алексея Федотовича, и потому он никак не мог определить, в чём заключается новая главная линия. И никто, похоже, не знает, вот в чём беда. Каретова спрашивал, грамотный очень

человек, а ничего не объяснил. Хорошо бы с кем потолковать обстоятельно, когда никто не мешает. Он бы ради этого согласился нарушить ещё на одни сутки свою неожиданную свободу. Эти два, самовольщики, завтра не явятся, Алексей Федотович знает эту породу людей: стоит только чуть ослабить им вожжу, как они сразу выпрыгнутся.

Вопреки ожиданиям Фиалко, новогодняя ночь не стала для него ночью отдохновения: от людей он избавился, лёг спать как положено больничным распорядком, вскоре после двадцати двух часов, но сквозь подступившую дрему слышал голоса из коридора и уснул не сразу; а во втором часу ночи, уже в новом году, проснулся от удушья, сопровождаемого, как обычно, кошмаром. Единственное отличие от прошлых ночей было только в том, что кошмар оказался новым.

Звягин, который шёл сперва по алой кирпичной дорожке к скамейке Алексея Федотовича, обернулся Светланой. Первые годы после её смерти он довольно часто видел жену во сне, но в тех снах она всегда была где-то в отдалении, не общалась с ним. Теперь же она остановилась в шаге от него, посмотрела так, что у него спёрло дыхание, спросила непримиримо:

— Ну что, опять подавился?

Это Кадочкин сказал однажды Елене Андреевне, не слишком заботясь о том, что Фиалко слышит его:

— Вы зря у нашего «Худенького», — так он язвительно называл иногда Алексея Федотовича, — ищите болезнь. Шестьсот грамм колбасы за раз сожрёт, где ж ему не будет плохо?

— То не справедливо, — сказал с возмущением Фиалко жене, — мне, наоборот, лучше делается, когда я трошки поем, а когда голодный, то меня давит на сердце.

— Правильно, — говорит Светлана и смотрит на мужа пристально, — это соевая тебяз давит. Ты зачем меня убил?

— Я не убил! — и задохнулся окончательно.

Фиалко дёрнулся и проснулся. Повернулся на бок, протолкнул из груди воздух, и клапан открылся.

— Я не виноватый! — сказал он с напором вслух, всё ещё находясь во власти сновидения, и только теперь, от собственного голоса, пришёл в себя.

«Я же ей ничего плохого не сделал!»

Он давно позабыл чувство виноватости, он и прежде, и теперь жил правильно во всех отношениях. Полагалось ему по должности быть трезвым — не пил; курильщику на оперативной работе случается трудно, иногда приходится терпеть — и он бросил курить. Тут, правда, ему повезло. Он не приучился к табачному зелью смолоду, и долгое время на войне обменивал свою махорку на дельные продукты — на хлеб или сахар, в конце войны лишь попробовал курить, когда стали появляться мысли о возвращении домой, и ему представлялось, что боевой офицер с папиросой «Казбека» будет совершенно неотразим в глазах самых красивых девушек. Но позже Звягин посоветовал-приказал ему: «Брось эту гадость! У тебя все должно быть на службе, и нюх — тоже». Неиспорченное обоняние сгодилось потом Алексею Федотовичу не однажды. И если уж в таких мелочах был безгрешен Фиалко, то в более серьёзных проступках не был виновен вовсе. Главное, что он всегда добросовестно и со всей ответственностью исполнял всё, что требовало начальство. Начальству виднее. Это очень правильная линия, как показала служба. Менялись времена и установки, начальники приходили и уходили — кто на повышение, кто и наоборот, а Фиалко оставался.

К тому моменту, когда жена попала в аварию, он уже не смог бы точно определить, какая должность для него важнее — та, на которой он числился официально, где рисковал жизнью и получал зарплату, или другая, тайная и никем будто бы не управляемая. Не хочешь — не делай, но если долг велит, если — тем более — просят, то старайся в меру сил и способностей. Фиалко старался, и с какого-то момента стал получать от скрытой от посторонних глаз своей деятельности огромное удовлетворение. Удовлетворение, которое сродни тому, что приносит работа всякому мастеру — печь ли он кладёт, рубит дом или рисует картину. Он научился совершенно точно угадывать, где его бумага сыграла свою роль, а где нет. Это умение помогало ему точнее выделять людей, к которым необходимо проявить бдительность, и постепенно усовершенствовало стиль изложения. Фиалко твёрдо знал, как надо писать, чтобы написанное нельзя было отложить в сторону или спрятать под сукно, не отреагировав должным образом.

По службе своей Фиалко продвигался медленно, сперва, возможно, из-за той неудачи, которую потерпел в Прибалтике Звягин, и тень которой легла на Алексея Федотовича. А позже, когда в милицию стали приходиться всё более грамотные люди, многие со специальным образованием, ему и вовсе осталось не слишком много возможностей пробиться наверх. Но он и не стремился к повышению — в званиях ли, или в должностях. Его вполне устраивало, что его отмечали как образцового оперативника, отличника боевой и политической подготовки — в приказах по случаю больших праздников фамилия Фиалко встречалась непременно.

Но знаки одобрения начальством вызывают тайную ревность и зависть, Фиалко по себе знал это. И с некоторых пор догадывался — в чём ему помог разобраться, опять же, тот суд над Звягиным — что власть, которая дана человеку с должностью, хоть и делает его в собственных глазах умным и сильным, позволяет быть снисходительным или жёстким, смотря по характеру и настроению, к подчинённым, но и требует оглядки, большей аккуратности и почтения к вышестоящим инстанциям. И чем выше должность, тем она опаснее для того, кто её занял, потому что ответственность больше, и всегда есть люди, которые считают себя более умными, более достойными занимать начальственную ступень, они только и ждут, чтобы начальник оступился и упал. Если так и случится — тут же затопчут его, чтобы он ни в коем случае не поднялся, вытрут о него ноги, взбираясь в ещё тёплое кресло.

Нет, власть явная — слишком тяжёлая и опасная ноша для простого человека. И чем страдать от утраты своей должности, а это случается, в конце концов, почти с каждым, лучше её совсем не иметь.

Зато есть другая власть — тайная, когда ты без высоких полномочий можешь влиять на судьбы людей, в том числе и тех, кто сидит, казалось бы, незыблемо, в высоких креслах, и перед кем ты послушно сгибаешь спину. Вкусив однажды от этой власти, Фиалко понял, что она ему очень подходит по характеру, и он может именно на этой стезе проявить себя наилучшим образом.

Знакомые не чурались простоватого, как они думали, и не очень образованного милиционера, мужики охотно приглашали его попариться в бане или постучать во дворе костяшками домино. От них узнавал Фиалко о разных курьёзных случаях, которые происходили с людьми ему неизвестными и зачастую неблагонадёжными. А самым ценным источником о людских слабостях была для Алексея Федотовича, сама того не ведая, Светлана. Очень уж широкой и неожиданной оказалась сфера её знакомств. Она с упоением рассказывала мужу разные занимательные случаи



с больными, а он внимательно и благосклонно выслушивал её, что доставляло ей удовольствие.

Догадка, как часто бывает в таких случаях, явилась к ней без какого-либо явного повода. Однажды она обнаружила, что многим людям не везёт в жизни: кого-то с должности из-за пустяка сняли, кого-то и вовсе неизвестно куда отправили. Стала перечислять и — запнулась. И — как обрезало. Ни слова о своей работе, ни звука о людях, которым она оказала помощь. И ласки её становились всё прохладнее.

Фиалко вначале делал вид, что ничего не произошло, что он не замечает перемены, но как-то раз не выдержал и обмолвился, что скучно они стали жить последнее время.

— Раньше было веселее? — спросила она. И сама же ответила себе: — Особенно до пятьдесят третьего года.

Разговор этот, короткий и непрояснённый до конца, случился вскоре после того, как прозвучали слова: «культ личности». И лишь спустя ещё два года Светлана спросила в упор, без всякого предисловия:

— Ты за что Асташкиных угробил?

Фиалко понял, что притворяться непричастным к исчезновению соседей бесполезно, никаким оправданиям она не поверит, как не поверит и тому, что никто больше по вине его не пострадал.

— До моей работы давай не будем касаться, — сказал он твёрдо.

И не касались больше.

Но Фиалко с тех пор дома докладные не писал. Тогда же он подумал, не подумал даже, а так, мелькнуло видением где-то в потайном углу желаний, что на «Скорую» налетел какой-то грузовик.

Когда именно так и случилось, когда он увидел белую простыню, прикрывавшую то, что прежде было Светланой, и почти такое же белое, как простыня, обескровленное лицо её, он почувствовал боль в груди, как если бы и его сдавило покорёженной дверкой автомобиля.

Живое тепло жены внезапно исчезло, Алексею остался только молчаливый некрасиво изуродованный, бесполезный труп.

Отныне не ждал его дома свежеприготовленный ужин, куда-то пропал уют квартиры, и, поев всухомятку прихваченные из буфета бутерброды с колбасой, ложился он, прежде маленький господин, в холодную постель, одинокий и сиротевший. Чудовищная несправедливость! Суровое и незаслуженное наказание. Так воспринял своё вдовство Фиалко.

Как когда-то в тёмном суеверном детстве шевельнулось в душе его, в самом дальнем, недоступном никакому ведомству углу, чувство: есть над человеком инстанция, для которой открыты наши тайные помыслы, которая принимает их, как заявки, и исполняет так же исправно, как в органах правопорядка исполняются приказы и распоряжения самого строгого свойства.

И вот Светлана опять прорзела и явилась из небытия, чтобы потребовать от мужа ответа:

— Ты зачем меня убил?

Алексей Федотович знает твёрдо, что он непричастен к смерти жены: он только один раз подумал, что она вышла у него из повиновения и должна быть наказана.

Фиалко достал из-под кровати порожнюю банку, попытался помочиться в неё, но ничего не вышло. Кадочкин где-то разузнал, что аденома предстательной железы возникает, якобы, у мужчин от слишком долгого воздержания. Нельзя жить без



женщины. Правду сказал, или издевается над старым человеком? Алексей Федотович лёг в постель, постарался увести думы в сторону от неприятных воспоминаний — не из-за Кадочкина ли приснилась Светлана? — это ему удалось.

Молодые шумели в коридоре, когда Алексей Федотович засыпал первый раз, встречали Новый год. А почему? Разве можно нарушать режим в больнице? Кто опять разрешил? Завтра он спросит. С этой мыслью уснул.

## Глава 5

Афанасий Иннокентьевич лёг в постель накануне нового года как всегда, когда он не был на дежурстве, в двадцать два часа, но уснуть не мог. Вечером приходили дочь и внук, укутанные до самых глаз, принесли свежих сдобных ватрушек, пирожков, колбаски и прочей снеди, но, главное, шкалик с коньяком. Отогрелись и заторопились домой — дела. Хотя Павлушка готов был, если б мать разрешила, остаться с дедом в больнице до утра — наскучал малый.

Коньяк, отменно вкусный, они с Сергей Сергеевичем «по капельке» выкушали, ублажили слегка грешную плоть, потом прибавили по стаканчику домашней наливки, которую принесла супруга Сергея Сергеевича, размлели и легли отдыхать. Бывший партработник сразу уснул, слегка похрапывая, а мысли Афанасия Иннокентьевича разгулялись: от внука перекинулись в прошлое, где сам он был в возрасте Павлушки в окружении братьев и сестёр.

Жили они в Забайкалье, в посёлке Надёжный, рядом с прииском с таким же названием, и главным занятием ребятишек их семьи, да и всего посёлка, была добыча золотишка. Мыли золото, конечно, взрослые, а пацанва промышлялаazole: рылись во влажной отработанной породе, отброшенной золотоискателями, в надежде найти «клопа» или, хотя бы, «блошку». Найденное, накопив, сдавали приёмщику и получали от него квиток, с которым шли в магазинчик и отоваривались: комковым сахаром, каменной твёрдости пряниками или липкими конфетами «подушечками».

Когда Афоня подрос, то стал подрабатывать тем, что с помощью ртути собирал «лёгкое» золото из промытого, отработанного шлиха, которое не осело в лотке старателя, а было унесено водой.

Афанасий Иннокентьевич, вспоминая ту пору, удивляется тому, как они тогда беззаботно обращались с ртутью: голыми руками катаешь шарик, на который налипают, как на магнит, мельчайшие пылинки золота, и никто не говорит, что это вредно, потому что никто не считает, что ртуть — это яд. Теперь вот градусник где-нибудь разобьют и — паника. А на приисках-то, наверное, по-прежнему без ртути не обходятся?

В многодетной семье Мороковых единственным кормильцем, пока старший сын не подрос, был отец, Иннокентий Гаврилович, потом в рабочую лямку впрягся старший сын, но незадолго перед войной Дмитрия призвали в армию; отцу же перевалило за пятьдесят, сердечко стало пошаливать, он начал сдавать в работе и вынужден был уйти из артели, что сразу же снизило заработок.

Питались скромно. Огородов не было. Здесь, на вечной мерзлоте, ничего не росло, все продукты были привозные. В приисковом магазине под будущее золото можно было получить пшённую крупу, перловку, горох или даже рис и гречку. Селёдку привозили в бочках, зимой — мясные туши и мороженую рыбу с Байкала, в

остальное время года шла в ход тушёнка. Но выдача продуктов по записи строго контролировалась: здесь точно знали, кто из старателей на что способен.

То, что удавалось «добыть» мальчишкам, серьёзным подспорьем семьям не могло служить и шло на сладости. Пацанов в первую очередь интересовал сахар — ослепительно белые комки которого были настолько крепкими, что искрились, когда его раскалывали на более мелкие кусочки, или конфеты «подушечки», или пряники, окаменевшие от времени и не уступавшие по прочности этому сахару.

Товары на прииск доставлялись только зимой, из Курумканского района, что в Баргузинской долине, на санях, запряжённых лошадьми, по рекам и по зимникам; летних дорог не было. Доставка была тяжёлой, потому что на перевалах зимой всегда держался крепкий мороз и дул сильный ветер, поднимавший в воздух сухой и жёсткий снег, который слепил глаза и забивал дыхание и людям, и животным.

Привозили иногда в Карафтит продукты и из посёлка Маловского, в котором был аэродром — это ближе, но самолётами продуктов не навозишься, не один прииск был здесь, а добрый десяток, и посёлки возле некоторых из них крупнее. В Карафтите, например, и школа была, туда, за пятнадцать километров, увозили ребятишек из Надёжного с осени до зимних каникул, а потом — до весны.

Афанасий Иннокентьевич ворочается с боку на бок, припомнился вдруг забытый эпизод из детства, кажется это было в тридцать первом году, тогда он только собирался пойти в первый класс. Играли они вдвоём с другом Славкой — тот был старше на два года — в лопухах неподалёку от склада, когда к ним подошёл мужчина, одетый, как все одевались в посёлке — в ватную телогрейку, кирзовые сапоги, поманил Афоню в сторону и сказал:

— Ты возьми вот спички и бутылку керосина, подожги вот тот сарай, а я тебе плитку шоколада куплю.

Он ничего не понял, для чего надо зажечь. Он знал, что в потемневшем от времени лабазе хранятся мешки с мукой и крупой, видел, как продукты брали и перевозили отсюда в магазин; спрятал руки за спину, спички не взял, побоялся пожара. Зато Славка, который подошёл ближе и слышал этот разговор, всё сообразил, тихонько и незаметно нырнул за кусты, потом побежал и сказал взрослым, что дяденька хочет поджечь склад. Забрали в тот же день того мужика, увезли, и больше его в посёлке не видели.

Вот скажи сейчас молодым, думает Афанасий Иннокентьевич, что были вредители, заплюют! А кто тогда он, этот сукин сын, который хотел оставить посёлок без продуктов? Борец с тоталитарным режимом? Памятник теперь ему поставить за то, что его осудили и, возможно, шлёпнули?!

После семилетки Афанасий год не учился, был на подхвате у отца, затем его направили в Иркутск, в ремесленное училище, откуда он и попал потом, когда возраст подошёл, в общевоинское, где готовили младших командиров. Редкие письма из дома он получал до осени сорок первого, а затем — как обрезало. И только после войны, в сорок седьмом году, узнал он, что случилось с посёлком и с его родными.

Ни лица, ни фамилии начальника прииска теперь уже не помнит Афанасий Иннокентьевич, и кто он был по национальности, об этом тогда не говорили, а надо было бы всё узнать. Вот кому в знак недоброй памяти надо забить в могилу кол осиновый.

Старателям давали «броню», не брали на войну, потому что золото стране в военное время необходимо так же, как сталь. Но золото прииска Надёжный было

плохое. Плохое в том смысле, что в породе содержалось много глины, и промывка золота из-за этого становилась очень трудоёмким делом, золото Надёжного было не очень выгодным. Начальнику прииска пришёл приказ закрыть прииск. Он сделал это просто: уехал сам, возможно в Карафтит, а может, ещё дальше. А всех годных к службе мужиков отправил на фронт. Женщины с детьми и старики оказались брошенными на произвол судьбы.

Запасов продуктов на складе почти не оставалось, с наступлением морозов, когда лёд на реках стал надёжным, никто за продовольствием в долину не поехал: не на чем было — лошадей тоже в связи с закрытием прииска забрали. И платить нечем было, неработающим бабам и ребятишкам кто бы отпустил «за так» продовольствие? На базе, в Карафтите, никаких норм питания для закрытого прииска установлено не было. Ложись народ и помирай.

Большая семья Мороковых на скудном пайке оказалась уже через месяц после начала войны. Иннокентий Мороков в поисках богатой жилы уходил в одиночку по ручьям в тайгу на несколько дней, возвращался хмурый, заросший и голодный, сдавал золотишко в Карафтите, получал в лавке продукты, табак, потом дома, вздохнув и выставив на стол мешочки с крупой, мукой и солью, садился в угол у печи, набивал трубку и думал о чём-то, поглаживая головы ластившимся к нему младшим дочкам — Тане и Олечке.

Четырёхлетняя Олечка на правах самой маленькой взбиралась на колени к отцу, проверяла ладошкой щетину на его щеках и всё равно потом прижималась носом к его огрубевшему заветренному лицу. Восьмилетняя Таня, главная няня и воспитательница Оли, уже стесняется садиться на колени к родителю, но и отойти от него у неё сил нет, жёсткая ладонь отца ей — самая нежная ласка. Десятилетний Павлушка завладел огнём, приладил трут к камешку и примерился кресалом. Р-раз! Искра нырнула в трут, из него показался слабый дымок, и распираемый гордостью пацан с делано-равнодушным видом подаёт огонь отцу.

— Хм, ловко! — искренне удивляется сыну Иннокентий. — Молодец, в тайге не пропадёшь!

Зое одиннадцать лет, она, как и тринадцатилетняя Нина, считает себя взрослой и помогает матери, но частые взгляды, которые она бросает в сторону отца, выдают, что все её помыслы связаны с ним. Найдётся у него минута, когда он мимолётно прижмёт её к себе. Ещё она знает, что отец приберёт в кармане завернутое в чистую тряпицу что-нибудь сладкое, скорее всего кусок сахара, о котором он «вспомнит» лишь после того, как ребятишки наедятся каши.

Жена Ульяна хлопотала у огня, приготавливая немудрёный обед. Её праздник наступит позже, когда стусится вечер, угомонятся и уснут дети, и когда её Кеша, переодетый после бани в чистое бельё, побритый, дохнёт ей в висок и коснётся усами шеи чуть пониже левого уха...

Однажды, когда уже подступила осень и на берёзах позолотился лист, а на лиственницах пожелтела хвоя, Иннокентий в ожидаемый день домой не вернулся. Не появился он и на следующий день, и на третий. Ульяна с бабами и с припадочным Фёдором, которого из-за его болезни не взяли на войну, целую неделю утюжили распадки в той стороне, куда обычно уходил Мороков, но безрезультатно. Подул холодный ветер, обрывая осеннюю красоту с деревьев, чёрные снеговые тучи нависли над тайгой, пробрасывало снежком, вот-вот мог повалить настоящий снег и похоронить поисковиков. Да и дома у всех дел было по горло: кто дровами к зиме не запасся, кто окна в избе не законопатил, поиски прекратили.

А ещё спустя неделю из Карафтита пришёл посыльный и сообщил, что старателя обнаружили в тайге местные охотники, собаки их навели.

Иннокентий сидел под деревом с нераскуренной трубкой в окоченевшей руке, другой рукой держался за сердце; заросшее наполовину чёрной, наполовину седой щетиной лицо осунулось и потемнело, у ног его валялось припорошённое снегом огниво — камешек и кресало. Неподдалёку, возле перемерзшего ручья, у кострища, в лотке поблёскивали в уже промытом песке крупинки золота.

— Ничего удивительного, — сказал фельдшер Ульяне, — сердце. На этой работе разве такая еда должна быть?

В кармане ватника Иннокентия в специальном кожаном мешочке золотого песка оказалось больше обычного, хватило вдове поминки какие-никакие справить и запастись продуктишками месяца на три вперёд. Нашёл, знать, бывалый старатель свою жилу, да не удержался, пожадничал, мыл голодным в ледяной воде, пока сердце не зашло, спешил до морозов взять побольше золотишка.

К ноябрю в Надёжном народе осталось вполонину против прежнего, мужики отбыли воевать, некоторые семьи, у кого родственники на соседних приисках работали, перебрались к ним, самые догадливые ушли ещё по теплу в Курумканский район, в Баргузинскую долину, поближе к Байкалу, ушли на землю, которая хотя бы картошку может родить. Дома в Надёжном, присыпанные снегом, нахохлились, притаились. Люди без нужды на улицу не выходили, посёлок казался вымершим, только дымки из труб, поднимаясь в студёное небо, говорили о том, что здесь ещё теплится жизнь.

Ульяне с пятью ребятишками на соседних приисках делать было нечего, зимой — тем более, а в сторону Байкала подаваться было поздно, на перевале метелит, слухается, и в сентябре.

Если бы не припадочный Фёдор, которому удалось добыть зверя, сохатого, его он разделил между всеми семьями посёлка, не многие дожили бы до весны. Ульяна так и думала уже, что в марте они подъедят последние крохи и... Дважды за зиму она с соседкой Настасьей, у той трое малолеток, ходила в Карафтит, предлагали они обменять кое-какую одежонку на продукты, никто не соблазнился, дали так, «Христа ради», спичек немного, полстакана соли и овсяной крупы на два раза каши сварить. И всё.

Как закрыли прииск, так сюда и почту перестали доставлять, ходили в Карафтит сами, пока погода осенью позволяла, потом редкой оказией приносили письма и похоронки. Ульяне в её первый выход за продуктами дали на почте три письма — одно от старшего сына и два от второго, от Афони. А ещё казённый прямоугольничек от командира, где Дима служил, вручили. В том письме сообщал командир, какой хороший солдат был Димитрий Иннокентьевич Мороков, да вот погиб до времени, не дожидая нашей победы.

Читает она письмо от старшего сына — живой! Посмотрит на казённую бумагу — там написано, что нет её первенца на этом свете. И сердце надвое разрывается.

Афоня же сообщал в своём письме, что в училище его посылают, на командира готовить будут, во втором — что прибыл на новое место, адрес сообщит дополнительно. Ну, а потом и в Карафтит почту почти всю зиму не доставляли, когда же ближе к весне Ульяна получила от Афони ещё два письма, то не ответила ему. Не могла же она написать, что отца схоронила, что и сестёр его и брата не знает как от смерти спасти, и теперь у неё главная забота, кто гробы сделает и кто и как в

стылой земле могилки им всем выдолбит? До весны в лабазе не оставишь покойника лежать, вон старухе Самоедовой пока собрались могилку выкопали, больше недели прошло, а мышцы-то лицо ей обгрызли.

Всё же дотянула до тепла Ульяна, всех детей сберегла, тогда как смерть в посёлке не пощадила не только больных старух и стариков, но и ребятишек, унесла безгрешные души в царство небесное, чтобы они там замолвили словечко перед Всевышним за страждущих на земле.

Пришла соседка Настасья однажды перед майскими праздниками, спросила:

— Ну, что дальше-то делать, ить и летом еды не прибудет? Надо уходить, тут-ка ничё не высидишь, кроме смерти.

— Надо, — вяло согласилась Ульяна, отметив про себя, что Настя моложе её на девять лет и ребятишек у неё всего лишь трое. — И когда ты собираешься?

— А хоть завтра!

Вздохнув, Ульяна помолчала в раздумьи, покачала головой:

— Сейчас ручей не перебродишь, а речку и вовсе. А на Икате, должно быть, не весь ещё снег сошёл. Надо подождать.

— Сколь ждаться-то?

— Не меньше двух недель.

— Ка-во?! У меня жратвы нет совсем! На два дня бы хватило. Соль кончилась, и три спичинки осталось. Две недели! О, Боже мой!

— Паданку бы посбирывать, — сказала Ульяна, — дак кедрач-то настоящий далёко, а ближние кедрушки по осени оббили дочиста...

Они посмотрели друг на дружку с одной, одновременно пришедшей им мыслью: там, на хребте, по дороге в долину, возможно, попадётся им удачное место, где кедровый орех уродился прошлой осенью, и где его кедровка, прожорливая птица, не вышелушила подчистую.

Надежда на орех как-то встряхнула женщин, они стали с нетерпением ждать, когда спадёт полая вода, прикидывали, что надо будет взять в дорогу с собой, что можно попытаться обменять на продукты в ближних посёлках, а что — там, в долине.

С обувкой беда, ноги у ребятишек быстро растут, прошлогоднее не налазит, а по тайге и летом в сухую пору босиком не пойдёшь. Всё же нашла старые ботинки старшим девочкам, что от Димы и Кеши остались когда-то, средним, Павлушке и Тоне, от Зои и Нины сандалии подошли, а на самую маленькую ничего не оказалось. Пришлось Ульяне от овчинного полушубка мужа рукав оторвать и шить толстой иглой башмачки. Сделала, стельку берестяную в них положила, а сверху — байковую. Руки вот только все исколола шилом и непривычной мужицкой иглой.

Собирались уходить и другие семьи, почти у всех в каком-нибудь селенье Курумканского района были хотя бы дальние родственники. У Мороковых сестра Иннокентия, Фрося, жила в Сахулях, ребятишек у неё двое, муж на фронте, но у них была своя корова, овцы и огород. Хоть и велика орава у Ульяны, но на улице не оставят, поди.

Только бы дойти. Кто говорит, что полторы сотни километров, а кто — все двести с гаком. Кто её, тайгу эту, мерил? Главное, что через перевал выбраться будет нелегко. Ну, зимой на конях, запряжённых в сани, случалось, при хорошей погоде мужики за четыре дня доходили, а пешим ходом да с детишками — это же безумие!

Страх охватывает Ульяну по ночам, не даёт уснуть. Она смотрит на залитое лунным светом обмёрзшее окно, переводит взгляд в тёмный угол избы и творит

молитву: «Пресвятая Дева Мария! Смилуйся, помоги в беде нашей, не дай согнуть невинным детям твоим...» Наконец усталость и молитва смиряют дух её, она засыпает чутким бабьим сном, прижимая к себе младшую, Оленьку. Остальные четверо её детей спят на печи и полатях, там тепло, но как бы кто не свалился ненароком, не свернул себе шею. Прежде, бывало, набегаются, наедятся и спят спокойно, а теперь ворочаются и разговаривают во сне.

И настал, наконец, день, когда, подперев дверь в избу поленом, всхлипывая и оглядываясь, Ульяна вывела своих ребятишек на дорогу. У каждого котомка за спиной, встревоженность в глазах и одновременно любопытство. Ноги ещё не болят от бесконечной ходьбы, их влечёт дальняя, сулящая новые впечатления дорога и надежда на сытую жизнь в конце пути.

Восемь женщин со своими выводками вышли за посёлок и с ними два старика и три старухи. Один только мужик был в этом отряде — припадочный Фёдор, но он шёл, как выяснилось позже, только до перевала, проводить баб с ребятишками. В тайге ведь не только орехи, белки и бурундуки водятся, не дай Бог медведя-шапуна встретить или волков.

Но в весеннюю пору тайга кажется безжизненной, всё живое прячется, мелкий зверь возле норы хлопочет, птицы на гнездовьях притаились.

Как рассказать про неизвестный военным историкам этот поход весны сорок второго года? Совершенно негероическое было дело: бабы, старики и дети уходили от голодной смерти — и только. Не стреляли по ним пушки, не налетали вражеские самолёты, не окружали танки. Когда в первый день устал и захныкал младший сынишка Настасья, а за ним готовы были разреветься и другие малыши, то подошла к нему старуха Кочнева — она летом сорок первого приехала погостить к сыну, а его отправили на фронт, она же осталась дожидаться его в комнатке в бараке, думала сперва, что война ненадолго, — наклонилась она к мальчишке и сказала негромко:

— Потерпи маленько, дойдём до сухого места, вон до того лесочка, и отдохнём. Не реви, а то Гитлер-то услышит, обрадуется!

Сказала негромко, слышали её и напугались только те, кто шёл рядом, но скоро все дети знали, что плакать нельзя, чтобы Гитлер не радовался. И не было больше слёз до самого конца этого многодневного похода. И разговоров почти не было, только при большой необходимости матери объясняли чадам, что надо делать, когда на ночь устраивались и костёр разводили.

И слёз матерей дети тоже не видели. Только голодные глаза и детей, и взрослых спрятать было невозможно.

Первая ночёвка под открытым небом прошла хорошо, хотя была беспокойной: когда зажгли костры и сгустилась тьма, всё казалось бабам, что окружены они зверьём, если не волками, то чудищами лесными. И ведь почти все женщины бывали прежде в тайге, с мужьями ли на промывке золота, на охоте, на битье шишки или когда за черникой ходили, но там — другое дело, тогда под надёжной мужской защитой не думалось об опасности, а тут — боязно, как будто далёкие двуногие звери-фашисты вдруг могли объявиться рядом. Да ведь и среди своего народа всегда находились в лихую годину варнаки да лихоимцы... Беспокойно было и оттого, что спали дети не на печи, а на хвойных ветках у костра, и в огонь скатиться недолго было, и на сырую холодную землю.

Перед сном хлопот много было: сушили обувь, кипятили воду для чая, куда вместо заварки бросали редкие ягоды прошлогоднего лета, попадавшие по пути,



и лепестки цветков багульника, делили по крохам испечённый ещё дома из пшён-ной крупы и отрубей хлеб, припасённый на дорогу, и у кого что ещё было. Ульяна думала, что куском хлеба, хоть и небольшим, да с чаем, ограничится, но сердце её не выдержало, и она достала из драгоценной своей котомки одну из трёх сушё-ных рыбин, ленков, которые она выменяла на совершенно новые кожаные сапоги мужа у случайно встреченного промысловика, коренного местного жителя, то ли бурята, то ли гурана. Всего ленка она, конечно, не дала съесть, а только половину, вторая половина осталась на утро и к обеденному отдыху.

В первый день прошли едва ли пятнадцать километров, не потому только, что самым маленьким ходакам трудно было с непривычки часами шагать, но и пото-му, что зимник — это такая дорога, по которой зимой хорошо ездить, она по реч-кам идёт, по низинам, по озёрам и болотам, а летом по нему ни пеший, ни конный не проберётся, обходить гиблые места приходится по неудобцам, по камням да косогорам, заросшим порослью да кустарником.

На третий день отряд начал понемногу растягиваться и к вечеру распался на две части. Семьи, в которых ребяташки постарше были, ушли вперёд, ходоки сла-бые плелись сзади. Ночевали уже двумя лагерями. Ульяна, несмотря на то, что несла временами Олю на руках, особенно там, где миновать болотинку было не-возможно, двигалась со своей ребятнёй медленно и оказалась во втором лагере. Тут же была и Настасья со своими ребятами. А дорога то спускалась вниз, то поднималась вверх, но вела в гору, через Икатский хребет.

На солнечных склонах и на открытых местах расцвёл багульник, малиновый цвет его сплошным ковром покрывал землю, ложился под ноги, а запах дурманил голову. Красиво — как в раю! Радоваться бы этой красоте, если бы бескормица и усталость не мучили людей и не притупили все чувства, кроме одного — чувства голода. Мысли были об одном: продукты убывали гораздо быстрее, чем подавалась дорога.

— Что делать? — спросила на четвёртый день пути Настасья Ульяну. — Нет сил у моих, а покормить как следует, чтобы шли, так за день всё и кончат, а пере-вал-от ещё где?

— Цветков надо набрать поболее, — сказала Ульяна, — варить вместо капусты.

Вечером так и сделали: горстку пшённой крупы кинули в казанок, щепотку соли и доверху — лепестки цветов багульника. Ели этот необычный суп. И на завтрак — его же. И на обед.

Надежды на кедровые шишки не оправдались. В одном месте кедровник близ-ко к дороге подступил, остановились на отдых, котомки посбрасывали с себя, ста-ли паданку искать, а её нет. Кедровка ли с осени так потрудилась, то ли первый отряд старательно прошёлся, всё подобрал, или урожай в прошлом году в этом ме-сте был плохой. Чтобы набрать шишек хоть толику малую, надо было уйти далеко в сторону, да сил-то нет по камням замшелым, заросшим багульником да мелкой порослью деревьев, лазить. Зоя, мамина помощница, первой нашла шишку, чуть тронутую кедровкой, обрадовалась, принесла Ульяне. Всей семьёй набрали всего дюжину шишек, а в них через одно орешки пустые — не зря их кедровка кинула. Только голод раздражили, да время зря потратили.

Пошли дальше. А подъём становился всё круче и круче, сил же становилось всё меньше.

Останавливались отдыхать и обедать в тех же местах, где отдыхал первый от-ряд, хоть «стол» да кострище самим не надо оборудовать.

С трудом заставила себя Ульяна подняться в очередной раз после «обеда» и, чуть не плача от жалости, подняла она на ноги ребяташек, но едва отошли десяток



шагов от кострища, увидели свежий холмик из камней, в который был воткнут небольшой, прямо-таки игрушечный, крестик, связанный верёвочкой. Крест был не оструганный, еловый, и еловые веточки были набросаны на холмик и вокруг него. Никакой надписи не оставили люди старому ли, малому человеку, упокоившемуся в дороге, видимо в надежде вернуться сюда вскоре и установить крест настоящий, а может, и вовсе унести тело на общее кладбище близ деревни. Сжалось тревожным предчувствием сердце Ульяны, взяла Оленьку на руки, подошла к могилке, постояла минуту вместе с другими, пошла дальше, в левой руке Олина крохотная ладошка, в правой — Танина. Неудобно так идти по тропке, а кажется надёжней.

За одним из поворотов испугались, увидев тёмную мужскую фигуру, сидевшую под деревом. Не варнак ли? Но это, оказалось, сидел Фёдор, его недавно трепал припадок, и теперь он, бледный и измученный, медленно приходил в себя. Рядом с ним сидела незамеченная вначале Ульяной старуха Кочнева, тоже измождённая, она помогала женщинам держать припадочного, чтобы он не зашиб себя до смерти, потом женщины ушли, а она осталась возле больного. Далее Кочнева пойдёт вместе с Ульяной и Натальей в долину, а Фёдор вернётся домой. Ему так и не попал под выстрел ни один таёжный зверь, ладно, что помогал мужик в дороге, в устройстве костра и ночлега. И охранял как-никак.

Следующим днём подъём стал не так крут, приблизились к перевалу. А когда поднялись на него, отдохнули, то горькая судьбинушка настигла и Ульяну. Зоя прошла три шага от места, где сидела, остановилась, позвала тихо и протяжно:

— Ма-ма... — и мягко осела на землю.

— Зоинька! — метнулась к ней Ульяна, но дочка улыбнулась, закрыла глаза и легла на спину.

Когда лицо матери приблизилось к её лицу, она открыла глаза, вздохнула и вытянулась.

Глаза у дочки синие, волосики светлые; и небо синее-синее на сотни вёрст вокруг...

Остальной путь Ульяна помнила плохо.

\* \* \*

Когда в темноте Афанасий Иннокентьевич думает о своих родных, время сжимается до предела, давно минувшее возникает лицами отца, матери, братьев и сестёр, кажется, что слышит он их голоса, и даже тёплое дыхание их ощущается рядом. И те, кого уже нет в живых, приходят из прошлого так же реально, как приходят его навестить сын, невестка или внучек Павлушка. Родные из прошлого появляются осветлённые — более добрые, более нежные, чем знал их когда-то Афанасий Иннокентьевич. И потому жаль их невыразимо. Жаль, что преждевременно прервались их земные пути. Даже мать, которая когда-то казалась ему чуть ли не старухой, даже мать его умерла молодой. В те майские дни, когда она вводила через горный хребет детей от смерти, когда она уже потеряла на войне сына, схоронила мужа и оставила на перевале дочку, исполнился ей всего лишь сорок один год! Сыну Афанасия Иннокентьевича уже пошёл сорок первый год... А всего мать прожила сорок четыре года, как раз дождалась победы, но не дождалась сына с войны. Теперь он уже старше её на целое поколение.

## Глава 6

— У тебя даже шампанского нет, чтобы стрельнуть, не говорю уж о существенном, — Владимир сделал вид, что недоволен женой. — Что же, будем телевизор насухо смотреть?

— Ты, больной, — Тоня приняла предложенный тон, — пей морс, видишь, какой красивый? Вкусно и для здоровья полезнее. А шампанское попробуй достань — думаешь у меня было время в очередях стоять? За спиртным очереди — убийство! Говорят, будут талоны на водку давать. Зато я коробку с мандаринами купила, тоже очередь отстояла, а Толик по десять килограмм яблок и апельсинов принёс.

— Понятно: наваливаемся на фрукты, алкоголь отменяется. И на экране — тоже, — Владимир просмотрел программу передач телевидения. — Что это за Новый год без фильма «С лёгким паром!»? Тоска! Без шампанского ещё куда ни шло, но без сказки в новогоднюю ночь... «С любимыми не расставайтесь...» А? Кто же это отменил? И называет, наверное, перестройкой. Идиотизм! Как будто специально делают: натравливают нас на тех, кто захотел прекратить пьянство.

От огорчения Владимир сел спиной к телевизору.

Всё же, когда стрелки приблизились к двенадцати, и на экране появился Горбачёв, Владимир из уважения повернулся лицом к Генеральному секретарю и выслушал его поздравления.

— Какой у нас красивый Правитель! — сказала удовлетворённо Тоня.

— Гм, — хмыкнул Каретов, — а пятно на лбу тебя не смущает?

— Ну и что? Зато какой умный! Как говорить умеет. Не «сиськимасиськи». Наши женщины все влюблены в него.

— Да, — засмеялся Владимир, подивившись критериям, которыми пользуется женщина, оценивая красоту мужчины, — этого у него не отнимешь. Кстати, Сергей Сергеевич — там у нас лежит в ветеранской палате, говорит, что Брежнев несколько раз просился на пенсию, но его не отпускали. Сись-тематически. Ну, давай выпьем!

И они с Тоней чокнулись рюмками с игриво сверкавшим в них морсом и выпили, он развеселился окончательно:

— Курить сам бросил, пить — меня бросили, остаётся последний этап.

— Какой этап? — не поняла жена.

— Перестать любить. Побрить голову и — в монастырь. Поговаривают, что собираются открыть где-то. Правда, женский.

— Интересно: женщины не пьют, не курят — в основном, многие и не замужем... Их, что же, всех в монастырь?

— О! — перебил её Владимир: — Идея! Знаешь, что я с ними сделал бы, будь моя воля?

— Что?

— Я бы из них организовал добровольное общество под названием «Гарем».

— Нахал! — она скептически прищурилась: — Жену толком одеть не можешь, а туда же! Когда б у тебя было столько денег, как у султана, и собственный дворец, тогда бы ещё можно посмотреть, на что ты годен.

— О-го! Врезала, — сказал Владимир. — Но я же не для того гарем бы открыл, чтобы всех их одевать, а чтобы — наоборот — раздевать!

— Ты-ы?!

— Не, ну-у... не я, а вообще... О! Есть другая идея. Пошли!

— Куда? Что ты выдумываешь?

— Пошли, не разговаривай, — он обошёл стол, взял жену одной рукой за руку, другой — обхватил за талию, повёл в прихожую. — В какой валюте желаете получить? У меня есть ключ от квартиры, где деньги лежат.

Тоня упёрлась:

— Никуда не пойдём. С морса сдурел, что ли?

Он рассмеялся:

— Струсил? То-то же! Большие деньги, кроме султанов, бывают только у больших жуликов. А мы идём к Деду Морозу с горки кататься.

— Ой, баламут! Холодно же!

Но глаза засияли радостью: она вдруг почувствовала, что всё у мужа обойдётся благополучно, и этот день, эта ночь начала нового года может стать и началом обновления их отношений — какая женщина не ждёт большой и светлой любви?! Она вернулась в комнату, сняла с себя нарядное платье, открыла шкаф и стала доставать из него тёплые вещи себе и мужу.

Владимир, наблюдая за полуобнажённой женой, поневоле сравнивал её с молодыми женщинами, которые в больнице готовили комнату к новогоднему празднику, рисовали на окнах зайца: у тех фигурки тоньше, гибче; Тоня покрепче, попышнее, но это волнует его ничуть не меньше... На какой-то миг он засомневался: надо ли куда-то идти?

Оделись, укутались, вышли. Каретов взял жену под руку, и они зашагали по расчищенной дорожке, утонувшей между двумя вытянутыми холмами из выброшенного на стороны снега. Свет от редких фонарей из-за этих сугробов не достигал тротуара, под ногами было темно, и казалось, что они шагают в яму: вот-вот оступятся и провалятся в тартарары. Антонина опасливо замедляла шаги, а Владимира забавляла эта её пугливость на тысячекратно хоженной дороге, он шаловливо толкнул её бедром, но в последний момент удержал, не дал повалиться на снежную кучу.

— Ну, — возмутилась она, — в грязный снег!

Он только вздохнул:

— Не уронил же.

Давным-давно, как в полузабытой сказке, возвращались они так же вот под руку с киносеанса. Тогда был летний вечер, низкое солнце с трудом пробивалось сквозь деревья парка, но от нагретого асфальта всё ещё струилось тепло, а локоть Тони, которого он едва касался, был прохладным, гладкая кожа была нежней шёлка её платья, и сердце Владимира замирало от томления любви. Ему страстно хотелось обнять её, но он боялся получить отпор и изнывал от своего желания. Неожиданно для самого себя, не отпуская её руки, он слегка, будто нечаянно, толкнул её бедром. Они о чём-то разговаривали, а в этот миг враз смолкли; несколько шагов она прошла спокойно, словно не поняла, что он толкнул её умышленно, потом вдруг ответила тем же! Ударила бедром — дала сдачи! Он чуть не умер от восторга и счастья! Толкнул её снова, и снова получил ответ. Так они и шли, изредка используя этот хоккейный приём, один раз он взял и обманул её, увернулся — что тут началось! «Ах ты! Так, да?» Затеяли борьбу, в ход пошли руки, и вся возня закончилась вдруг крепким объятием и тихим-тихим, нежным поцелуем. Стена робости, разделявшая их, рухнула. Помнит ли Антонина тот вечер?

Когда глазам открылась площадь, на которой сияла огнями ёлка и сверкал сооружённый из снега и льда сказочный городок, Каретов вспомнил:

— Где-то тут, на этой улице, Цветочек живёт. Вон в том доме, наверное.

— Какой цветочек? Ваш Фиалко? — имена и фамилии удерживались в её памяти легко и прочно, как у разведчика из популярного кинофильма.

— Ну, правильно, мой Штирлиц, Фиалко утверждает, что у них стены в доме «ажно три мэтра» толщиной. Давай-ка заглянем.

Он подошёл вплотную к ближнему окну, освещённому, как и большинство окон в доме.

— Вот это да! — изумился Каретов. — Не врал Фиалко: не три, но не меньше метра — крепость!

— Старый дом, поэтому, — жена тоже заглянула. — Ну и что?

— Ничего. Интересные старики там лежат, я тебе потом о них расскажу. — Владимир задрал голову: — Ага: вон два окна тёмные, на втором этаже, наверное это его. Где пенсионер деньги хранит, как ты думаешь?

— Они у него есть? Были бы, так с тобой бы в одной палате не лежал.

— Э-э, нет! Куркуль без кубышки не бывает.

Несмотря на жестокий мороз, на площади было многолюдно. На горках, как на муравейниках, копошилась пацанва, сбивая с ног зазевавшихся взрослых. Тоня с горок кататься отказалась:

— С большой — упадёшь, а с маленькой — неинтересно.

Возле ёлки, перед снежными Дедом Морозом и Снегурочкой оборудована танцплощадка, но холод допёк организаторов, как раз когда Владимир с Тоней собрались потанцевать, согреться, они выключили аппаратуру и начали сматывать провода.

— Не повезло, — сказала Тоня.

— А вон и «валюта» ходит, — толкнул её Владимир.

Тоня ахнула:

— Бедненькие!

«Валюта», иностранные туристы, которые размещались в гостинице, окнами смотревшей на площадь, не усидели в тёплых апартаментах, вышли посмотреть, как веселятся русские в новогоднюю ночь. Одежка заморских гостей, однако, на такой мороз не была рассчитана. Худощавый высокий парень в курточке и в вязаной шапочке согнулся от стужи в дугу, ноги его в ботинках пританцовывали, как в лихорадке. Его спутница была в зимнем пальто, которое по сибирским меркам годилось лишь на осень, и в утеплённых сапогах — тоже зимних по западным стандартам, из синтетики. А голову эта глупышка спасает наушниками от магнитофона. Она, в отличие от парня, могучего телосложения, но и её, видно, проняло насквозь; поозиравшись немного вокруг, они быстрыми шагами направились в гостиницу. И ещё четверо иностранцев спешат в ту же сторону. Тоня провожает их сострадательным взглядом:

— Ну, что же это? Воспаление лёгких заработают. Почему их не остановили в гостинице?

— Гид же с ними не ночует, — Владимир засмеялся: — Ну, она-то не промёрзла, вон у неё какие «соцнакопления». И пусть не говорят потом, что их куда-то не пускают, что ёлка у русских тоже засекречена. Ничего, сейчас в ресторане согреются.

Наскоро обежали-осмотрели снежный городок с ледяными крепостными стенами, с фигурными теремами, и поспешили домой, мороз настойчиво пробирался и под меховую одежду. Возле дома Фиалко Владимир опять сбавил шаг.

— Ты что, опять в окна хочешь заглядывать?

— Нет. Я подумал почему-то: откуда у него квартира в самом центре, если он уезжал недавно в Ригу жить?

— Ну дак: ветеран, наверное.

— Вот тебе «дак»: другой старик в палате, Савельев, я тебе говорил, инвалид войны, а никак из завалюхи в хорошую квартиру не выберется. Уж наверное Алексей Федотович не долго ждал, когда его в эту крепость поселят. Вот и думаю: закон один, а отношение к ветеранам и результаты почему-то разные.

Сын дома так и не появлялся.

— Хорошо где-то устроился, — раздеваясь, пробурчал Каретов, немного уязвлённый тем, что единственное чадо совсем позабыло родителя. — Ну и фиг с ним, обойдёмся.

Тоня засмеялась:

— Ты как ребёнок губы надул, — подошла и чмокнула в эти оттопыренные и холодные губы. И они стали целоваться жадно и страстно, как в пору узнавания друг друга.

Засыпая, жена пробормотала:

— У нас выборы были.

— Какие ещё выборы? — пробубнил он, недовольный тем, что она нарушает блаженный миг перехода ко сну.

— Начальника цеха решили выбрать.

— А Ника ваш куда девался?

— У Николая Дмитриевича нервы не выдержали. Демократия началась, все газеты шумят: «Перестройка, перестройка!», главный инженер в цех зачастил, давайте, говорит, переходите на хозрасчёт, давайте качество. И в цехе народ распался, все чего-то хотят, все критикуют, вот он и подал рапорт, чтобы освободили с должности и перевели в проектное бюро.

— Сколько же кандидатов было?

— Два! — Тоня почему-то расхохоталась.

— Интере-есно, — протянул Владимир, — а я думал, что как в грузинском анекдоте: «Выбирай».

— Расскажи.

— Чего там. Увидишь Зураба, попроси его рассказать, у него очень колоритно получается.

— Ну, не ломайся. На меня говоришь, а сам?

— Ладно. Адын таварыш, — засмеялся, — захотел стать секретарём райкома. Пришёл на базар, чтобы купить поросёнка на угощение вышестоящему начальству. А поросят нет. У одного только продавца остался небольшой заморыш, и мужик, не будь дурак, заломил цену. Ну, будущий секретарь ему говорит: «Какой поросёночек маленький, а столько просишь! Ай-яй!». А тот отвечает: «Нэ нравится? Выбирай». «Как выбирать, когда у тебя всего один поросёнок?!» Мужик в свою очередь спрашивает: «А мы тебя как выбирать будем? Тоже из одного». Ну, делать нечего, выложил деньги, забрал поросёнка.

— Так он что, тоже членом партии был?

— Кто?

— Ну тот, который торговал? Разве так может быть?

— Грузинский анекдот — у них всё может быть. И почему не смеёшься? Кстати, кого же у вас выбрали?

— Сейчас обхохочешься: Шурика Васильева!

— Чего-о? — не поверил Владимир, от удивления у него даже сон отлетел. — Нашего Дылду?

— Именно.

— За что? Он же дурной, как пробка! И диплома инженера у него нет, он какой-то техникум заканчивал, чуть ли не торгово-кулинарный. У него всё достоинство, извини, в штанах — на племя его, но и то не к женщинам, а к тёлкам.

— Вот за это и выбрали: у нас же в цехе одни девки. Он ходил возле них дня два или больше — здоровый мужичина, голос — бас, втихую им что-то бухтел, что-то обещал, чтобы я не знала, они и растаяли.

— А при чём тут ты?

— При том, что в нашем русском анекдоте выбирали из двух шелудивых: я была вторым поросёнком!

— Ты?! — Владимир растерялся, потом засмеялся: — А почему мне ничего не сказала? Нет, а что? Ты зря: ты бы справилась...

— Не сказала потому, что сама не знала. Я же крутилась между домом, работой и больницей, а потом мне говорят: «Будем выбирать начальника цеха. Считаем, что ты подходящая вторая кандидатура». Ну, раз так, думаю, пусть будут выборы, хоть я и вторая. Думала, что дадут время подготовиться, обсудить дела цеховские и наметить программу, как их улучшить, и вдруг в тот же день, когда мне сказали, приглашают нас в красный уголок и давай голосовать. Причём открытым голосованием.

— Та-ак. Облапошили, значит?

— Я сперва психанула, а когда успокоилась, решила, что — к лучшему. Зачем мне нервы трепать с бабьём? Бабы — дуры. Ведь хозрасчёт, который нам предлагают в цехе внедрять, глупость невероятная: разорвём единую технологическую цепочку — всему предприятию не поздоровится! Ему-то всё равно, он не понимает, а я бы на рожон полезла. И на госприёмку Тоську Мафонову поставили, ей до пенсии два года осталось, слепая почти, что она напринимает, представляешь?

— Представляю. А что главный?

— Главному инженеру вроде всё «до лампочки». Он, конечно, понимает, что сделать из каждого подразделения самостоятельные экономические единицы — это значит развалить предприятие, но на что-то надеется, какую-то выгоду для себя видит.

— Значит, пока я в больнице, перестройка всюю прёт. В куче с демократией и гласностью.

— И с душком. Знаешь, я раньше не замечала, что начальство наше нечистоплотное. Свобода появилась, и из них попёрло. Кстати, о главном инженере. Узнала недавно, что машину, которая перевернулась, списали, хотя у неё только стёкла побились, и как металлом продали ему. Её там же, в гараже, и восстановили. А зам начальника из предпритъевского кирпича двухэтажную дачу отгрохал.

— Ладно, спи, милый мой демократ...

## Глава 7

Каретов вернулся в больницу утром четвёртого января, за полчаса до обхода врача, лёг под одеяло. В палате уже никто не спал, но на его приветствие, когда он вошёл, невнятно что-то бормотнул один только Фиалко.



И Елена Андреевна пришла чем-то удручённая, и на поздравление с Новым годом и попытку Владимира пошутить не улыбнулась, осмотрела всех по очереди и вышла.

— Что-то произошло? — спросил негромко Каретов Кадочкина.

— Да-а, — неопределённо протянул тот.

— Опять умер кто-нибудь?

— Да! — оживился Александр. — Высокий старик, ну, тот, что обмарался тогда, помнишь?

— Когда это случилось?

— Дак первого числа, ночью. Мы только-только после курантов выпили по маленькой, у соседней в палате, и пошли обратно смотреть телек, а тут он как раз и скончался. Сумел дату смерти на год перетащить! Молодец! — и тут же Кадочкин огорчённо вздохнул: — Подпортил нам праздник.

— Дочери когда сообщили?

— Она здесь была, сидела рядом с ним. Забрали его. Ну, вчера, должно быть, уже схоронили.

— А тут у нас почему тоже мрачные все?

— Да-а... Михайловича грозятся выписать.

— Как выписать?

— Да он у самоволку сходяв, — подал голос Фиалко.

— Как же так? Сразу и выписать?

Каретов посмотрел на Савельева. Ефим Михайлович лежал неподвижно и молчал, будто не о нём шла речь. Владимир посидел в тишине на своей койке, потом, не дождавшись каких-либо разъяснений, вышел в коридор, надеясь увидеть старшую медсестру или лечащего врача, чтобы выяснить, насколько угроза выписки ветерана достоверна. Тани за её столиком не было, и он остановился возле вывешенного на стене разукрашенного цветными карандашами листа ватмана — новогодней газеты, немудрёного творчества больных. Взгляд задержался на стихотворных строчках, посвящённых ночной медсестре Оле. Заканчивались они так:

*Как увидишь нашу Олю,  
Так и нету боли.*

Неуклюжие строчки поразили Каретова: оказывается у кого-то было такое же чувство на душе при виде этой женщины, как и у него! Среднего роста, сложенная исключительно гармонично, по законам пропорций, известным одному только Богу, она не была идеальной скульптурой — прекрасной, но холодной, а идеальное сочеталось в ней с женственностью, с той мягкостью движений, которая вызывает в мужчинах прилив нежности и сладкой тоски от реальности существования воплощённого в плоть близкого и недостижимого счастья. Русые волосы, заплетённые в две косы и собранные в узел, как нельзя лучше соответствовали её серо-голубым глазам и овалу типично русского женского лица. От неё на расстоянии веяло добротой и лаской. Воистину сестра милосердная! И у Владимира, когда он увидел Олю впервые, разом как-то всё внутри потеплело, ослабли и растворились все физические боли, обмякли и стали упругими камни мускулов, исчезли все тревоги, дыхание обрело свободу — хоть песни пой!

Очарованный, он тогда прошёл мимо, в конец коридора, лихорадочно подыскивая предлог для начала разговора, но не успел ничего придумать, как ноги уже принесли его обратно. Она в этот момент села на стул за своим столом, открыла



журнал, чтобы сделать в нём какую-то запись, но посмотрела на него — доброжелательно и с готовностью выполнить его просьбу. Увидев, что он, не зная что сказать, находится в затруднении, сама спросила:

— Не спится вам? Снотворного не надо?

— Нет. А вы спать не хотите?

— Привыкла дежурить по ночам.

— А как же... — он запнулся. — Вы замужем?

— Да. У меня муж и сын. Три годика.

— Ну вот: как они без вас?

— Сын в садик ходит, — она записала что-то в журнал, закрыла его. — Когда к родителям, если в садике карантин.

— А муж? — улыбнулся Каретов. — Как же он ночи один проводит?

— Не все же ночи я дежурю, — ответно улыбнулась Оля.

— Не ревнует? Я бы не смог свою жену так вот на ночь отпускать куда-то, да ещё за такую маленькую зарплату.

— Почему он должен ревновать, когда он знает, что я его люблю? — удивилась она. — Он понимает, что я тут нужна. А зарплата — какая есть, кто хочет получать больше, тот в институт идёт учиться.

— Да-а, — засмеялся Владимир, — как у вас всё просто и ладно получается! Кстати, ваш новый министр говорит, что возмущён условиями, в которых работают медики, обещал, я по радио слышал, поднять престиж медицинских работников, и даже уже какое-то постановление издал о прибавке к зарплате. Так что вам, наверное, прибавили?

— Нет, меня это не касается. Кому-то, наверное, прибавили. А недостатки наши... — на лице её промелькнуло выражение досады: всё-таки он зацепил больное место. — Он почему мешком прикидывается? Он ведь был замминистра, и раньше прекрасно всё знал!

«Ишь ты! — восхитился про себя Каретов. — У неё и зубки есть! Интересно, знает ли она, как сильно тянет к ней мужиков?»

— А ещё поговаривают, что хорошо будет, когда появится возможность за плату лечиться, у хорошего врача, — решил поддразнить её Владимир, заранее зная, какой можно ожидать ответ.

— У кого денег лишних много будет, тому, может быть, хорошо, остальным зато хуже станет.

— Почему же?

— Потому что врач о больном должен думать, а не о том, что его коллега деньги гребёт.

О выписке Савельева лучше всего было бы узнать у Ольги, но до вечера было далеко, и дежурит ли она в эту ночь?

— Таня, — остановил он спешившую мимо сестричку, — можно тебя на минутку?

— Да, — она остановилась, но было видно, что ей некогда позарез.

— Там что-то про Савельева нашего слух в палате, будто его выписывают. Не знаешь...

— Пойдёмте, — перебила она его, — я как раз к нему иду.

В палате Савельев, увидев старшую медсестру, стал подниматься с койки, догадываясь, что она пришла с приговором. Таня не стала тянуть, вздохнула, сказала:

— Выписывают вас, Ефим Михайлович, — и посмотрела почему-то на Фиалко, но тот как будто не заметил брошенного на него взгляда, шарил рукой в тумбочке. — В два часа заберёте бюллетень.

Савельев уже стоял перед ней — худой, высокий, с опущенной головой и обвисшими вдоль тела руками — не то солдат перед командиром, не то провинившийся великовозрастный школяр перед маленькой, но строгой учительницей. Таня вышла, Ефим Михайлович удручённо сел на постель, минуту-другую о чём-то тяжело думал, потом стал медленно собираться: снял больничную полосатую одежду, натянул чёрное трико, поверх надел брюки; долго возился с пуговичками на рукавах рубашки.

— Ефим Михайлович, — сказал Каретов, — до обеда время ещё есть, куда вы торопитесь? Может, ещё одумаются врачи, остынут да и отменят решение, а?

— Да? — смутная надежда остановила Савельева, он посмотрел на Владимира, потом на Ромку, на Кадочкина. — Что же мне делать?

— Отдыхайте пока, а я попробую Елену Андреевну изловить. С ней что-нибудь придумаем.

В глазах ветерана прояснилось, он суетливо посмотрел вокруг себя, сел на кровать и проделал процесс переодевания в обратном порядке. Лёг, укрылся одеялом.

## Глава 8

На своём этаже Каретов никого из медперсонала не нашёл, если не считать студенток, и спустился на первый этаж. Заглянул в кабинет главного врача и увидел, что там идёт странное собрание: вместо главврача — спокойного и доброго Петра Ивановича — за его столом сидела его заместитель, Ираида Борисовна, и назидательным тоном выговаривала за что-то всем сразу. Елена Андреевна тоже сидела в кабинете, забившись в дальний угол.

«Это хуже, — подумал Владимир. Он надеялся с помощью Елены Андреевны уговорить Петра Ивановича не выписывать Савельева, а как разговаривать с Ираидой Борисовной, не представлял. — Эта бесчувственная фурия командует сегодня, она, наверное, и распорядилась выгнать старика».

Он вернулся к себе на этаж, заглянул в палату и на вопросительный взгляд Ефима Михайловича сказал:

— Там у них планёрка, я потом схожу.

Старик кивнул ему головой, в глазах теплится надежда.

— Бог мой! — спохватился Каретов. — Мне же рентгеновский снимок надо забрать! Мужики, я пошёл за снимком, если Елена Андреевна спросит.

— Иды, — разрешил Фиалко.

Рентгенкабинет находился в травматологическом корпусе. Владимир выскочил на улицу в чём был, перебежал через двор, по лестнице, шагая через ступеньку, поднялся на второй этаж, прошёл в левое крыло, но, увы, у кабинета была уже очередь. Две скамейки, стоявшие здесь, были заняты, несколько человек маялись, стоя у стенки. Он тоже прислонился к стене и стал ждать.

Мимо проходили больные стационара, которые излечивались здесь после полученных травм. Прокандылял с костылём мужчина лет тридцати, наступая и на левую ногу, из которой торчали во все стороны спицы. Под руку с медсестрой

медленно прошёл парень лет восемнадцати, голова его была обмотана бинтами, как чалмой. Два санитары из студентов, изгибаясь телами от тяжести, на носилках пронесли полную женщину средних лет, опустили носилки у стены, дождались, когда пришла врач с бумагами в руках, зашла в рентгенкабинет, выглянула оттуда через минуту:

— Давайте!

Женщину подняли и занесли туда.

Заныло сердце у Владимира, когда он увидел, как идёт по коридору, опираясь на костыли, молодая красивая женщина: высокая грудь, крепкое тело «в самом соку» и... культя — правая ступня у неё отсутствовала. Белые бинты на заострённом книзу обручке ноги притягивали взгляд, и вызывали такое щемящее чувство жалости, что ком появился в горле. Понимая, что пристально смотреть на изуродованную ногу женщины не совсем прилично, он перевёл взгляд на сидевшего напротив мужчину, но и тут картина была не лучше: на лице мужчины не было живого места, глаза его едва видны были среди ссадин и кровоподтёков, на руках бинты с проступившими сквозь них пятнами йода и какой-то жёлтой мази.

Когда подошла очередь Владимира заходить в кабинет, он увидел, что женщина на костылях возвращается. Взгляды их встретились. В её карих глазах ничего не отразилось — или она уже притерпелась к своему положению и привыкла к тому, как смотрят на её ногу, или же, наоборот, ещё не осознала всего трагизма случившегося.

Рентгенкабинет, освещённый красным светом, в первую минуту кажется в полумраке, только на письменном столе, за которым сидит миниатюрная ладная женщина в очках, яркое пятно от настольной лампы.

Врач совершенно не соответствовала, по представлению Каретова, облику, который характерен для людей этой профессии. Во-первых, рентгенологом должен работать мужчина. А уж если женщина оказалась здесь, то она должна быть бой-баба, командир, нечто массивное и мужеподобное. Таких, кстати, он уже встречал раньше. Эта же какая-то домашняя, похожая внешностью и мягкостью обращения на воспитательницу детского садика...

— Каретов? — она порылась в бумагах, глянула один из снимков на просвет. — Так, помню, описание готово. А вы что хотели?

«Она узнаёт нас не по лицам или голосам, а по внутренностям!» — подумал с изумлением и с долей ужаса Владимир.

— Так меня послали описание взять, — сказал он.

— Мы сами передаём в каждое отделение плёнки с описаниями, зачем же больных гонять?

— Ну, ладно тогда, — согласился Владимир, устыдившись, что он зря обвинял Елену Андреевну, хоть и не в глаза, что она не умеет читать по снимкам. Она их, вероятно, ещё не видела. — Может быть, врач хотела побыстрее снимки получить, может быть, она меня сегодня хотела выписать? Или что там у меня? Опухоли нет?

— Нет, — она улыбнулась, — у вас просто сужение кишечника, есть небольшие отклонения в работе некоторых органов. Вам надо к гастроэнтерологу зайти посоветоваться, к Тамаре Викторовне. Она очень хороший специалист. Знаете её?

— Буду знать. А ошибки не может быть? А то нашему начальнику сделали рентген, сказали, что у него язва, но потом оказалась опухоль.

— Где? — испуганно спросила она. — У нас делали рентген? Как его фамилия?

— Нет, его же вторая поликлиника обслуживает, там и делали.

— А-а, — облегчённо засмеялась она, — ну, там одни блатные работают, по протекции, а не по знаниям. Там больных мало, им сложнее набраться опыта, а у нас тут тысячи проходят.

— Да уж, вам не позавидуешь: сколько покалеченных, на некоторых больных страшно смотреть!

— Да-а, — вздохнула она. — Аварий опять больше стало. Опять стали пить, пуще прежнего, борьба с пьянством закончилась. За минувший квартал число травм увеличилось на сорок процентов, по сравнению с предыдущим, а тяжёлых — почти удвоилось. Друг друга алкаши калечат дико: рубят, режут. Боже мой! Как было хорошо, когда водку запретили!

— Где же запретили? Только припугнули. А что — у вас тут чувствовалось?

— Ещё бы! Думали, что райская жизнь наступает. Ну, я отдам вам снимки с описанием, передадите своему врачу?

— Конечно! Спасибо.

## Глава 9

Пронзительный женский крик заставил больных второго этажа выглянуть в коридор. Во вторую палату уже мчались дежурная медсестра Таня и практикантка Наташка.

— Скорее! — вопила у распахнутой двери Валентина. Кажется, она была на грани безумия. Её красный халат был лишь наброшен на плечи, куцая полупрозрачная комбинашка едва прикрывала интимные места, но она не обращала на это внимания, кричала, что есть мочи: — А-а-а! Скорее! Помогите!

Через минуту из палаты показалась неловкая процессия: Таня, Валентина и Наташа тащили Зину. Голова её завалилась набок, руки висели плетями, наспех надетый на одно её плечо синий халатик держался каким-то чудом, ничего не закрывал, а на ней не было больше ничего, волочился по полу и мешал движению. Парень из палаты напротив, шагнувший было навстречу женщинам, чтобы помочь, от увиденной картины вдруг оробел и отступил назад.

— Да помогите же! — зло выдохнула Таня, но парень скрылся за дверью.

Самым проворным оказался Кадочкин. Он подхватил под руки обвисающее тело Зинаиды. Освободившись, Татьяна в тот же миг влетела в процедурную:

— Давайте сюда!

Дверь захлопнулась, но тотчас же отворилась вновь, чтобы выпустить из неё Кадочкина.

— Что случилось? — подступили к нему больные.

— А я... хрен его знает! Похоже, что траванулась.

— Пропустите! — потребовала запыхавшаяся Елена Андреевна, она появилась в сопровождении одной из практиканток. — Разойдитесь, пожалуйста, сейчас Ираида Борисовна придёт!

Больные медленно разошлись, но то и дело из палат показывались встревоженные лица. В новогоднюю ночь Зина в комнатке, приготовленной к празднику, смотрела вместе со всеми телевизор, шутила и даже пела несильным приятным голосом. Все больные запомнили красивую молодую женщину и теперь переживали за её жизнь.

Вышла из процедурной Валентина, халат на ней уже был в порядке, поясок охватывал тонкую талию.

— Ну, что там, как? — возле женщины сразу образовалась кучка народу.

Она оглядела всех всё ещё испуганными глазами, сказала, прижав ладони к щекам:

— Ой, как я орала! Испугалась! Ужас! И в таком виде!

— Зина как?

— Не знаю. Вырвало... Дышит. Откачивают...

— Она чего сделала?

— Вырвало — тогда живая будет, — высказался пожилой мужчина из пятнадцатой палаты; парень, что приносил магнитофон, когда Валентина с Зиной украшали комнату, посмотрел на него с надеждой.

Валентина медленно шла к своей палате, не зная, надо ли говорить, что произошло с её подругой.

Они неплохо провели новогоднюю ночь, телевизор смотрели, пели и даже танцевали под магнитофон. От партнёров отбоя не было. Первого января Зинин Игорь не пришёл навестить её, она, конечно, психовала:

— Вот гад, нажрался, наверное, так, что забыл про меня. Ну, я ему напомним!

Второго вечером он появился в сопровождении Лены, подруги Зины, слегка с похмелья, морда виноватая, но при подруге Зина не стала ругать его, да и так бы не стала, рада была, что пришёл, не испарился никуда, и подруге рада.

— А я зашла к вам, — объяснила Лена, — думала, тебя выписали, а он один, ну с этим... с каким-то парнем...

— С каким парнем? — Зина посмотрела на Игоря.

— Да-а... ты его не знаешь. Потом расскажу.

Но побыли они недолго. Игорь сказал, что у него там, дома, осталась плитка включённая, на единичку, суп доваривается, а Лена ещё к одной подруге обещала зайти.

— Ну, вы днём завтра приходите, — сказала Зина, — сегодня ко всем весь день идут, а я одна и одна.

— Ой, — сказал Игорь, доставая из кармана своей шубы плитку шоколада, — чуть не забыл.

— Скажи, что тебе завтра принести, мы принесём, — Лена искательно заглянула Зине в глаза.

— Господи, не надо ничего, только приходите.

Они пришли опять вдвоём, перед самым обедом, Лена тёплые булочки принесла, с маком, сама стряпала...

— На улице немного отпустило, — сказала она, — завтра потеплеет совсем, сказали по радио...

Зина вечером, лёжа на койке, как-то странно притихла, а когда Валентина спросила её, не стало ли ей хуже, сказала задумчиво:

— А чего это они на пару ходят? Было бы что накинуть на себя, сбегала бы посмотреть, не хороводятся ли они там без меня?

— Брось ты, — попыталась успокоить её Валя, — подруга ведь.

— Подруга, — согласилась Зинаида.

Но утром, как только явилась гардеробщица, Зина подмазалась к ней, наговорила лестных слов, с наступившим новым годом поздравила и выпросила свою одежду на полчаса. Наскоро оделась и помчалась домой. С бьющимся сердцем

влетела на третий этаж, торкнулась в дверь, и только теперь вспомнила, что ключи от квартиры оставила в тумбочке. Позвонила. Немного подождала и снова нажала кнопку. Дверь открылась. У порога стояла... Лена. На голове у неё была её фансонистая норковая шапка, а на открытой шее красовался ... свежий синяк, след невоздержанного поцелуя! Шарфик она держала в руках, явно одевалась, чтобы уйти. Игорь в этот момент появился в коридорчике, в одних брюках. Изумлению всех троих не было границ.

— В-вы что тут делаете?! — выдохнула Зинаида.

— Я... я только что зашла...

— Она зашла разбудить, — подал голос Игорь, — я это... будильник уронил.

На работу...

— Тебе же к восьми, — сказала Зина, — а уже девятый час!

— Ну, вот, проспал, если бы не Лена, я бы всё ещё...

Когда стали выходить из квартиры, Лена попыталась незаметно передать ключи от квартиры Игорю.

— А почему наши ключи у тебя?!

— Ну, я же дал ей, чтобы разбудила, боялся, что просплю, я крепко выпил вечером.

— Значит, ты была тут вечером?

— Н-ну... я заходила с этим, с Алексеем.

— С каким Алексеем?

— Ну, с другом, Игорь меня познакомил.

«Может, и правда познакомил с другом, может, она тут с этим Алёшкой ночевала, поэтому бояться мне сказать? А я зря с ума схожу?»

Кое-как они уговорили, уболтали Зину, и всё на ходу — торопились на работу.

Шла обратно, прокручивала в мыслях только что увиденное: полную растерянность Игоря и Лены, когда она заявила; какие они были домашние, тёплые; как они мимолётно обменивались взглядами; ключи... Ах, подруга! Ах, Ленка! Курва! Ох, Игорь! Кобель!

В больнице Зина прошла в свою палату, легла на кровать, укрылась одеялом с головой, на завтрак идти отказалась.

Валентина пришла из столовой, решила ещё подремать, сняла халат, но обратила внимание, что на тумбочке у Зинаиды лежит небольшой свёрток, перевязанный голубой ниткой, на белой бумаге крупно написано: «Игорю!!!». Дверка тумбочки была открыта, а на полу валялись пустые пакетики от разных лекарств.

— Зин, ты что? — Валентина откинула с подруги одеяло, изумлённо ахнула — Зинаида была совершенно голой, по лицу красные пятна, глаза полуоткрытые закатились, из горла едва слышно шёл хрип. Тогда-то и разнёсся по больнице вопль ужаса.

...Примерно через час самое страшное осталось позади. Зинаиду решили вернуть в свою палату, надо было отнести ей бельё. Валентина нашла в тумбочке бюстгальтер и трусики, рубашонку — чистые, поглаженные, лежавшие аккуратной стопкой, удивляясь, куда же исчезло то, что было на Зинаиде, когда она ложилась в кровать.

Валюю, апатичную Зинаиду под руки привели в палату и уложили в постель. Валентина оказалась за сиделку, после праздника в палату пока никого не подселили. Зинаида то ли дремала, то ли делала вид, что спит.

Взгляд Валентины упал на свёрток: толстая голубая нитка на нём была явно выдернута из Зининого халата, а кричащая надпись «Игорю!!!» неудержимо тя-

нула заглянуть в него. Валентина взяла загадочный свёрток в руки, посмотрела на подругу, веки Зинаиды дрогнули, но она не пошевелилась. Нитка легко развязалась, и глазам Валентины предстали комбинашка, ажурные трусики и лифчик — исчезнувшие было пикантные вещицы, которые подруга, решив уйти из жизни, сняла с себя, чтобы оставить на память любимому. Изменнику.

Ещё дважды водили Зинаиду в процедурную, чистили желудок. Возвращалась она в свою палату, пряталась под одеяло и плакала навзрыд.

Вечером, услышав от Валентины, что пришёл Игорь, Зинаида отвернулась лицом к стенке.

— Что ему сказать? — спросила Валя.

Молчание.

— Ну, я скажу, что ты отравилась и не можешь выйти. Да?

Не дождавшись от подруги ответа, Валентина пошла к двери и услышала вслед бормотание. Вернулась.

— Что ты сказала?

— Ключи забери.

— От твоей квартиры? — уточнила Валя, но не удостоилась больше ни одного слова.

Валентина не стала жалеть Игоря, выложила напрямик:

— Зинка отравилась.

— Как?! — он побледнел. — Не ври! Где она?

— Её откачали, но она не может ходить. Давай ключи.

— Что, правда, что ли?!

— Ключи! Она просила забрать ключи. Давай!

Он растерянно протянул ей колечко, на котором болтались ключ от двери и ключ от почтового ящика. Она взяла их и пошла по лестнице вверх.

— Постой! — рванул за ней Игорь.

— Холодно, — не оборачиваясь, передёрнула плечами она.

В коридорчике второго этажа навстречу ей, согнувшись, спешила... Зинаида:

— Где он? Игорь где?

— Ушёл. Вот, — и протянула ей ключи.

## Глава 10

В палате все были на своих местах, даже Кадочкин торчал здесь, в соседней, где он было устроился нелегалом, поселили новых больных. Все были какие-то возбуждённые, и Владимир спросил:

— Ещё что случилось?

— Случилось, — живо отозвался Кадочкин, — Зина отравилась. Еле откачали.

— Это та — тоненькая, в красном?

— В голубом. Дура! Испортила себе желудок из-за какого-то подонка. Тьфу! Мужиков мало, что ли?

— Не так надо было, — задумчиво произнёс Савельев. Он лежал, заложив руки под голову. — Травиться — дак наверняка.

— Ладно, — сказал Роман, — поправится, умнее станет. В общем, товарищи, я пошёл. Работать надо, хватит валяться. Поправляйтесь тут, здоровье ещё всем пригодится.



— Куда пошёл? — удивился Каретов. — Тебя выписали, что ли?  
— Пинка под зад мне за самоволку. Эта еврейка тут быстро порядок наведёт.  
— Ну и что — бюллетень тебе не дали?  
— А он мне на ... не нужен их бюллетень, я сам себе директор и зав отделом кадров! Я шью.

— Как это?

— Просто, открыл мастерскую на дому, беру заказы...

— И что шьёшь?

— Всё: костюмы, шапки, унты, куртки-пуховики, дублёнки. Так что мне болеть невыгодно.

— А-а... Не запрещают шить? Частная лавочка... Какое-то разрешение, наверное, надо получить?

— Х-мы! Кому надо? Вы не расчихали ещё, что новый курс у нас? Э-э, то ли ещё будет! Ну, ладно, отцы, счастливо!

Роман ушёл. Каретов оглядел оставшихся, необычно тихого и скромного Филалко, спросил Кадочкина:

— А что он тут про еврейку сказал?

— Так эту, Ираиду же, главврачом поставили!

— Та-ак, — Владимир невольно посмотрел в сторону Савельева. — А Елена Андреевна сюда заходила?

— Была. Нагорело ей за нашу палату, мне нянечка сказала. Да, она просила тебя подойти, как появишься.

— Я заглядывал в ординаторскую — её не было, — Каретов посмотрел опять на Савельева, кивнул Кадочкину и вышел в коридор. Кадочкин последовал за ним. Владимир спросил: — Ну, что со стариком?

— ...их мать! — выругался Кадочкин. — Они его выпнут с записью, что за нарушение больничного режима выписали из больницы. И весь сказ. Михалыч пока не знает, но вот-вот придут и скажут, чтобы забирал он свой «волчий билет». Что делать — хрен его знает!

— С такой записью ему и бюллетень не оплатят.

Едва Каретов заглянул в ординаторскую, как увидел Елену Андреевну, и она его увидела, немедленно вышла:

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуйте, — ответил он и удивился, что они ещё не виделись сегодня, отметил про себя, что отмороженная кожица на мочках её ушей уже шелушится. — Вот я принёс снимки.

— Хорошо. Я сейчас же посмотрю, но думаю, что у вас всё в порядке.

— Елена Андреевна! — они посмотрели друг другу в глаза. — Неужели ничего нельзя сделать?

Она поняла, о ком идёт речь, сказала виновато:

— Ничего. Она же хочет всем доказать, какой тут при Петре Ивановиче беспорядок был.

Елена Андреевна прикрыла рот ладошкой, испугалась, что сказала больному лишнее. О том, что Ираида Борисовна уже пригрозила ей выговором, если она будет настаивать на том, что Савельева надо простить, молодая врач умолчала.

— А что, если я подойду к вашей Ираиде Борисовне? Вроде как представитель трудящихся масс, которые защищают интересы больных, — он улыбнулся. — Она уже точно вместо Петра Ивановича назначена?

Елена Андреевна посмотрела на него с некоторым подозрением и, кажется, с испугом, она даже как-то съёжилась, будто он узнал что-то сверхтайное и высказал запретное вслух. Но честный и простодушный вид Каретова успокоил её:

— Сегодня из горздрава должны прийти по поводу назначения Ираиды Борисовны, но я думаю, что уже всё решено. А к ней, если хотите, подойдите после того, как я вам всё оформлю и подпишу у неё. Хорошо?

— Понял.

— Обращение больных у неё уже есть, — раздумчиво, как самой себе сказала Елена Андреевна и вернулась в ординаторскую.

«Какое ещё обращение? — удивлялся Каретов, шагая в палату. — Ну, дела!»

Что-то в запущенной машине по воспитанию больных в духе строгого соблюдения режима и порядка не сработало, и Савельеву справку о том, что он находился в больнице с такого-то по такое-то и выписан за самовольный уход из больницы, к обеду не принесли. Отсрочка настроила его на оптимистичный лад, он сходил со всеми в столовую, погулял по коридору, потом пришёл в палату, сел на свою кровать и посмотрел на Каретова, явно с намерением поговорить. Но Владимир, зная почти наверняка, что старику не только не дадут желанную справку о полученных ранениях на войне и, как следствие, он лишится права на установление инвалидности, но даже элементарного бюллетня ему не будет, разговора побаивался и стал придумывать предлог, чтобы уйти из палаты. Но Савельев сказал о другом:

— А я много не пил.

— То правильно, — Фиалко вдруг оживился. — Тебе зачем много пить? Отметив новый год — и всё! Одну бутылку у день.

— Водку я не пил, — сказал благодушно Савельев, — вина маленько выпил.

Что-то случилось у него приятное в новогодний праздник, что задержало его дома на целых три дня, несмотря на очевидные неприятные последствия.

— С женой выпили? — спросил Владимир, язык у него не повернулся назвать женщину Савельева сожительницей. — Вы говорили, что у неё и бражка есть.

— Не-ет, — неопределённо сказал Савельев, — бражку я не пил. Стопку водки ещё выпил.

Он замолчал, пауза затянулась, и Фиалко, глянув с грустью на свою банку под кроватью и не дождавшись продолжения откровений Ефима Михайловича, кряхтя поднялся и побрёл в туалет. Едва дверь за ним закрылась, и Савельев с Каретовым остались вдвоём, старик усмехнулся и сказал:

— Ага! Я знаю, что его приспичило, — он посмотрел посветлевшим взглядом на Владимира и сказал, хитровато прищурившись: — Меня ведь второй раз могли посадить — за дело.

— За какое дело?

Савельев принял свою обычную позу, сел, глядя в пол, помолчал, как будто припоминая что-то, хмыкнул удивлённо:

— Четырнадцать лет ей тогда было! Ну, была у меня одна знакомая, лет тридцати, зашла ко мне днём с девчонкой, они гуляли вместе по улице. Летом. Ну, посидели, в карты поиграли, и они ушли. А ночью слышу: кто-то в окошко лезет. Я же на первом этаже. Жарко, и окно у меня открыто было. Я проснулся, спрашиваю: «Кто?» А она отвечает: «Это я, дядя Фима». Я спрашиваю: «Ты почему в окно?» Она говорит: «Замёрзла». А на улице прохладно стало.

Савельев выпрямился, потом лёг, заложив руки под голову, что-то наподобие улыбки блуждало по его лицу, но рассказывал он, по обыкновению, буднично, без эмоций:

— Ну, я встал, чаю согрел, у меня там конфеты были, печенье какое-то, угостил. Сам с ней тоже чаю попил. Она говорит: «Я у тебя переночую?» Я говорю: «Ночуй. Только у меня раскладушки нет. А тебя дома не потеряют?» Она смеётся: «Нет, не потеряют. А постели мне на полу что-нибудь».

— У меня два матраса было на кровати, я один на пол бросил, её на кровать положил, а сам на полу лёг. Лёг, а уснуть не могу, ворочаюсь. Она опять смеётся: «Чё не спишь, дядя Ефим, замёрз?» — «Нет», — говорю, а сам дрожу весь. Она говорит: «Ложись со мной, под своё одеяло». Я лёг на кровать, а меня аж трясёт. Она меня обняла, смеётся: «Дрожишь! Давай лезь под моё».

Савельев помолчал, глядя в потолок, сказал с изумлением:

— Мне пятьдесят четыре было, а ей четырнадцать! Что она во мне нашла? Потом она когда придёт ко мне ночевать, я на всякий случай на полу постелю, если кто придёт — я сразу на пол, как будто я там сплю. Она мне говорила: «Ну, дядя Ефим, ты за меня не считаешься. Если попадёмся, сколько лет тебе дадут?»

Вернулся Фиалко, и Савельев, прикрыв глаза, сделал вид, что дремлет.

## Глава 11

Возле ординаторской Владимир почти столкнулся с Еленой Андреевной, она вышла как раз из двери с его бумагами.

— Ох, извините! — сказал он, невольно вспомнив, как накануне Нового года при столкновении упала ему в объятия Наташа.

— Ничего, — сказала Елена Андреевна. — Вы знаете, я всё приготовила, справка для военкомата лежит у Ираиды Борисовны, но вы возьмите сейчас снимки, описание, вот тут результаты анализов, и сходите на консультацию к гастроэнтерологу, к Тамаре Викторовне. Она как раз сегодня после обеда принимает. Это хороший специалист, она посоветует вам, как избавиться от неприятных явлений.

— К Тамаре Викторовне? — переспросил Каретов. — Мне говорили о ней.

— Кто говорил?

— Рентгенолог. А где она сидит?

— На третьем этаже, вторая дверь от того конца. Обязательно сходите, — какая-то тёплая ниточка между ними протянулась с тех пор, как он подшучивал над её обмороженными ушами, и, кажется, она медлила уйти, хотела сказать ещё что-то, но почему-то удержалась.

— Ладно, — сказал Владимир, — я сейчас же пойду. А к вам ещё потом подойти можно?

— Да, конечно, — она чуть засмушалась, щеки её тотчас заалели и появились ямочки на них, — скажете мне, что она вам посоветовала. Возможно сегодня не успеете. Вдруг у неё там по записи народу много.

— Успею, — уверенно заявил Владимир, — но я подойду. Попрощаться.

Поднявшись этажом выше, он не поспешил в дальний конец коридора, где, он видел, сидели на скамеечке две женщины, а свернул к ближнему окну. На улице потеплело, и на окнах ледок оплыл, открыв верхнюю половину стёкол. С третьего этажа почти без помех поверх деревьев было видно противоположную сторону улицы, по которой в этот момент пробежал красный трамвай. Дома там старой постройки, в два этажа, между ними дальше виднелись тёмные от времени крыши деревянных построек, под одной из них проживает участник войны Савельев

Ефим Михайлович, который в больнице дожидается справки о том, что ранения он получил на войне. И наверное, под той крышей в новогоднюю ночь случилась у старика счастливая встреча с юной женщиной, которая десять лет назад девчонкой подарила себя немолодому мужчине. Иначе отчего он вспомнил о ней? Как же сложилась её судьба? Вряд ли счастливо...

К врачу Каретов зашёл минут через сорок. Светловолосая женщина его возраста, Тамара Викторовна, неторопливо просмотрела бумаги и снимки, которые ей отдал Владимир, предложила ему раздеться до пояса и лечь на кушетку, пощупала живот, легонько помяла бока, вернулась к столу, поспрашивала, какие у него бывают боли, спросила:

— У вас тут почему не все данные по результатам исследований?

— Может потому, что я «кишку» не до конца проглотил? Она у меня выскочила.

— Понятно. Ну, ладно. Вы знаете, я стараюсь не давать категорических рекомендаций. Люди разные, и при одном заболевании им необходимо, в определённой мере, разное лечение. Вам надо самому посмотреть, на какие продукты как ваш организм отвечает. Овощи полезны, но вы сами определитесь, после каких именно у вас кишечник работает нормально. То же — в отношении мяса, рыбы, мучных изделий. Утром натощак полезно сырой воды выпить, только надо с вечера поставить, чтобы она отстоялась. Капустный рассол полезно будет пить. В общем, последите за собой недельки две-три, а потом, если понадобится, приходите ко мне. Договорились?

— Вполне.

Владимир с третьего этажа прошёл на первый, намереваясь забрать у Ираиды Борисовны справку и, наконец, поговорить о Савельеве. В кабинете главного врача её не оказалось, но медсестра успокоила его, что главврач вернётся к пяти часам и не уйдёт раньше шести. Выписка в этот день казалась Владимиру реальной, и на радостях он по пути в свою палату заглянул к ветеранам.

— О, Володя! — обрадованно прогудел Афанасий Иннокентьевич. — Заходи, заходи! Мы тут чаёк заварили как раз, — он указал на стеклянную литровую банку, — смотри какой цвет — настоящий чай, а не подкрашенная водичка. Ну, как твои болячки?

— Нормально. Вот: хожу увольняюсь с этого парохода. Осталось справку для военкомата забрать.

— А-а, — засмеялся Афанасий Иннокентьевич, наливая чай в стаканы, — бежишь на берег, а то тут заштормило, да? Мы с Сергей Сергеевичем тоже на выписку настроились, но нас ещё подержат, наверное, для порядка. Садись сюда, пей. Вот булочки — наши старушки нас не забывают. А то печеньё бери.

— Что вы читаете?

— О! Интересная штука: письма дочки Сталина, Светланы. Читал?

— Нет.

— Ну, конечно. Это сейчас только стали такие материалы появляться, и то мне знакомый давал и боялся, чтобы я не заныкал. Видишь, она что пишет: отец держал детей строго, не баловал, денег не давал. И наследства не оставил. Не то, что нынешние царьки.

— Так вы остаётесь при своих убеждениях, что Сталин был хороший правитель? Как в песне: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт. С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идёт!»

Афанасий Иннокентьевич задумчиво отхлебнул из стакана, посмотрел куда-то сквозь замёрзшие стекла окна, вздохнул:

— Конечно, безгрешным его не назовёшь, но ведь и мы сами, простой народ, должны, независимо от того, какой у нас сегодня царь-государь, иметь честь и достоинство. Не сам ведь Сталин списки составлял и расстреливал — было кому. Я имею в виду не только сотрудников МГБ, НКВД, ГПУ и прочих. «Телеги»-то друг на друга соседи писали? Писали.

— Был такой анекдот, — вспомнил Владимир, услышав про «телеги». — Мужики сидят выпивают. Один говорит: «Ты, Петька, сидел? Сидел. Васька — сидел. И я сидел, а Ванька — нет!» Друзья возмутились: «Как так? Давайте напишем на него „телегу“, пусть тоже посидит». Написали. Посадили и Ваньку. Значит анекдот — не выдумка?

— Вот именно. Сосед на соседа. На работе — на начальника поклёп. Даже в армии. Вот я тебе расскажу случай. Кстати, и о песне. Когда меня ранило, и я лежал в госпитале, нас в палате девять человек было. Все после операций, поправляться начали потихоньку, молодые... Ну, делились новостями, если кто письмо из дома получит; от девушки знакомой строчки читали; кто ходячий и к медперсоналу тропку торить начал — тоже всем известно, все переживают за товарища. Ага. Вот: через койку от меня лежал один лейтенантик с ранением в живот. Удачно у него прошло, заштопали кишки ему, зашили шкуру — всё честь по чести. Потом ему, значит, бинты сняли. Скоро обратно в полк. Вот он нательную рубаху стянул, посмотрел какой у него сверху донизу извилистый розовый шов остался, лёг на спину, довольный, пальцем по шву провёл и спел: «Это Ленин нам дорожку проложил, это Сталин нам дорожку проложил...» Была такая песня, слышал?

— Нет.

— Была. Ну, спел, мы поулыбались. А утром просыпаемся — нет его! Спрашиваем у врача: «Где Сергей Ульянов?» Отвечает: «В другой госпиталь перевели».

Мороков потемнел лицом, замолчал, посмотрел на стакан с чаем, но пить не стал, вдруг глянул прямо в глаза Каретову:

— Представляешь, с какими чувствами потом лежали в палате?! Думаешь: кто-то же заложил — и нет человека! Может быть, сосед по койке, а может, тот, что к сестричке ходит? И знаешь, что у товарищей ты тоже на подозрении. И уже не разговариваем, не делимся новостями. Что ты! До чего мерзко я себя тогда чувствовал, хоть и не виноват, а всё равно. Еле выписки дождался. Думал: лучше под бомбёжку, скорее на передовую...

— А в гимне правильные слова были, — подал голос Сергей Сергеевич: — «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Так и было.

— Я вот думаю: если Ягода, Ежов и разные их помощники выполняли только волю Сталина, то почему же их тогда к стенке тоже? — Афанасий Иннокентьевич попил чая, пожевал булочку, не получив ответа, задал новый вопрос: — И почему Берия при Сталине уцелел? Тоже ведь хорош гусь был, каратель, перед самой войной лётчиков сажал, а в моральном плане, так и вовсе: на улице, говорят, женщин брали, которые ему понравятся, и — в автомобиль.

Каретов поднялся:

— Спасибо за чай, и вашим хозяйкам передайте от меня спасибо за вкусные булочки.

— Что мало сидел?

— Да надо как-то с новым главврачом поговорить, они нашего Савельева выставить хотят за самоволку.

— Седого? Да, дело неприятное. Они тут нацелились, как я понимаю, на ... как бы это сказать... — Мороков потёр пальцы искалеченной руки, — на новые формы работы. Ать-два и готово! Нет, менять, конечно, кое-что нужно. А то ведь и в больнице то же самое, что на производстве. Вот объясни мне, что такое «шире развернуть»? Не можешь? Я тоже не могу. Ну, в двадцатых годах это годилось, а теперь? Семьдесят лет Советской власти, а всё то же самое: «шире развернуть». Куда шире? Зачем писать всем социалистические обязательства? На заводе два рабочих соревнуются, кто больше деталей сделает и лучше — пусть пишут. А врачи? Что должны писать врачи? Не пить, не курить, на работу вовремя ходить? Это в Кодексе о труде для всех записано. Дисциплина должна быть. Или врач должен написать, что быстрее обслужит больного? А если он потом умрёт? А, ладно! Иди, Володя, а то мы, старики, болтать горазды.

Каретов ушёл, а Афанасий Иннокентьевич задумчиво посмотрел на своего соседа по палате, потом спросил:

— Сергей Сергеевич, а ты откуда знаешь, что первым в атаку подыматься страшно?

— Я был в Монголии.

— Это в тридцать восьмом, когда Жуков самураев разбил? А я понял, что ты не воевал.

— Нет, Жуков в тридцать девятом году, а я — да — в тридцать восьмом, у озера Хасан. Так получилось. Мы ездили по проверке, как снабжение доходит до армии, заодно и по политработе. Я там с солдатами беседовал в окопах, вдруг стрельба началась, а потом поступила команда: «Вперёд!» Чувствую, что все солдаты ждут, как поступит секретарь обкома. Одно дело — языком молотить, а пример подать — совсем другое. Понимаю, что надо мне первым вставать, а руки и ноги не слушаются. Там, конечно, всё быстро произошло, а мне показалось вечностью. Когда японцы стрелять начали, мы в окопы поспрыгивали, сидели перед тем на обратной стороне пригорка, а тут надо из окопчика вылезти, он небольшой был, всего по грудь, а не получается. Мне кто-то подсobil, за штаны и — вверх, и я на четвереньках выполз, потом заставил себя встать и выпрямиться. Конечно, стрельба не такая плотная была, как у вас, но переживание было сильное.

— Ага. Вот и я говорю, что положение обязывает. Есть в нас что-то сильнее смерти.

## Глава 12

Каретов снова сходил вниз, на первый этаж, но Ираида Борисовна ещё не появилась. Вернулся к себе в палату, понимая, что придётся, видимо, маяться здесь ещё одну ночь. Савельев, к его удивлению, сидел на кровати с ногами, по-казахски. Увидев Владимира, старик улыбнулся своей застенчивой улыбкой, кивнул на стул:

— Посиди.

«Неужто помиловали?» — мелькнула у Каретова мысль. Он присел на стул, бросил взгляд по комнате: Кадочкина, по обыкновению, не было, а Фиалко дремал на кровати — тоже вполне обычно. Вместо Романа никого пока не поселили.



Владимир посмотрел выжидающе на Савельева, что, мол, хотел сказать? Старик однако успел уйти в себя, неожиданная улыбка исчезла, смотрел он куда-то в угол и молчал. Так они сидели в тишине минуты две-три, а затем Савельев сказал без предисловий:

— Я Серёжке к школе форму купил.

— Какому Серёжке?

— Сынишка у меня есть, Серёжка, — улыбка опять тронула его губу. — Во второй класс уже ходит.

Новый поворот озадачил Каретова, он не сразу сообразил, откуда у Ефима Михайловича мог взяться сын.

— Дэ ты его сковал? — Фиалко приподнялся на постели.

Улыбка с лица Савельева пропала, но глаза довольно светились.

— Она ведь забеременела потом, — он обращался только к Владимиру, словно бы Фиалко был пустое место. — Ну, мне ничего не говорила, пока я сам не заметил, что она поправляться стала и у неё живот большой. Я её спросил: «Мать знает?» Она говорит: «Заметила». Я спрашиваю: «Не била?» — «Нет, — говорит. — Только спросила, кто сделал? Я не сказала». Ну, пошёл я к ней, к матери. Говорю: «Виноват. Если хочешь — отдай меня под суд. Пусть посадят».

— Сколько ей лет было? — не удержался от вопроса Каретов. — Что же вы не предохра..., не позаботились?

— Ну, я же говорил: пятнадцати ей ещё не было, когда родила. А у меня как-то из головы выпало.

Фиалко ёрзал на койке от любопытства и от досады, что самое интересное, начало этой истории, он пропустил.

— А матери сколько лет было?

Савельев пошевелил губой:

— Сейчас ей сорок четыре. Тогда — тридцать пять, наверное. Или тридцать четыре?

— А мужа у неё нет?

— Она с ним не регистрировалась. Он узбек был, уехал домой, звал её — она не поехала.

— И что она сказала?

— Ничего. Я потом Галинке говорю: «Хорошая у тебя мать». Она мне отвечает: «Я знаю». Ну, посидели мы втроём, я бутылку вина хорошего принёс, выпили. Она никому не стала про меня рассказывать, чтобы меня не посадили, — он вздохнул: — Галинка красивая. Я ей говорил несколько раз: «Что замуж не выходишь? Выходи замуж». А она отвечает: «Зачем? Если мне надо, приду к тебе — перепихнёмся».

Савельев постеснялся сказать, что в другой раз Галинка говорила ему несколько иначе: «Я люблю тебя, Ефим, и никто другой мне не нужен».

— Ото ласковая... — начал было встречать Фиалко.

— Она чем... она где работает? — спросил Каретов, боясь услышать, что женщина не работает, и следовательно, пошла по рукам...

— Она бухгалтер.

— Бухгалтером?! Каким образом? Она училась где-нибудь?

— Она закончила техникум.

— С ребёнком?!

— Ну, — довольная улыбка опять тронула его губу, — она умная. Мать, конечно, помогала водиться.



— Да-а, Ефим Михайлович, удивили! А вы-то ей помогаете?

— Ну. Костюмчик вот к школе купил, — в голосе его слышалась горделивая нотка.

А что? Не получать пенсии, жить на одну зарплату дворника и ещё что-то купить... Значит не врал старик, когда утверждал, что много не пьёт.

— Мальчишка знает, что вы его отец?

Савельев помолчал, что-то обдумывая, потом сказал:

— Теперь знает, наверное. Ему сказали в позапрошлом году. Если не забыл.

— А как он вас называет? Папой?

— Нет. «Дядя Ефим». Галинка меня так зовёт, и он так привык. Они все трое меня так называют.

— Ото правильно, — влез не без ехидства в разговор Фиалко. — Всем дядя. Дядя добрый, костюм купыв.

— Да, купил, — отозвался на этот раз на реплику Савельев, — как раз по росту. Он в нём ходит в школу, а дома снимает.

Однако в голосе Савельева, вместе с раздражением на Фиалко, слышится и тоскливая нота, недовольство самим собой, за то, что беден и не может дать сыну и жене того, что должен был бы обеспечить настоящий муж и отец.

— Мальчишка на её фамилию записан?

— Да. Серёжа Урмаев.

— Как — Урмаев? Откуда у неё такая фамилия?

— Она Урмаева. Галя.

— Так вы же сказали, что мать её не регистрировалась, когда жила с узбеком!

— Да? — с удивлением сказал Савельев. Подумал: — Она, может быть, Галю на мужнину фамилию записала? Я не спрашивал.

Они помолчали некоторое время, потом Ефим Михайлович, как обычно, результат своих размышлений выразил вслух:

— Не женился, думал, что живу вольной птицей. Оказалось — клетка.

Ещё помолчал и добавил, просветлев лицом, но с такой пронзительной грустью и нежностью, что даже у непробиваемого Фиалко не хватило духу что-либо сказать:

— Во сне её вижу. Уже который день...

Каретов внутренне ахнул: ему вдруг вспомнилось, что и он перед пробуждением утром видел во сне диво-дивное. На лесную полянку вышла из крохотного озера не русалка, а сестричка Оля — во всей своей ослепительной красоте...

Савельев спустил ноги с кровати, надел шлёпанцы и пошёл в туалет. Каретов понял, что вот и определилась та точка отсчёта, которая всё ставит на своё место: он сейчас пойдёт к Ираиде Борисовне и разъяснит ей, что выгонять из больницы без документов инвалида войны — преступление! И Владимир быстро пошёл по коридору, сбежал по лестнице на первый этаж, чуть не сбив по пути Таню с ног. Она только укоризненно посмотрела ему вслед. Но главврач ещё не вернулась. Он помаялся минут десять возле двери её кабинета, но беспокойство в душе требовало каких-то действий. И Владимир опять помчался на второй этаж. На лестнице они снова чуть не столкнулись с Таней, на этот раз она заступила ему дорогу.

— Больные почему так носятся? — укорила она с улыбкой. — Сделайте доброе дело, а?

— Какое?

— Некому с Людой за ужином сходить. Пожалуйста, это недолго, а я вам главврача придержу.

— Договорились, — Каретов только теперь обратил внимание на рослую медсестру, которая шла следом за Таней и остановилась позади её. — Я готов!

— Пойдёмте, я халат вам дам, — сказала Таня.

— Да я не замёрзну, — Владимир хотел всё-таки неожиданное дело спроводить побыстрее. Кухня была во дворе, всего лишь в десяти шагах от их корпуса.

— Нет, — улыбнулась теперь уже Людмила, — вас без халата туда не запустят.

— А-а, конечно! Давайте ваш халат.

От двери больничного корпуса до двери кухни дорожка была посыпана песком, очевидно для того, чтобы те, кто несёт пищу, не поскользнулись. Людмила шла впереди, а Каретов, глядя на её упругие движения, которые не скрывал белый халат, тихо вздыхал и думал огорчённо, что за время боления он тут совсем испортился, неравнодушен стал ко всем юбкам.

За дверью, которую за ними прикрывала специально поставленная здесь женщина, их сразу встретила ещё одна. Они с Людмилой взяли по бумажке — накладные или меню, догадался Каретов — и пошли вдоль коридора, заглядывая — со своей стороны — в огромные амбразуры. Через пять минут Каретов держал, прижимая к себе одной рукой, поднос, на котором отдельными небольшими порциями лежала варёная курятинка, для диетиков, в другой руке было ведро с гречкой. Людмила взяла небольшую кастрюльку с картофельным гарниром и, отдельно, подлив. Женщина тоже несла что-то в бачке.

Таня поджидала его у кухни. Она сообщила, то главврач позвонила и сказала, что сегодня её здесь не будет.

— Да и ужин на вас сегодня уже получили, — и добавила с лукавой улыбкой. — Ночуйте, сегодня Оля будет дежурить.

От изумления он раскрыл рот, но не нашёлся, что сказать.

## Глава 13

Каретов пришёл в свою палату в расстроенных чувствах, сел на кровать, глядя безучастно на то, как Фиалко одевается, чтобы по сигналу не опоздать первым в столовую.

Кадочкин поделился своей радостью:

— Знаешь, я ведь не курил в этом году! Перед двенадцатью часами сказал, что бросаю курить, зобнул напоследок два раза, и — шабаш! — Владимир промолчал, и Александр продолжил с энтузиазмом: — А сегодня Андреевна сказала мне, что хрипов не стало! Чувствуешь? Я тоже скоро отсюда отвалю!

— Да? — настроение Каретова вдруг резко переменилось. Он засмеялся: — Молодец! А я почему должен торчать здесь до утра?

Мысленно добавил: «И почему должен облизываться, глядя на медичек, когда меня дома отличная женщина ждёт?!» Он вскочил, прошёл к шкафу, вынул из него пиджак и брюки, стал быстро переодеваться. «Ждёт?»

— Ба-а! — сообразил Кадочкин. — Точно: ты же можешь идти ночевать домой! Справки никуда не убегут.

— До завтра! — победно подняв кулак, Владимир выскочил в коридор.

Он успел. Заглянул в ординаторскую, кивнул Елене Андреевне — она вышла быстро, увидев его возбуждённое лицо. Он сказал:

— Я пойду домой!

— Конечно, — сразу согласилась она, — приходите утром.

— Спасибо, — негромко произнёс Владимир и добавил с чувством: — За всё спасибо!

— Не за что, — ответила она и засмушалась.

— А я думала, что ты уже не придёшь, — обрадовалась его появлению Антонина.

— А я пришёл проверить, с кем ты без меня время проводишь! — засмеялся Владимир. — Ну-ка, посмотрим, посмотрим.

— Проверь. Это ещё надо поглядеть, кого следует проверять. Устроился здоровый мужик среди больных, а для чего? Охмурыл, наверное, сестричек?

— Вот чёрт! Охмурыл, — Каретов почесал макушку и вдруг рывком притянул жену к себе, крепко поцеловал.

— Не балуй! — сказала Антонина, когда он дал ей возможность вздохнуть. — И не шуми: ребёнок спит.

— Спи-ит? Такую рань?

— Нагулялся за праздники, как мартовский кот — пусть выспится. А чего это ты вдруг меня подозревать вздумал? Если сам проштрафился, то сознавайся честно, не то останешься без ужина.

— Без ужина — это ничего, — усмехнулся Владимир. — У нас там, в больнице, одна молодая пыталась отравиться. Домой сбегала и застала мужа с подругой. Вот и я с проверкой.

— Живая осталась?

— Живучая.

— Пошли на кухню, я тебя буду травить, чтобы ты дурью не мучился.

Владимир обнял Тоню, приклонил к ней голову, сказал мечтательно:

— Ах, как хорошо иметь такую сладкую и такую верную отраву!

Утром, после десяти часов, когда обход уже закончился, Каретов пришёл в больницу и зашёл сразу к главврачу. Добрейший Пётр Иванович, разумеется, отсутствовал, будто его однажды унесла неведомая лихая сила. Новая главврач оказалась на месте, увидев Владимира, протянула без слов бюллетень и справку для военкомата и уткнулась в какие-то документы.

— Ираида Борисовна, — сказал Каретов, — можно, я вас попрошу за ветерана.

— Савельева хотите защищать? — спросила она, не отрываясь от чтения.

— Да. Нельзя его наказывать. Инвалид войны останется без пенсии, а у него ребёнок ещё только во второй класс ходит. Вы уж, пожалуйста, зачтите мою просьбу, как бы от народа, который выражает благодарность участнику войны.

Она подняла голову, посмотрела на него внимательно, выдержала паузу, потом сказала:

— У меня уже есть мнение большого народа по этому поводу. Вот, — Ираида Борисовна приподняла край толстого стекла, лежавшего на столе, выудила оттуда за уголок лист бумаги, аккуратно вырванный кем-то из школьной тетради, по которому изумительно ровными, каллиграфически точными буквами, были написаны слова и строчки «народного мнения», — тоже ветеран, участник войны пишет о безобразном поведении Савельева, о том, что тот где-то шлялся трое суток, а потом явился пьяный в палату.

— Фиалко?!

— Неважно, кто. Но главное не это, а то, что ваш ветеран уже ушёл из больницы — вообще без документов и, разумеется, без разрешения. Мы за ним бегать не будем.

— Ушёл? Как ушёл?!

Она развела руками, давая понять, что добавить ей нечего, и разговор окончен.

Владимир вышел к лестнице, ведущей на второй этаж. Душа кипела: «Ах, гад откормленный! Что же ты наделал, подлая твоя душонка?» Он уж начал было растёгивать пуговицы пальто, чтобы раздеться и пройти в палату, но глянул на ноги: не в сапогах же идти — остановят. Да и что он будет делать с Фиалко? Бить? Тьфу! И тут ему пришла в голову замечательная идея: на самого Фиалко надо написать в коллектив, где он работает — вот будет ему встряска, если он так верит в силу клеязных бумаг! А ещё страшнее ему, наверное, будет разоблачение его подлых делишек перед знакомыми!

Станным образом, Фиалко в ту минуту думал о том же. Он понимал, что его жалоба на Савельева главврачу не осталась тайной для медсестёр, а те сообщили о записке больным, в том числе Каретову. Каретов же явно сочувствовал этому пьянице и анархисту. Что как он, грамотный мужик, напишет докладную на Фиалко?! Алексея Федотовича вначале бросило в пот, когда он представил, как его вызовет некто и начнёт выяснять, почему он так нехорошо поступил с ветераном, участником войны. Но потом он решил, что бояться нечего: анкета у него чистая, а время теперь другое — не привлекут. Далее поразмыслив, Фиалко пришёл к выводу, что Каретов писать на него не станет. Он знал по опыту, что такие люди опасны, если их довести до крайности, тогда в ярости они и себя не жалеют, готовы грудью на пулемёт, но они остывают быстро. Успокоятся и становятся мягкими и добрыми, бери их голыми руками.

И верно: другая мысль пришла в голову Каретову: а если не Фиалко написал «телегу», а кто-то другой, кому Савельев, возможно, в подпитии что-нибудь неприятное сказал? Ефим Михайлович способен отмочить штуку, сам рассказывал.

Каретов вздохнул, развернулся к выходу, и столкнулся с Таней.

— Я хотела вам сообщить, — она смотрела виновато, — что Савельев сбежал, когда узнал, какую ему приготовили справку.

— Да, да, — меланхолично ответил он, — я уже в курсе.

И ушёл не попрощавшись.

## Глава 14

Наступила оттепель. После тридцатиградусных морозов температура воздуха поднялась до минус трёх, снег стал мягким, а на солнечной стороне крыш, крытых жёстью, он начал подтаивать. На карнизах появились ледяные сосульки, выросли до опасных размеров, некоторые уже сорвались на тротуар и хрустальными осколками хрустели под ногами пешеходов.

На работу Каретов пятого января не пошёл, бюллетень у него был закрыт этим днём. Придя из больницы домой, он, не раздеваясь, прошёл в комнату, сел за стол и задумался. История с Савельевым взбудоражила его; чувство досады, какой-то неудовлетворённости, недовольства собой — всё это требовало осмысления и, в определённой степени, доказательств собственной невиновности и непричастности к репрессиям, которым подвергся старик.

Конечно, думал Владимир, и в его присутствии, и не будь его в больнице вовсе, с Савельевым поступили бы в точности так, как и случилось. Непричастен. Но вот что странно: если внимательно посмотреть на свою жизнь, которая отсчитывает

пятый десяток — возраст зрелости, когда человек государством может управлять, то обнаружишь, что ты вообще ни к чему не причастен — точно так же, как и все твои близкие, друзья и знакомые. Но кто-то же вершит судьбы людские, невзирая на законы, на мораль и прочие высокие нравственные категории. Кто? И как получилось, что все люди — просто пассивный материал для чьих-то интрижек и, возможно, нечистых дел? Куда катится наша общая жизнь?

Взгляд его упал на стопку газет, которые накопились за время его отсутствия. Он снял шапку, положил её на стол, взял первую попавшую под руку газету, будто в ней могли быть ответы на его вопросы. Областная «Правда» накануне нового года сама спрашивала, до каких же пор народ будет страдать, даваясь в очередях за водкой? И — фото огромной толпы на фоне серого здания, в котором размещался специализированный магазин по торговле спиртным.

И вдруг на переднем плане — знакомое лицо! Ба! Да это же известный писатель, а рядом с ним стоит, озираясь кругом, приезжий, не менее известный литератор.

Как они тут оказались? Они же трезвенники. Более того, они выступали со статьями в прессе за введение мер по ограничению продажи спиртного — ещё до указа. В телогрейке, в кирзовых сапогах, как бич. Не его фигура... А-а, подделка! Монтаж! Вклеили головы писателей вместо чьих-то похмельных голов. Но это же оскорбление! Зачем? Кому это нужно?

Хлопнула входная дверь, Тоня пришла на обед. Разделась в одну минуту, прошла на кухню, включила электроплиту, чтобы подогреть суп, воткнула штепсель чайника в розетку, выставила на стол хлеб и масло и вышла в комнату.

— О! Ты дома? Почему сидишь, как в гостях, в шубе? Обедать будешь, или собрался куда?

— А фиг его знает. Сижу, думаю. Сытые мы, обленились, на мозгах сало, наверное,росло.

Антонина подошла, пощупала у мужа лоб:

— Сытые? Ты перегрелся, что ли?

Владимир засмеялся:

— Ну, пришла юла, завертелось динамо, — он встал, вышел в прихожую, снял пальто. — Давай будем обедать. Ты вот эту гадость видела?

— Газету? Нет. Было мне когда смотреть. А что там?

— Писателей уделали: вмонтировали в очередь с алкашами.

— Зачем?

— Вот и я думаю: зачем?

На жестяной подоконник со стороны улицы вдруг сел белый голубь, наклоня голову то в одну, то в другую сторону, смотрел попеременно красными бусинками глаз в квартиру.

Супруги от удивления прекратили есть.

— Это что-то новое, — сказала Антонина, — тут они никогда не садились, тем более — не заглядывали в дом.

— Значит какую-то весть принёс. И вообще: мы птичек забыли.

Владимир достал из холодильника кусок сала, отрезал ломтик и пошёл в комнату, где был выход на балкон. Открыл дверь, крикнул:

— Эх, как тут запуржило всё.

Голубь испугался шума и улетел.

Владимир вернулся на кухню, взял веник, смёл снег с порожка, из-под ног, с перил, с ящика, в котором хранилось мясо, квашеная капуста, варенье и другие за-

пасы продуктов. Сало на ниточке привязал к балконной решётке, так, чтобы можно было из окна наблюдать за синицами, главными едоками зимнего угощения.

— Вот теперь порядок.

— Ну, мне пора бежать, — сказала Антонина, и в это время стукнула входная дверь, пришёл сын. — Толика покорми.

— Да? Явился, блудный сын? Целый год родителя не видел, и хоть бы хны!

— Привет, пап! Мы же вместе с тобой сегодня дома ночевали, ты забыл?

— Я пришёл — ты спал, я уходил — ты всё ещё спал. Сутки, наверное, дрых, и гидробудильник в туалет тебя не поднял?

— Нет, меньше. И я вставал аж два раза. Можешь посмотреть, постель сухая.

— Оправдался. Я — пас, — Каретов поднял руки. — Ты женился, что ли? Ну, если в постель уже не писаешься, тогда давай нас знакомь с невестой, оформляй брак, как положено, отметим, наконец, это дело.

— Зачем? Нам и так хорошо, — Толик налил в тарелку супа, отрезал ломоть хлеба, начал есть.

— Не думаю. У женщины в крови сидит желание быть хозяйкой в доме, где есть муж, дети и всё прочее. Кстати, как её зовут?

— Инна. У неё не сидит. Давай не будем об этом. Как твоё здоровье?

— В порядке. А твои зачёты как?

— В общем-то нормально. Только к чему вся эта наука?

— То есть?

— Эдисон, говорят, не учился, а жил неплохо. Чтоб мы так жили.

— Да? А не говорят, что он самостоятельно учился? И работал, как вол. Чтоб мы так учились и работали!

— С тобой не соскучишься. На Западе, между прочим, все умеют работать, поэтому и живут лучше нас.

— Не видел, не знаю. Но знаю, что не все там работают, есть безработные. Где люди не работают, там воруют и грабят. Поэтому там и преступность в десять раз выше, чем у нас.

— А-а! Сказанул: в десять! Пропаганда. Там им пособие по безработице платят больше, чем твоя зарплата. Я с удовольствием в безработные пошёл бы. Поезди бы по стране, посмотрел.

— Наверное, не всю жизнь платят, а определённое время. И я думаю, что там и расходы больше, чем у нас. Лишнего не дадут. А насчёт удовольствия быть без работы... Мой дед, твой прадед, рассказывал: не дай Бог! Дед плакал, когда вспоминал. Учись, пока есть возможность, и пока котелок варит. С возрастом учиться становится труднее, да и неизвестно, куда эта перестройка приведёт. Не зря нам мозги пудрят насчёт забугорного рая. Учись!

Каретов распалился, и сын, чтобы снять напряжение, перестал спорить, буркнул только:

— А я что? Учусь.

## Глава 15

На следующий день на работе, проходя мимо курильщиков, Каретов услышал фразу, которая заставила его остановиться:

— Советская власть кончилась.



Сказал это Соколов, коренастый мужчина лет пятидесяти. В молодости он летал на вертолёте, с возрастом, после того, как его списали, устроился на работу снабженцем, что, при его пробивном характере, было находкой для предприятия.

— Советская власть, — глубокомысленно произнёс, выпустив дым струйкой, коллега Каретова по проектному Бурыкин, главный философ курилки, — никогда и не властвовала. У нас верховная власть принадлежит партии.

— А, — махнул рукой Соколов, — партия тоже... Я расскажу вам, как я летом мыло искал.

— С этим мылом меня в прошлом году жена заколебала, — вздохнул ещё один заядлый курильщик, Пешкин, дожидавшийся момента, когда можно будет «стрельнуть» у кого-нибудь сигарету, — а теперь его — завались! Зато курева днём с огнём не найдёшь.

— Ну вот, — продолжал Соколов, — стал я искать мыло, меня директор пионерлагеря попросила. Для начала проехал на машине по магазинам, убедился, что у них мыла нет.

— С заднего хода, для своих, всегда есть, — сказал Бурыкин.

Соколов глянул на него снисходительно и даже не удостоил ответом.

— Я тогда на склады мыловаренного завода — нету. У них тогда остановка какая-то была. Но там мне знакомый подсказал, что на складах в соседнем городе мыла — как грязи. Ну, думаю, торгаши вечно крутят, организуют дефицит, на этом и живут. Поехал туда. Там у меня приятель работает. Он повздыхал, потом говорит: «Пошли, покажу». Открыл мне склад, а там ящики с мылом — до самого потолка, только что в дверь не вываливаются! И проходы все забиты. Я ему говорю: «Дай мне хотя бы один ящик, детишки в лагере чумазые ходят». А он отвечает: «Меня с работы в два счёта вышвырнут. Привези бумажку из облизполкома, тогда дам, хоть машину, хоть вагон. Вон в том углу от времени мыло крошиться начало, а — нельзя!»

— В каком городе? Местный предисполкома не мог распорядиться? — усомнился Бурыкин.

Соколов не ответил и на этот наивный вопрос.

— Приезжаю в облизполком, нашёл зама по торговле, мы с ним как-то в санатории вместе отдыхали, коньячок пили и к бабам ходили, зажал его в кабинете — а секретарше перед тем коробку конфет дал и приказал никого не впускать — зажал и говорю: «Вот армянский коньяк, пять звёздочек, давай закусон». Он выглянул к своей секретарше, сказал ей, что его нет. Рюмочки достал, конфеты, выпили пару раз, спрашивает: «Что надо?» — «Два ящика мыла, — отвечаю, — для пионерлагеря. Ящик хозяйственного и ящик туалетного». Он начал мне дуру гнать, что мыла нет. Ну, я ему посмотрел в глаза, говорю: «Ты меня почему не уважаешь? Мыло я своими глазами видел». И тогда он мне признался, что без разрешения самого никто куска не даст. «Ладно, идём к самому», — я предлагаю.

— С двух напёрстков ты такой храбрый стал? — удивился Каретов.

— Меня и без коньяка заусило. Ну, он ещё одну рюмочку приголубил, подумал-подумал и говорит: «Посиди здесь». Ходил минут двадцать. Приходит и сообщает: «Разговаривал с помощником. Запрещено». «Кем запрещено?» — спрашиваю. «Москва запретила!» — Соколов протянул окурок Пешкину и резюмировал: — Вот почему я говорю, что Советская власть кончилась: московские торгаши всей страной управляют.

— Так и не купил мыла? — не поверил Каретов.



Соколов усмехнулся:

— Достал. Директриса в лагере меня целовала.

Перед концом рабочего времени Каретов сказал начальнику отдела, что ему надо завтра отнести справку из больницы в медицинскую комиссию военкомата. Тот посмотрел на Владимира с некоторым удивлением и ответил как-то странно:

— Дело твоё: надо — иди.

Седьмого января, в среду утром, жена удивила Каретова тем, что, поднявшись ни свет, ни заря, подалась к какой-то подруге, чтобы идти с ней... в церковь, а не на работу, ему ничего толком не объяснив. Владимиру спешить было некуда, врач вряд ли в призывном пункте появится раньше девяти часов. Он поспал до восьми, потом встал, нашёл в углу гантели, которые купил когда-то сын, немного поупражнялся, принял душ, позавтракал и отправился сдавать справку.

Выйдя из подъезда, он посмотрел на свой балкон, увидел, что сало синицы уже обнаружили и поклевали, но сейчас их не было. Зато белый голубь, который заглядывал в окно его квартиры позавчера, сидел здесь опять, только на другом подоконнике. Владимир подумал, что птица, возможно, больна и потому ищет у людей помощи. Но голубь вспорхнул и полетел вдоль дома над деревьями. И навёл взгляд Владимира на стайку рыжеватых птиц с красными кончиками на крыльях и с хохолками на головках. Дички яблонь, высаженных жильцами при заселении дома, давно выросли, давали обильный урожай, и теперь красными ягодами лакомились свиристели. Их совершенно не беспокоило присутствие людей, они кормились без суеты, тихо и благопристойно. Владимир полюбовался этой живой картиной и оторвался от созерцания её с некоторым сожалением. Отправился по делам умиротворённый.

Настроение у Каретова не испортилось и тогда, когда он вышел на центральную улицу, с её спешкой и суетой. Хотя теперь ему не бывать не только генералом, но и майорского звания не видать. Ему-то хорошо известно, что его документы в военкомате отложили в отдельный ящик, а коли ты выпал из общих списков, то никто потом уже не станет вдаваться в тонкости — отчего и почему? Так что на сборы его привлекать больше не будут, что, в общем, неплохо.

По дороге, от нечего делать, он решил заглянуть в некоторые магазины и прошёлся по центральной улице почти до конца её, до пересечения с улицей Ленина. Промтоварные магазины ломались от всякой всячины, радовали глаз разнообразием тканей всех цветов и фасонов. Рука так и просилась в карман за деньгами, чтобы купить, например, голубой полупрозрачный шёлк для своей Антонины. Останавливало только то, что она уже выговаривала ему однажды за такие покупки:

— Мне до смерти не перешить того, что есть. Потом: шёлк очень трудно обрабатывать на машинке — края секутся. Да и носить его не будешь, это же не Крым, а Сибирь.

Уютный магазинчик под нежным названием «Ландыш» поразил Каретова тем, что был буквально завален коврами, совсем недавно дефицитным товаром, на который записывались в очередь за год и по особым спискам — для участников войны, для ветеранов труда или инвалидов. Некоторые небольшие коврики, если приглядеться, были явно вырезаны из прежде большого ковра. Видимо, лежали припрятанные на складах, как и мыло, о котором рассказывал Соколов, до тех пор, пока их моль не подъела.

В новом книжном магазине, что занимал первый этаж дома, выстроенного для обкомовских работников, Владимир обратил внимание на скромное объявление

о том, что в Ангарске свободно продаются для населения легковые автомобили «Жигули»!

— Ага, — сказал вполголоса Владимир, торжествуя, какому-то неизвестному оппоненту, — у вас не только ковры завалялись, но и машины тоже! Скоро вы придёте ко мне домой и скажете: «Уважаемый товарищ Каретов, вы почему с такой фамилией ходите пешком? Купите, пожалуйста, за свою цену, без накрутки, любого цвета. Может быть, вам хочется на «Волге» ездить?»

А что? Денег на сберкнижке хватит и на «Волгу». Только на дачу ездить лучше на «Ниве», у неё посадка выше, на кочках и рытвинах карданом землю не цепляет. Он улыбнулся своим мыслям, представив себя за рулём и сидящую рядом довольную жену.

Каретов прошёл мимо «самосвала», огромного спортивного зала рядом со стадионом, на перекрёстке остановился, пережидая поток транспорта. За перекрёстком, на взгорке, стояла та самая церковь, которую он особым образом увидел в конце минувшего года. Владимир посмотрел на верх колокольни, на пронзительно голубое, как шёлк, небо над ним, и в этот момент, будто отвечая на его молчаливый вопрос, ударил колокол:

— Бом-м!

Густой голос его легко перекрыл шум улицы, колыхнул людские сердца и поплыл дальше. Большой колокол ударил ещё, и вслед за ним, как и в тот раз, запели-зазвенели колокольчики.

Опять звонят. В чём дело? Каретов беспомощно посмотрел по сторонам и вдруг натолкнулся на радостный взгляд небольшой согбенной старушонки, которая тоже собиралась перейти улицу. Она, вероятно, и шла в церковь. Глаза у неё голубые, по-детски чистые, восторженные, в них светятся любовь и счастье и желание поделиться с окружающими этим счастьем.

Каретов сразу вспомнил, что однажды уже встречал эту старушку. Было это прошлой весной, кажется, в конце мая. Земля уже оттаяла для всего живого, а ночью выпал обильный снег, который белым пуховиком лежал на газонах, на ветвях деревьев и на асфальте. Владимир торопился на работу, хлюпая снежной кашцей, и вдруг увидел впереди старушку, которая словно ждала кого-то. Она стояла на солнечной стороне от дома, здесь на тротуаре снег уже почти весь растаял, от влажного асфальта едва заметно струился парок. Старушка взглянула себе под ноги и сразу же подняла голову встречу идущему. Владимир замедлил шаг и невольно посмотрел туда, куда взглядом приглашала его посмотреть она, но ничего особенного не увидел, кроме грязно-сырого асфальта и небольшого подсохшего пятка, на котором лежал огромный наполовину растоптанный дождевой червь.

— Червяк-от выполз жить, — торопясь, с сожалением сказала старушка, — а снег на него напал.

Так и сказала: «напал», будто бы и снег для неё был тоже одухотворённым. И было горе в выражении её лица, изумление перед фатальной несправедливостью судьбы и огромная благодарность Каретову за то, что он её выслушал.

— Вы, бабуся, верующая? — спросил теперь Каретов.

— Верующая, — она смотрела на него с хитрецей, — для порядка.

— Хм, — Владимир не понял. — А вы знаете, почему звонят?

— Так Рождество, батюшка, Рождество-о, — и вся она прямо-таки лучилась счастьем.

Так вот почему так странно вчера смотрел на него начальник отдела, когда Владимир сказал ему, что пойдёт сегодня со справкой, и вот почему жена пошла в церковь, а не на работу: день-то разрешили сделать нерабочим!

— Рождество, батюшка, — радостно повторила старушка, поспешая рядом с Каретовым через улицу, — Рождество-о!

Владимир вспомнил белого голубя на своём окне: уж не с этой ли вестью прилетала птица?

— Рождество-о, — на прощание сказала Каретову бабуся, проникая в самую душу его синью глаз.

— Бом-м-м-м! — подтвердил колокол, и радостным перезвоном ему вторили колокольчики.

Казалось, что не только над этим холмом, над этой улицей, но и над всем городом, над всей страной извечно плывёт этот звон, одновременно торжественный и печальный. Только мы его не всегда слышим.

### Часть III. Вместо эпилога

#### Глава 1

Спустя год Каретова выбрали в жилищную комиссию местного комитета, где он занимался нервной и самой неблагодарной работой: утрясал списки сотрудников предприятия на заселение нового дома. Работа эта отнимала у него не только часть производственного времени, но и вынуждала сидеть над бумагами по вечерам.

В первых числах марта ему надо было пойти в райисполком, где готовились ордера, и там возникли какие-то вопросы к представленным документам. Дни стояли настолько тёплые, что снег таял, как весной, кое-где земля обнажилась. Антонина переживала, что на даче все кусты и клубника вымерзнут, когда снова ударят морозы. А пока на работу ходили в лёгких весенних плащах. И в исполком Каретов отправился налегке.

Проходя мимо автобусной остановки, он увидел, что людей не так много, а тут как раз подкатил попутный маршрут, и Владимир сел в него, чтобы проехать одну остановку. Он не стал проходить в салон, устроился напротив двери. И вдруг почувствовал, что сзади на него слегка напирает тугой грудью женщина. Он насторожился: хоть у дверей всегда толчея, но не было настолько тесно, чтобы стоять так плотно. Она же постепенно прикинула к нему всем телом, от груди до колен. На своей остановке Владимир вышел, чуть отошёл и обернулся. Следом за ним вышла и любительница интересных ощущений. Лет ей было чуть за двадцать, на вопрошающий взгляд Владимира она ответила коротким прямым взглядом и полуотвернулась. Напустив на лицо маску безразличия, стояла, будто ждала чего-то. Одета неброско, и нельзя было понять, предлагает ли она себя, чтобы заработать, или истомлённая душа её запросила мужской ласки, а тут попался подходящий, на её взгляд, объект. О том, что в городе всё больше становится проституток, Каретов слышал, но столкнулся впервые. Чувство любопытства и, одновременно, жалости притягивало к ней, но Владимир понимал, что она может принять его за любителя похотливых наслаждений, и он к ней не подошёл.

В исполкоме Каретов быстро устранил недоразумение, возникшее по поводу документов одного из работников, и попросил у сотрудницы, несколько неожиданно для себя, списки очередников участников войны. Она посмотрела на него

насторожённо, со скрытой неприязнью, однако вопросов не задала, нашла затёртую амбарную книгу на полке и протянула ему.

Номера очередей в списке постоянно менялись, и работницы здесь поступали просто: зачёркивали старый и карандашом проставляли новый. Видно было, как движется очередь. Перед фамилией Савельева, после всех зачёркиваний, стояло число восемьдесят. А в конце строки сделана пометка: «Умер в 1987 году».

Тоскливое предчувствие Каретова оправдалось. Савельев собирался дожить до восьмидесяти лет, а фатальным образом дожил до восьмидесятой очереди в списках на получение квартиры.

Владимир выписал себе в записную книжку адрес Ефима Михайловича и, махнув рукой на работу, на все неотложные дела, отправился искать дом, где жил старик. Улицу он нашёл скоро и место, где должен быть дом, тоже. Но тут у него возникли сомнения, потому что номеров на домах, как и во всех других частях города, не было, а такого дома, какой сложился в его представлении по рассказам Савельева, не оказалось и в помине. Тогда он решил обратиться в проходную, в небольшую будку возле косых ворот, сваренных из железных прутьев, через которые, очевидно, давно никто не ездил. В глубине охраняемой территории ничего, кроме двух старых деревянных домов, не наблюдалось.

— Тридцать восьмой дом? — спросил пасмурный, недовольный тем, что его потревожили, неопределённого возраста мужчина. Он нахмурило свой и без того невысокий морщинистый лоб, пытаясь вспомнить, потом посоветовал: — Вы спросите вон в той избе, у бабы Вали. Она тут давно живёт, всех знает.

Каретов вышел из будки, посмотрел на указанную избу и с большим сомнением постучал в дверь кривой завалюхи с полуотвалившимися ставнями. Вторую такую, в радиусе километра, вряд ли можно было отыскать. Подумал: сколько сносят в городе старых и ещё добротных домов, а эти «хоромы» времён царя Гороха, слепленные неизвестно из какого материала, обмазанные глиной, стоят. Справедливости ради, он должен был признать, что ближайшие дома ненамного лучше. Из-за двери до слуха его дошёл какой-то шум, и Каретов толкнул дверь, приняв шум за приглашение. Однако хозяйка, женщина лет под шестьдесят, гоняла по избе нашкодившего кота, стука в дверь она даже не слышала. С веником в руке «баба Валя» остановилась посреди избы и уставилась на неожиданного гостя. В комнате пахло квашеной капустой и какой-то псиной.

— Тридцать восьмой дом? — переспросила она. — А кого вам надоть?

— Савельева. Ефима Михайловича.

— Ефима-то? Знала я его забулдыгу. Дак он умер.

— Когда?

— В прошлом году. Аккурат на Рождество.

— А что — такой уж он был пьяница? — спросил удручённый Каретов.

— Ну-у, — она прислонила веник к печке, пригласила его: — Да вы присядьте.

Он кто вам был?

— Никто. Мы с ним в больнице вместе лежали, как раз на Новый год.

— А-а. Я почто его ругнула: он ведь каку холеру отчебучил: взял да напился синявы, которой окна моют, ну дак и отравился, — она тоже села на табуретку. — Господи, и хоронить-то некому было. Кое-как отсоборовали его. Ничё не было у его, во что одеть. Ходила я в домоуправление. Сама его обмывала. А чё? Один жил, как сыч. Оди-ин! Эти, которы к нему бегали — он так мужик виднай был, бабы к нему липли — как назло: ни одна не появилась.

— Он что — специально отравился?

— Не знаю. Чё специально? Её пьют, синяву-то. Чё-то с ей делают и пьют. Она дешёвая, семьдесят восемь копеек бутылка-то. Всю выдуть, так любой, поди, копыта отбросит. У него там ещё оставалось в бутылке. На опохмелку, поди, приберёг. Не знаю. Но жизнь-то у его была — тьфу! Мужики нельзя одному. Бабе можно, а мужику — не-ет.

— Да, — вздохнул Каретов, — жаль. Хороший человек был, по-моему. Ну, а дом-то вы мне покажете?

— Вон, дом-то, — она показала рукой на окно, в сторону кривых ворот. — Иди смотри, коли хошь. Мужик ничё был: покладистый, добрый, не без греха, конечно. А кто без греха?

— А там почему охрана?

— Кака охрана?

— Мужик сидит в будке, и вроде форма на нём.

— Хе — охрана! Петька забрался в будку. Там тёпло, электрическа печка, вот оне там и гужуются. Ступай, если надо тебе.

Каретов поднялся:

— Спасибо вам за информацию. И за то, что помогли похоронить Ефима Михайловича.

— Ну да, спасибо, — вздохнула женщина, тоже вставая. — Господь справедлив: как живёшь, так тебя и похоронят.

Каретов ещё раз поблагодарил её и вышел.

Он только теперь, когда миновал ворота, обратил внимание на фундамент разобранного здания, на горки битого кирпича. Целый кирпич жители растащили на свои нужды. Здесь, видимо, было когда-то какое-то производство, от предприятия остались только ворота и забытая, на радость бичам, проходная с подключённым электричеством.

Он прошёл вглубь территории, остановился перед двухэтажным деревянным зданием с выбитыми окнами. Здесь явно никто не жил. Во втором доме, тоже сложенном из добротной лиственницы, было два входа. Владимир зашёл наугад в один, но сразу догадался, что это не тот: в нём была только лестница на второй этаж. Галя же Урмаева, помнил Каретов, пришла к Савельеву через окно. Он вышел на улицу и вошёл в другой подъезд. Направо — длинный общий коридор, а налево, в торце здания, была дверь в квартиру, когда-то утеплённая ватой, и обитая дерматином. Он понял, что Савельев жил здесь. На двери висел замок. Владимир пригляделся и потянул замок на себя — пробой довольно легко вынул из косяка.

Комната была почти пуста, пол в одном углу просел, краска на окне облупилась, в одной шипке было разбито стекло, и проём заделан фанеркой. Возле холодной печки стояла пружинная кровать, с неё свисал старый драный матрац. И ещё здесь был деревянный табурет, окрашенный коричневой краской, и гора пустых бутылок, в другом углу. Кто-то из бомжей, очевидно, собирал посуду на сдачу.

Каретов прошёл, сел на табурет. Припомнился ему последний разговор с Савельевым в больнице, после того, как Ефим Михайлович рассказал ему о самом сокровенном: о Гале Урмаевой и сынишке. Тогда Владимир спросил:

— Вот вы сидели по такой статье безобидной, а татуировка на груди... Как у... — он замялся, не решаясь произнести обидное слово, потом нашёлся: — Как будто бы вы попадали туда не один раз.

Они были в палате вдвоём, но Савельев ответил не сразу.

— Это не в тюрьме и не в зоне, а когда я на Дальнем Востоке был. Я ж говорил: тоска там задавила. Ну и «под этим делом» один умелец меня разрисовал. Там бывших зеков много после отсидки остаётся, — Савельев усмехнулся: — Мастак. Три дня работал. Он мне хотел двуглавого орла нарисовать, а я, хоть и крепко был выпимши, не согласился: зачем мне, говорю, двухголовый урод на груди? Уроды долго не живут.

Ефим Михайлович помолчал в задумчивости минуту, потом добавил:

— Тогда там по всем зонам и пересылкам настоящая война шла между «ворами» и «суками». Слышал?

— Нет.

— Ну, заходи ко мне в гости как-нибудь, расскажу.

Теперь Каретов знал, что после войны многие из воров, которые воевали, вновь оказались за решёткой, чаще всего за дело, и схлестнулись с ворами, которые пересидели лихие годы на нарах. Вояки и те, кто примкнул к ним, резали блатарей, а блатные резали «сук». И всё это — с молчаливого согласия охраны. В те годы была отменена смертная казнь, но, как можно догадываться, уничтожение закоренелых преступников руками самих преступников было организовано на государственной основе. Самым рациональным и эффективным способом.

Что об этом хотел рассказать Ефим Михайлович, никогда уже Каретову не узнать.

Владимир снял шляпу, постоял с минуту, чувствуя, как на горло надавил комок.

Последний акт трагедии разведчику не удалось закончить хохмой: надеть венки и ползти на кладбище. Денег у Ефима Михайловича на венки не было, хватило только на «синяву».

## Глава 2

Однажды город потрясло страшное известие: ночью в помещении радио и телецентра был убит сторож, пистолеты похищены. Пост в радиокомитете был центральным в районном отделении вооружённой охраны. Здесь, в небольшой комнатке справа от входа, предназначенной для отдыха охранников, стоял сейф, в котором хранились патроны и оружие.

Сергей Сергеевич принял суточное дежурство, как всегда, в восемь утра. Проверил наличие пистолетов и патронов в сейфе, ключей, опробовал сигнализацию. Всё было как обычно. Расписался в журнале. Весь день, тоже как обычно, сновали мимо Сергея Сергеевича журналисты и операторы, приходили посетители, которых он пропускал в помещение по предварительной записи. Вечером, когда все ушли, Сергей Сергеевич закрыл входную дверь изнутри на замок, набросил крючок, прошёл проверил запасные выходы и окна первого этажа, побряхтывая, поднялся по лестнице до четвёртого этажа, убедился, что двери кабинетов закрыты, и никто на ночь в здании не остался, после чего вернулся вниз, включил сигнализацию и прилёг в комнатушке, где стоял сейф, на лежанку.

Дремал он с полчаса, когда раздался звонок у двери. Пришёл командир отделения, сказал пароль, Сергей Сергеевич впустил его. Геннадий Николаевич, мужчина чуть за тридцать, попросил ключи от сейфа, проверил содержимое его, вынул вместе с ремнём и кобурой свой пистолет, нацепил на пояс. Пока он возился у сейфа, Сергей Сергеевич включил кипятильник, вскоре в литровой банке началось бурное кипение.



— Чайку попьём? — спросил Сергей Сергеевич. — Что нового у нас?

— Давайте, — охотно отозвался Геннадий, — а то я не успел заскочить домой.

Геннадий Николаевич должность командира отделения вооружённой охраны при районном отделении милиции совмещал с учёбой на юридическом факультете университета, хотя одно высшее образование у него уже было. Лет десять назад он закончил геологический факультет института, но работа геолога показалась ему тяжёлой; главное, что не устраивало его в специальности геолога, это то, что длительное время приходилось быть в отрыве от семьи.

— Есть новости. Нашли девочку, которая потерялась месяц назад, и, кажется, поймали того маньяка, что ребятишек насилует и убивает. Девочка была в мешке в подвале дома, голубой дом, что напротив прокуратуры. Хозяин одной из кладовок пошёл за картошкой и обнаружил.

— Как? — изумился Сергей Сергеевич. — Уже третий раз трупы находят рядом с прокуратурой? Значит убийца имеет какое-то отношение к ней, если обложил жертвами с трёх сторон!

— Ну?! Верно: мальчишку нашли возле цирка, а первого школьника — в заброшенном доме с той стороны от прокуратуры. Что бы это значило?

— А вот то, что он либо работал там, либо у него кто-то в органах из близких или друзей есть, кому он что-то доказать хочет.

— Нет. Из-за этого убивать?

— Убивает он не из-за этого, а к прокуратуре его тянет.

— Допустим. Но, тянет-то, наверное, потому, что знает, что рано или поздно он попадётся.

— А! — досадливо крикнул Сергей Сергеевич. — Как вам объяснить? Да, говорите, что попался? Как? Кто он?

— Как будто врач. А взяли его на месте преступления, ребята из Усть-Орды, кажется. Мальчишку шести лет мать выбежала искать, а они шли. Ну, а женщины дом штукатурили напротив, показали, куда этот змей пацана завёл. Они обратили внимание, что малый неохотно шёл, упирался.

— Живой?

— Да. Он не успел, напугал сильно. Ну, парни дали ему, как следует, глаз, пожоже, выхлестнули. Привели в отделение.

— Глаз — это хорошо. Но — мало.

— Следствие проведут — добавят. Вышку такому гаду.

Геннадий пошёл проверять другие посты, а Сергей Сергеевич закрыл за ним дверь, снял с пояса ремень с кобурой и лёг спать.

Но что это за сон, когда на малейший стук мгновенно просыпаешься? Показалось Сергею Сергеевичу, будто где-то в здании дверь скрипнула. Он сел на топчане, прислушался. Тихо. Всё же он решил пройти на второй этаж, ремень с оружием забыл надеть на пояс, пистолет остался лежать на лежанке.

Утром сотрудник редакции, что пришёл вести программу «Новости», не дозвонился, чтобы дежурный открыл ему дверь, а когда потянул за ручку, дверь оказалась открытой. Вместо дежурного его встретил труп.

Следствие сразу же установило, что преступники проникли в здание через пожарную дверь на втором этаже, которая выходила на лестницу с противоположной главному входу стороны здания. Дверь и охранная сигнализация на ней были предварительно соответствующим образом подготовлены.

Пистолет охранника и ещё один, из сейфа, бесследно исчезли вместе с патронами.



На допросе Геннадий Николаевич подробно рассказал о своей последней встрече с убитым, не забыл и ту мысль Сергея Сергеевича, что сексуальный маньяк должен был иметь отношение к органам юстиции.

— Да? — следователя заинтересовало это соображение. — Он прав: жена детоубийцы работает адвокатом в одном из предприятий, среди его знакомых, безусловно, есть юристы.

Несколько месяцев спустя следствие установило, что убийство в радиокомитете было совершено группой, которую возглавлял бывший заместитель начальника одного из лагерей заключённых, майор милиции, уволенный из её рядов за поступки, несовместимые со званием служителя закона. В группе его, которая ранее уже совершила несколько дерзких ограблений, были преступники, отбывающие наказание, которых отпускали из тюрьмы «на дело» за определённую мзду.

Бывший майор получил заслуженный срок. Отбывая наказание, писал кассационные жалобы постоянно. А когда через несколько лет «демократы» свергли власть коммунистов, то экс-майор стал указывать в своих заявлениях, что в борьбе с партизанами пострадал от тоталитарного режима. И добился: срок ему сократили.

Сексуальный маньяк, изверг, на счету которого оказалось более десяти загубленных душ, был под следствием два года. Несколько раз по требованию адвокатов ему проводили психиатрическую экспертизу, каждый раз убеждались, что он вменяем. Наконец состоялся суд, детоубийце вынесли приговор: смертная казнь. Но и после суда находились силы, которые тормозили исполнение приговора. «Гуманисты» на все лады писали в газетах о порядках, существующих в демократических странах. Там-де преступников не казнят, а дают им большие сроки заключения — хоть сто лет, если заслужил. Однако местная печать и вся общественность города были возмущены проволочками, и однажды областная газета довела до сведения читателей, что приговорённого, всё-таки, настигло справедливое возмездие.

### Глава 3

Землетрясение в Армении потрясло Антонину до глубины души. Она смотрела на экран телевизора сквозь слёзы:

— Ну, что же это такое, а? То Чернобыль, то пароход утонул, теперь даже природа против нас?

Она вывернула шкаф, нашла свои костюмы, платья, кофты, юбки, брюки, которые давно не надевала, собрала посылку и отнесла её в комитет помощи пострадавшим от землетрясения. Из вещей мужа и сына набрала целый мешок, вложила в него связанные ею шерстяные носки и тоже отправила в далёкую несчастную республику.

А потом однажды телеоператоры показали, как по огромной горе присланных вещей, лежащих под открытым небом и припорошённых снегом, ходит пожилая женщина, которая ищет и не находит того, что ей нужно. Возможно, она и сама не знает, судя по окаменевшему от горя лицу, что она хочет найти.

Показали Председателя Совета министров Рыжкова на армянской земле среди чёрных, заросших щетиной, обезумевших от страданий людей.

Два самолёта, летевших на помощь Армении, разбились, ещё погибли люди.

Мир зашатался, действительность утратила какие-то свои извечные опоры, утратила реальность. Предчувствие огромной надвинувшейся беды не покидало жену Каретова.

— Я пойду в церковь, — сказала она Владимиру, когда однажды в воскресенье он предложил ей сходить в кино, чтобы развеять её мрачное настроение. — Пойдём лучше с нами.

С тех пор как разрешили открыто праздновать церковные праздники, и некоторые из них стали даже выходными днями, она несколько раз побывала с подругой в церкви. Дома у них появилось Евангелие, потом — полная Библия. Владимир тоже, из любопытства, заглядывал в них, и прочёл уже значительно больше, чем жена с её подругой вместе взятые.

— Нет, — вздохнул он, — идите без меня. Я лучше тогда во Дворец пионеров схожу, отнесу им часы для шахматного кружка. Наш местком решил им подарить, в связи с юбилеем Дворца.

— Что, ваш партийный босс запрещает коммунистам верить в Бога?

— Кто, Палей? Ты же знаешь: интеллект у него, как у вашего Дылды. Он нос по ветру держит: скажут ему, что надо молиться — будет молиться, хоть Богу, хоть Сатане. Он коммунизм понимает так: все равны, то есть, одного роста, все обжираются, никто не работает, из коммунистов, по крайней мере. Все незамужние бабы — общие.

— Издеваешься?

— Немного. Мы ведь его сами выбрали.

— И начальничка выбрали.

— Да, — согласился Каретов, — и начальника. Совсем недавно с пьянством боролись во всесоюзном масштабе, а теперь на должность руководителя предприятия посадили — добровольно! — алкаша. Чёрт знает, почему умные люди выбирают на роли лидеров всякую шваль?

— Ладно. Ты мне скажи: ты против того, что я в церковь хожу?

— Нет. Ходи, если нравится.

— Честно? Я вот не чувствую в себе веры, как Танька. Она верит, и всё! А я так не могу. Мне какое-то подтверждение требуется, факты неопровержимые. Ты вот что в душе чувствуешь, есть Бог или нет?

— Не знаю. Бог, может быть, есть, а веры нет. А может и наоборот.

— Как это? Я вижу, что ты Библию с интересом читаешь.

— Да. Там много мудрости, которой мы пользуемся, только не знали раньше, что это — евангельская мудрость. Но я почитал Библию, и ещё дальше отошёл от того, чтобы пойти в церковь или к баптистам. Ты посмотри, какой кровожадный и жестокий Бог в Ветхом Завете! А ведь Евангелие на каждой странице ссылается на ветхозаветных пророков. Заветы Христа могу принять, а в целом Библию и учение церкви — нет!

— Как Лев Толстой?

— Нет, наверное. Он верил учению Христа, но возмущался тем, что церковь превратила церковь в шалман, попросту говоря. А моя душа много чего не принимает. Каин убил Авеля. У Авеля детей не было. Мы все, так выходит по Библии, дети убийцы Каина. На всех лежит проклятье. Так нельзя. Я не хочу сознавать себя потомком преступника, не хочу, чтобы мой сын был им, чтобы внуки и правнуки мои унаследовали каинову печать. С таким наследием человечество не выберется никогда на светлую дорогу.

— К Храму? — улыбнулась Тоня.

— Пусть будет: к Храму.

— Тогда тебе, может быть, подойдёт какая-нибудь другая вера? Буддизм, или я не знаю...

— Как же я, русский человек, могу принять другую веру, кроме православной?

— Ты меня совсем запутал. Значит, ты всё-таки признаёшь, что православная вера — самая лучшая? Для нас, по крайней мере.

— Все хорошие. И все не годятся. Именно потому, что любое вероучение доказывает, что оно — самое правильное, остальные — ересь. Гордыня присуща любому вероисповеданию, хоть служители церкви, конечно, с негодованием отвергнут такое обвинение. А гордыня — тяжкий грех. И посмотри: даже христиане не могут найти общий язык между конфессиями, а уж что говорить об остальных?

— Бог же один. Он объединяет.

— А вера — разная, — подхватил Каретов. — Верующих, на этой почве, очень легко поссорить, натравить друг на друга. Верующих и обмануть легче — они доверчивы.

— Ну, вот, — огорчилась Антонина, — я думала, ты меня успокоишь, а получилось наоборот.

— Прости.

— Я всё же пойду.

— Да, конечно, иди.

В сверкающий облицованный изнутри светло-серым мрамором Дворец пионеров Каретов не заходил, наверное, года три, и очень удивился, когда на месте дежурного у входа увидел... Фиалко.

Прокурор, которому Алексей Федотович втихую передал рапорт на загулявшего в помещении прокуратуры следователя, решил, что лучше держаться от ретивого служащего подальше, и когда пенсионер вышел из больницы, он сообщил ему, что на время его болезни они приняли другого человека. Не найдёт ли товарищ Фиалко себе другого места? Нехорошо ведь будет уволить человека, когда он только освоился с работой, привык.

Фиалко согласился, он понял, что его докладная сработала против него, иживать неприятности не стоит. Зашёл тут же во Дворец, благо для этого надо было только улицу перейти, нашёл директора и предложил ей свои услуги. Ей понравился обстоятельный и видный мужчина, и она предложила ему свободное место вахтёра.

Каретов решил не останавливаться возле знакомого, прошёл налево, мимо гипсовой фигуры пионерки, с рукой, поднятой в салюте, вниз по мраморной лестнице, в раздевалку, а оттуда другой лестницей поднялся в зал, часть которого занимал сад с небольшим бассейном, с ручейком, журчащим по цветному керамическому желобку.

Шахматная комната кишела школьниками, у которых только что закончились какие-то внутрикружковые соревнования. Одни горячо обсуждали сыгранные партии, другие отдыхали от шахмат, перекидывая друг другу теннисные шарики, некоторые высыпали в зал; стоял невообразимый галдёж.

Руководитель кружка, Сорин Константин Владимирович, невозмутимо писал что-то, успевая отвечать на вопросы двух малышек, которые теребили его с разных сторон. Сюда четыре года ходил заниматься сын Каретова, и с Сориным Владимир был хорошо знаком. Шахматным кружком Константин Владимирович руководил более двух десятков лет, по совместительству, главная его работа была в пединституте, где он преподавал философию.

— Вы нам дарите часы? Часов у нас хватает, переводки только теряются. Ну, спасибо, пригодятся, когда большие соревнования будем проводить, а то в шах-

матном клубе займы берём. Как там Толя? Давненько к нам не заглядывал. И в городских соревнованиях не видно. Учёба замучила?

— По-моему, не учёба, а девчонка.

— А-а, — засмеялся Константин Владимирович, — тоже надо. Парень видный.

В это время к ним подошла руководитель танцевального кружка, извинилась и сказала:

— Вас там на выход приглашают.

— Меня? Кто там?

— Дежурный.

Константин Владимирович поправил очки, потрогал кончик носа и поднялся.

— Пойду, опять мои нашкодили чего-то, — он сокрушённо качнул головой: — Раньше на моих никто никогда не жаловался, а сейчас — как слазил кто.

Вернулся он минут через десять, рассматривая на ходу небольшой листок, вырванный из тетради в клеточку, на котором ровными калиброванными буквами была какая-то записка, потом засмеялся:

— Чудак ведь, — и протянул листок Каретову. — Прочитайте.

Каретов взял бумажку со смешанным чувством любопытства и брезгливости. Знакомые, как калиброванные патроны, буквы, ровные строчки!

«Предподавателю шахматов!

Почему вам как новому шахматному ученику, перед началом учёбы (занятий) не объясните, правила поведения в помещении сдании дворца пионеров, как себе вести?

Наблюдается подростки на стенках, дергают плакаты правила пионеров, при этом статуи «девочка» «приветствием» руками берут подобия выкручивает руку, сколько можно вахтеру предупреждать? Я вынужден письменном стили докладывать директору».

— И что теперь? — спросил Каретов. Он знал, что отец Константина Владимировича когда-то отсидел несколько месяцев под следствием, по чьему-то обвинению, потом был выпущен. У Сорина должна быть аллергия на таких «писателей».

— А? — Константин Владимирович успел уже забыть о записке.

— Будете объясняться с директором? Куда этот документ?

— Я? Зачем? Она сама с ним разберётся, — Константин Владимирович засмеялся: — Документ можете взять себе на память.

Каретов посидел ещё немного у шахматистов, наблюдая, как постепенно стихает шквал ребячей активности, как расходятся ребяташки, выплеснув эмоции. Спросил:

— Константин Владимирович, как по-вашему, был Христос, или, всё-таки, это личность вымышленная?

Константин Владимирович убрал дарёные часы в шкаф, поставил последнюю коробку, повернулся к Каретову:

— Был, несомненно. Насколько соответствовал тому, что о нём сказано в Евангелиях, — другой вопрос. А что?

— Если был Христос, значит, был и Иуда? Вы знаете, мне кажется, что Евангелие — это изложение философского осмысления круговорота жизни. Вечного, неизменного. У разных народов был разный жизненный опыт, отсюда — разная философия, разные верования.

— Да? Интересная мысль. К сожалению, мы до недавнего времени уделяли очень мало внимания рассмотрению вопроса философии религий. Приходите как-нибудь к нам на кафедру, потолкуем.

— Спасибо. Ещё немного почитаю литературу и зайду.

## Глава 4

Из Дворца Каретов вышел вместе с Сориным, немного проводил его. Возле музея, где «ночным директором» работал Мороков, распрощался. Но музей по выходным был закрыт, кто дежурил в этот день — неизвестно, и Владимир не стал стучать, вернулся домой. В один из ближайших дней он вспомнил о своём желании увидеть ветерана и успел, после работы, до закрытия музея.

— Афанасия Иннокентьевича нет, болеет, — сказала ему дежурная.

— А вы не знаете, где он живёт? Где-то поблизости.

— Елена Ивановна! — дежурная окликнула женщину лет сорока, которая уже была в дверях. — Тут товарищ Морокова спрашивает, вы не проводите его?

— Пойдёмте, — пригласила Каретова та, которую назвали Еленой Ивановной, и, когда он вышел вслед за ней, пояснила: — Мы с Афанасием Иннокентьевичем живём в одном подъезде. Он в больнице лежал, сейчас дома.

— Что с ним? Опять раны?

— Что-то с головой, я не расспрашивала.

Дом был построен в начале века, без лифта, с длинными лестничными маршами и широченными площадками перед квартирами.

Когда поднялись на второй этаж, Елена Ивановна остановилась у своей двери, показала наверх и сказала:

— Как раз над моей квартирой, этажом выше.

— Спасибо.

На звонок из-за двери раздался залиvistый собачий лай, потом детский голос спросил:

— Кто?

— Афанасий Иннокентьевич дома?

Вместо ответа мальчишка лет двенадцати открыл дверь. Собачонка лаяла не переставая. Афанасий Иннокентьевич появился в прихожей, поздоровался, пробаcил ласково и с некоторой укоризной собаке:

— Это свой, Тузик, свой.

Тузик выслушал хозяина, преданно глядя ему в глаза, виляя хвостом, и пошёл в комнату, всё ещё негромко ворча.

— Проходи, Володя, — пригласил Мороков и, прихрамывая, сам прошёл вперёд. — Как это ты надумал заглянуть и как нашёл? У нас в доме разуваться не принято. Проходи.

Каретов снял верхнюю одежду, опасливо поглядывая под ноги, не остаются ли следы на окрашенном жёлтой краской полу, прошёл комнату по диагонали и присел рядом с Афанасием Иннокентьевичем на диван.

— Как ваше здоровье? Я заглянул в музей, там сказали, что вы были в больнице. Соседка ваша сказала.

— А, Лена. Да, знаешь, опять попал, пора списывать, наверное, в утиль. Интересная штука: когда меня ранило, то и контузило тоже. Контузия — это... «Армянское радио» как-то спросили: «Можно ли убить валенком?» Отвечают: «Можно, если в валенок положить кирпич». Так вот: контузия — это когда тебя большим валенком с кирпичом ударят по всему телу. У меня после контузии правое ухо сперва совсем почти не слышало, потом как-то немного отошло. Я всё левой стороной норовлю к человеку повернуться. А рука, вишь, наоборот, правая здоровая, — он засмеялся. — Ну, вот: не болело, не болело и вдруг что-то там, в ухе, созрело, нарыв

какой-то образовался, боль страшная. Я уже думал: конец. Готовиться начал, всех близких вспомнил, друзей. Все грехи сами припомнились. Но потом в больнице меня полечили, хотели резать, но я не согласился. Лекарства давали, шприцем кололи. Одыбал. Пока на бюллетне, но выйду на работу скоро. Я уже хожу на улицу. На Американской выставке даже побывал на днях. Ты смотрел?

— А! — скептически сморщился Каретов. — Не знаю, чем люди восторгаются? Если б не компьютеры, совсем нечего смотреть, никакого отношения к туризму и отдыху, как у них заявлено. Я разочарован.

— Точно: народ идёт с живыми американцами поговорить, а выставка хилая, организована с целью шпионажа и пропаганды. Неужели власти не видят?

— Видят. Ну и что? Мой сын рассказывал, что там подростков и молодых парней шпыняют наши в штатском, шипят на них, а что сделаешь, если из Москвы разрешение было? Кстати, мой Анатолий провёл небольшой эксперимент, задавал в разных местах выставки гидам одни и те же вопросы: об уровне жизни в США, в сравнении с нашим, об оплате, о безработице и прочем.

— И получил одинаковые ответы?

— Не просто одинаковые, а как по стандарту. То есть, их специально готовили по определённой программе.

— А выправку некоторых гидов видал? Вот я больной, хромой, а что вдолбили в меня в военном училище, то уже никуда не спрячешь, всем видно: вояка.

Густой командирский бас ветерана тоже подтверждал: это — воин, хоть и бывший.

— Да, я тоже обратил внимание на таких специалистов. Чёткие ребята. Кстати! Вы читаете, что пишут сейчас об армии? Что надо сделать её профессиональной, как на Западе.

— Читал, — Мороков вздохнул. — Это пишут с дальним прицелом люди, у которых нет чувства родины. Какая должна быть армия? Всё зависит от целей, которые мы ей ставим. Если мы хотим иметь армию, которую можно послать в соседнюю страну, чтобы пограбить или сделать там переворот, как поступают Штаты, то нужна наёмная профессиональная армия. Если же задача заключается в том, чтобы защитить страну от агрессора в большой войне на выживание, то должен сохраниться всеобуч. Бельгия на нас не нападёт, как ты думаешь?

— Американцы тоже не полезут, — засмеялся Каретов.

— Да, пока у нас сила есть, чтобы дать сдачи. А если они, эти политики-писари убеждены, что войны уже никогда не будет, то армию надо упразднить. Договориться с немцами, с американцами и сократить до одного полка или дивизии. И кто сказал, что наша армия непрофессиональная? Кадровый состав, офицеры разве дилетанты? Чувствуешь, как они тонко подводят: нужна, мол, профессиональная армия, а у людей гражданских в сознании откладывается, что у нас сейчас не армия, а сброд какой-то!

— Согласен. Ну так вот, о выставке. Я познакомился с одним из гидов, он в шахматный клуб с компьютером заходит вечерами. Тоже пропаганда. Но, похоже, он действительно историк, нанялся и подрабатывает гидом. На русском прекрасно говорит, только с акцентом. Так мы с ним дискутировали на тему: где простому человеку живётся лучше — у них или у нас? Он меня пригласил на выставку второй раз, распечатал на листке сравнительные данные по зарплате и стоимости товаров в Штатах и в СССР.

— Заранее заложено в компьютер?



— Да. Интересный подход, простой и наглядный: они взяли список товаров широкого спроса, среднюю зарплату, там и тут, и подсчитали стоимость каждого товара в процентах к зарплате.

— А сколько они получают в месяц?

— Нашу среднюю они взяли в двести рублей, ихнюю — в две тысячи долларов.

— Две тысячи?! Очень приличная зарплата!

— Я тоже сперва так подумал. А когда посмотрел внимательно, что он мне выдал, был потрясён: масло, сахар, крупы, водка, молоко — всё у нас с ними стоит одинаково! В процентном отношении к зарплате. Отличаются на одну-две десятых процента, но почти всё — у них чуточку дешевле. Из всего списка только четыре или пять видов в нашу пользу. Рыба и кое-что ещё. И в конечном итоге, по всему списку, тоже разница очень незначительная, в доли процента. Я тогда вечером в клубе задаю ему вопрос: «Но медицина у вас платная? Обучение в институтах платное? У вас квартиры бесплатно рабочим дают? Если всё это учесть, то получается, что наша средняя зарплата даёт нам больше, чем ваша». Он мне не может возразить, но говорит, что их платная медицина качеством значительно выше, чем у нас.

— Как сравнить? Мы там не лечились, не знаем. Он в наших больницах не бывал. У меня, например, к нашим медикам претензий нет. Если б не они, я бы да-авно червей кормил. Меня же, после контузии и ранения, сперва с того света вытащили, я же был почти покойник, потом уже операцию делали. И в этот раз я дождался того, что никто уже жильцом не считал, потом только разрешил в больницу отвезти. В обыкновенную нашу больницу. Никакие там не знаменитости работают, обыкновенные наши женщины, но опять спасли.

— Ну, я спрашиваю, во что обходится эта платная медицина? Привожу пример, что я лежал два года назад на обследовании, мне это не стоило ни копейки. Он отвечает, что у него отец был в стационаре месяц, уход, мол, очень хороший там. Не лечился, а после инфаркта на реабилитации был. Я опять спрашиваю, во что это обошлось? Оказывается: тридцать тысяч долларов!

— За месяц?! Не может быть! — Мороков начал прикидывать, во сколько годовых зарплат это выльется: — Их зарплата за полтора года — получается. Нереально — столько платить! Легче сдохнуть.

— Мне тоже как-то не верится, но за что купил, за то и продаю. Он мне вот что объяснил: у них страховая медицина. Он, к примеру, платит страховку, семьсот долларов, и в течение года ему обеспечено любое лечение, в пределах миллиона.

— Семьсот долларов — тоже деньги. А если человек два раза за год серьёзно заболел, к примеру в аварии попал, что тогда?

— Я его тоже об этом спросил. Он ничего не мог ответить. Сказал, что у них есть больницы, в которых оказывают помощь бесплатно. Но, наверное, по этим больницам они и судят о нашей медицине. И когда разобрались, всё у них построено подобным образом. Зарплату получил — отдай налоги! До сорока процентов.

— А на хрена, извини, тогда её выдавать? Забери ты этот налог сразу, чтоб душа не болела.

— Нет, в этом и соль: человек знает, сколько отдаёт, потом, мол, с правительства может отчёт потребовать. И психологически тоже: две тысячи получает, хотя сразу же, после уплаты налога, у него остаётся полторы или меньше. Так что за полтора года, как вы посчитали, он тридцать тысяч не наберёт, даже если ни пить, ни есть не будет. Дальше: жильё — возьми кредит, хоть на полста лет, купи дом в

рассрочку. Не выплатил кредит, заболел, умер — банк этот дом забирает. А снимать квартиру — обходится дороже, чем купить свой дом. Всё очень жёстко. Шахматных клубов у них нет, если где есть, то это очень дорого стоит. Если турнир провести надо — сбрасываются на аренду помещения, на оплату судьям, на призы. А у нас — пожалуйста: играй бесплатно хоть до посинения. Поэтому уровень наших шахматистов значительно выше. Кстати, он, по их меркам, шахматный мастер, а предложили сыграть в блиц-турнире — наши перворазрядники, не говорю уж о кандидатах в мастера, драли его, как Сидорову козу. Он в десятку лучших не попал!

— Давай-ка чайку попьём, — Афанасий Иннокентьевич крикнул в смежную комнату:

— Павлуша, поставь чайник! Или ты предпочитаешь кофе? Нет? Молодчина, что зашёл. А то поговорить не с кем. Значит, дождал ты американца?

— Он сам себя дождал, сказал, что отец-то умер. Чуть за пятьдесят было. Сказал, а сам чуть не плачет. Но на выставке продолжает говорить по заданной программе, вправляет нашим людям мозги. Нанялся — отработывает деньги.

## Глава 5

— Буду увольняться, — сказал за чаем Мороков. — Нечестно, когда ты бюллетенишь, а женщины за тебя там дежурят. Сутками же, тяжело. Пенсия у меня полная, сто тридцать два рубля, нам с Павликом хватает, чего жадничать? Родители себя пусть сами содержат, верно, Павлуша?

Мальчишка застенчиво улыбнулся, сказал, глянув в сторону гостя:

— Мамка мне тоже денег даёт, если попрошу, и покупает всякое разное, штаны...

— Штаны — это важно, — засмеялся дед и потрепал причёску внуку: — Стричься пора. В парикмахерскую пойдём, или деду доверишься? «Шипр» я купил, побрызгаю, надухарю.

— Посмотрим на твоё поведение, — мальчишка лукаво прищурился, намекая на какие-то, известные только им двоим, обстоятельства.

— Вот так и живём: вдвоём, по существу. Сегодня, например, родителей отпустили на день рождения. Эх, — вздохнул Мороков, — раньше семья была «семья», как у моих отца с матерью, а то и до десятка детей, если Бог пошлёт. А теперь на второго не расстараются. Дети — это как бы ветви, крона дерева. Чем крона мощнее, тем ты богаче. Большая семья — надёжная семья. Да. Семью похерили, редко встретишь многодетных. Понимаешь, какая штука: оттого, что многодетных семей почти не стало, люди вообще утратили тягу друг к другу! Нет чувства локтя. Раньше общинами жили, помогали слабым семьям, а теперь распозлились по квартирам и не знают, кто за стенкой живёт. Плохо это.

— А что вы читаете теперь, по-прежнему мемуары и историческую литературу?

— Не только. В газетах много интересного встречается. Многое проясняется. Картина у меня в голове теперь более-менее полная.

— Относительно чего?

— Относительно всего. Перестройка — это что, бескровная революция? Если революция, то скажу: революции, как и войны, конечно, назревают исподволь, как болячки, как у меня с ухом случилось. Но революции и войны — дело личностей, затевают их богатые, а жизнями своими расплачиваются бедные. К примеру: папа

Троцкого, оказывается, был миллионер. По тем-то временам — ого! Сыну не хватало только власти. Вот и пошёл в революционеры. Свердлов, кстати, тоже не из бедных.

— Ну, если они хотели власти, то был у них и другой путь, — заметил Каретов.

— Какой?

— Надо было принять православную веру. Когда говорят, что до революции притесняли людей других национальностей, то это неправда. Ограничение прав было по признаку веры. Принимай православие, и все дороги тебе открыты, если есть талант. Не знаю, хорошо это или плохо, но у церкви был мощный рычаг, которым она располагала в государстве. Поэтому, видимо, её и растерзали революционеры-интернационалисты. Инаковерующие, но под маркой атеистов.

— Угнетённые нации мстили за свою веру, по-твоему? М-да-а, — Мороков пристально посмотрел на собеседника. — Кстати, Троцкого выперли из СССР, а всё равно многие его идеи были реализованы. Особенно в отношении крестьянства и церкви. Да и в культуре, и в армии. Так что было у власти всегда две партии, только под одной крышей, под одним названием. Эсеры, меньшевики, бундовцы никуда не исчезли, они срочно перекрасились в большевиков и постепенно вытеснили их. Жили, якобы, по заветам Ленина, а строили, во многом, по чертежам Троцкого.

— А как же Сталин?

— Сталин и строил. Ленина он уважал, учился мыслить у него, но когда утверждают, что он всё по-ленински делал, то — врут. А Троцкого он ненавидел, потому, может быть, что некоторые идеи у них были схожи. Не находишь?

— Не знаю, — задумчиво произнёс Каретов. — Не вдруг сообразишь, насколько вы близки к истине. Троцкий-то Сталина тоже не шибко любил?

— Ну, посоображай. А то вон наш «лучший немец» всё говорит, говорит, а что говорит и, главное, что творит — не задумывается, по-моему. Восточных немцев, считай, сдал западным. Меня, стало быть, тоже предал.

— Это почему же? Надо ведь немцам когда-нибудь объединиться?

— Надо. Но только после того, как умрёт последний участник войны. И не за наш счёт. Ведь ГДР производит многое из того, что идёт в Союз, а потом всё это кто нам будет поставлять? Американцы? За какие деньги? Или будем опять за народные кровные строить заводы? И куда девать ту продукцию, что мы поставляли в Восточную Германию? Я сколько ни читаю газет, сколько ни слушаю радио и телевизор, никто мне этого не объяснил. Не говорю уж о том, что границу между нами и Западом мы, по существу, сдали. А за что тогда мы воевали? Нельзя руководителю такой огромной страны заниматься демагогией. Развалит страну, вот что получится. Кто б его остановил.

— Может быть, партия? — прищурился Каретов.

— Станет он меня, рядового партийца, слушать?

— И меня не станет, — засмеялся Каретов. — Знаете, Афанасий Иннокентьевич, я как-то сидел и думал: вот нас, партийных, уже больше семнадцати миллионов. Руководящая и направляющая сила, да?

— Да, примерно на каждых пятнадцать человек, от младенца до ветерана, один впередиидущий, — подтвердил не без ехидства Мороков, — нормально.

— А все дела, вся организаторская работа партии, в основном, в прошлом, когда она не была такой многочисленной. И вот я думаю: что будет с партией, когда все взрослые станут её членами? Какой тогда у неё будет смысл?

— Любопытно! Все станут членами партии, и она, как передовой отряд, таким образом, исчезнет? Ты хочешь сказать, что приём в члены надо прекратить, а пора уже чистки проводить?

— Мне кажется, что уже поздно чистить. Вычистят нас, тех, кто воровать ещё не научился. Наверное партия должна разделиться на две части, как когда-то на меньшевиков и большевиков. Иначе она развалится. Не может быть прочным фундаментом, замешанный на цементе и дерьме! — Каретов засмеялся: — Одна баба у нас на работе, когда её подруги обзвали бессовестной, на полном серьёзе заявила: «Совести у меня много, только я редко ей пользуюсь!»

— Молодец! — развеселился и Афанасий Иннокентьевич. — Хорошо сказала. А Бог любит простоквашу?

У Каретова изумлённо округлились глаза.

— Ага, не знаешь! Это когда моя старуха болела перед смертью, то молиться начала усердно, у себя в комнате. Павлушка слышал и один раз за ужином спрашивает: «А Бог любит простоквашу?» Бабушка заставляла его простоквашу пить. Не знаю, как насчёт простокваши, а политику Бог не любит, не занимается политикой совсем. Сатанинское, стало быть, дело. Ладно, я тебе тоже кое-что расскажу, до чего я, с большой головой, додумался.

Вот: воевали мы с немцами. Две мировых войны. Я их видел вблизи, пленных в том числе, и скажу: никто на нас, на русских, внешне так не похож, как немцы. Одень одинаково — никто не отличит. И в бою крепче русского и немца никого нет. И пахать и мы, и немцы можем, как волю. Где-то в прошлом были мы одним народом, что бы там учёные ни говорили. Это первое. Смотрим дальше. В четырнадцатом году столкнули два мощных государства — Россию и Германию. Союзники, особенно со стороны России, не очень-то старались. Война шла с переменным успехом: то русские одерживают победы, то немцы.

Мороков прошёлся, припадая на больную ногу, по комнате, остановился у окна:

— Ноет, холера, погода переменится.

— Какие окна у вас высокие, — позавидовал Каретов, и тут же посочувствовал: — Белить тяжело? До потолка метра четыре будет?

— Да, — отозвался хозяин, — три восемьдесят. Я специальные разборные козлы сконструировал, так с тех пор полегче стало. А в комнате у меня посмотри, — он распахнул дверь в небольшую комнатку, и Каретов, подойдя к Морокову, увидел, что в ней... два этажа, наверх вела вдоль стены узорная деревянная лестница. — Понял, да? Там у меня стеллажи с книгами и кое-какой бутор.

Они вернулись на диван.

— Тут я отвлекусь от генеральной мысли. Я недавно зашёл в дом-музей Кирова, — продолжил Афанасий Иннокентьевич, — у них там разные документы собраны. Попали мне финансовые итоги самых крупных российских компаний, как раз за годы первой мировой. Читаю. Их несколько десятков в списках, и у всех на конец каждого года — приличная прибыль! За исключением двух-трёх, которые в какой-то год оставались на одном уровне. Что получается? Казна разоряется от войны, мужика убивают, рабочий голодает — бабы ведь не зря в феврале семнадцатого пошли магазины громить, деревня обовшивела — государство нищает, а кто-то богатеет!

— Ну, не зря же замечено: «Кому война, а кому мать родна», — напомнил Каретов. — Что вы хотите? Если б война не была кому-то выгодной — никогда бы не воевали.

— Да? А я-то всегда считал, как нас учили, что воюют за принципы, за идеалы, за свободу. Ну, ладно. Тогда я соображаю: с той стороны, с немецкой, тоже у капиталистов навар хороший должен быть. Значит, и там, и тут были влиятельные люди, которые не были заинтересованы, чтобы война окончилась. Вот она и шла. Но что ещё интересней: когда после революции Россия выпала из войны, её союзники через несколько месяцев заставили Германию капитулировать! С Россией в союзе не могли победить, а без неё справились! Я удивляюсь, почему наши историки не обращают внимания на этот факт? Там, в Англии и во Франции, пока Россия воевала, тоже прибыли были хорошие, а как они остались одни, выгодней стало закончить войну и получить контрибуцию с побеждённого.

— Ленин, наверное, это и предвидел, когда настаивал заключить с немцами мир, даже на очень невыгодных условиях. Брестский мир. Прав оказался.

— Помню. Но я к чему подвожу? Перед второй мировой Сталин всеми путями уходил от конфликта, потому что у нас всё принадлежало государству, а государство, как я сказал, от большой войны всегда разоряется, народ нищает. А теперь вернёмся к тому, что я хотел тебе рассказать.

Афанасий Иннокентьевич опять походил по комнате, потом присел на стул, напротив Каретова. Тузик вылез из своего угла и лёг у ног хозяина.

— Хороший Тузик, хороший, — погладил собаку Мороков, и пёс в ответ благодарно облизал ему руку.

— Да, чуть не забыл, к чему я отступление про доходы капиталистов сделал. Сейчас проскальзывают в словах Горбачёва, в газетах тоже, намёки на то, что частную собственность в стране неплохо бы возродить. Они недоговаривают. Хотят возродить частную собственность на средства производства, вернуть капитализм. Не дай Бог! Потому что для капиталистов война — самое доходное дело. И наши дети и внуки станут платить своей кровью за чьи-то прибыли. Социалистическому государству, повторяю, война невыгодна!

— Как будто мы не воюем. Постоянно: то в Корее, то во Вьетнаме, то где-то в Африке, то в Афганистане.

— Это — цветочки. Издержки противостояния двух систем. Там советники наши, специалисты по военной технике. Её же в деле проверять надо. В Афганистане был большой контингент. Кстати, если взять гражданку, то молодёжи здесь гибнет от бытовухи — от пьянства, главным образом — гораздо больше, чем в Афганистане. Я говорю о более существенных войнах, на которых делают огромные капиталы.

— Нет, — возразил Каретов, — я почему-то не верю, что такое случится. Ну, лавочки торговые частные появятся, мелкие товаропроизводители. У нас в палате лежал парень, Роман Глазков, он уже тогда шил частным образом шапки, дублёнки и прочее. Ну и пусть шьёт. Если разрешат, да уже разрешили, по сути, кроме пользы от его дела я ничего не вижу. Он ведь всё равно бы шил, только втихую.

— Эх, молодёжь, — вздохнул Мороков, — опыта нет, не соображаете. Вот если б Сталин эту идею воплощал в жизнь или, хотя бы, Андропов, тогда — да. Они бы установили жёсткие рамки, и никто бы из них не выскочил. А наш говорун меченый, п-резидент, ради того, чтобы ему ещё звание почётного француза или эфиопа присвоили, всё разрешит. Да его и спрашивать не станут. Как при борьбе с алкоголем. Это же такая шатия-братия, что ты им палец дай, они тебе руку вместе с головой откусят. Всё растащат по частным квартирам — заводы, колхозы, дома и пароходы.

Мороков помассировал пальцы искалеченной руки, усмехнулся:

— Собрались кухонные политики, да? Но дослушай. Никто ведь тебе не скажет того, что голова моя сварила. А я, может быть, умру скоро. Так вот, смотри, что получается. Обратил я внимание, что Гитлера фашистом и наши называли, и за бугром. Германию того времени, не иначе, фашистской и теперь зовут. А почему не национал-социалистической? Только потому, что произносить удобнее? Нет, брат! Потому, что она хоть и национал, а социалистическая! У нас коммунисты у власти, а страна тоже — социалистическая! Гитлер к власти пришёл, кстати, демократическим путём, и всего лишь через пять лет Германия набрала такую силу экономическую, что он стал в Европе, как у себя в фатерлянде, распоряжаться! Ты думаешь, почему немцы своего фюрера так любили, что за него хоть в огонь, хоть в воду? За то, что накормил народ. Они пятнадцать лет голодали, и унижены Европой были, а тут явился избавитель, что обещает — делает. Вот появляются сейчас публикации, что в тридцатых годах очень тесные контакты были между нашими и германскими военными. Немцы у нас обучались, наши специалисты к ним на секретные военные заводы ездили. Потому что — соцстраны. Поэтому за бугром и у нас дружно кричат: «фашизм!», что не хотят упоминать о социализме. Две страны, которые объявили, что строят социализм, за очень короткий период стали мощнейшими державами! Социализм на деле доказал, что плановая система эффективнее рыночной. О чём сегодня пишут пропагандисты? Что рынок — это двигатель экономики. Что рынок нас накормит и оденет. Хрен!

— Н-да-а, — только и мог сказать Каретов: — Хорош социализм: евреев-то они когда начали уничтожать?

— В том-то и дело! На этом наши государства и столкнули второй раз. У нас ведь действительно перед войной, начиная с семнадцатого года, в правительстве евреев было большинство. Недавно мне пионерская газетка за тридцать восьмой год попалась, в ней я прочитал списки партийных и хозяйственных руководителей страны: одних братьев Кагановичей там было трое! Вот Гитлер и попёр!

— Как Сергей Сергеевич тогда в больнице объяснял?

— Да! Ты знаешь, что его убили?

— Так это его в радиокomiteе? Слышал про тот случай, но не знал, что дежурил Сергей Сергеевич. Мысль — что не он ли? — была... Да, жаль.

— Вот! Он же со мной в одном отделении вохра работал. Судьба! Тридцать седьмой год его миновал, война — мимо! А тут какой-то подонок из-за оружия убил. И вот что странно: не его день был дежурить, попросили подменить Акимыча, родственника нашего начальника... Говорят, что нашли подонков, судили.

— Я тоже слышал, что был суд, но почему-то втихую, и какой срок дали — неизвестно, — сказал Владимир. — А Савельев — помните седого? — умер. Отравился синявой.

— Ох ты?! У товарища моего инфаркт случился какой-то непонятный. Начинается.

Афанасий Иннокентьевич не объяснил, что начинается, но объяснений и не требовалось. Помолчали.

— Кстати, о тридцать седьмом, — Мороков задумался на минуту. — Помому, у Сталина был соблазн повторить опыт Гитлера в отношении евреев. Но он только, руками Ежова и Берии, открутил некоторым руководителям головы, чтобы остальные боялись. Да. И вот я пришёл к такой мысли, что Англия, Франция и Америка стали, в конце концов, на сторону СССР из-за отношения Гитлера к евреям. Дали социалистам и коммунистам возможность побольше истребить друг



друга, и сделали выбор. Национал-социалисты оказались для них страшнее коммунистов. Так что, в определённом смысле, они, евреи, тоже нас защитили, не только мы их спасли от уничтожения. Хотя, — Мороков засомневался, стоит ли и это говорить собеседнику, но потом махнул рукой: — Ладно. Вот что я ещё узнал. Оказывается, в восемнадцатом году был издан такой закон об антисемитизме, по которому многим русским, и не только русским, не поздоровилось. Обозвал жидом — ступай под суд, а там, глядишь, и на плаху: они же судьи! Вот почему в нашей стране евреев как будто и нет, не говорят о них и не пишут.

— Да, любопытную историю вы мне рассказали, — сказал Каретов и стал прощаться, пора было уходить. — Как бы нас на антисемитизме опять не вздрючили: ведь для чего пишут? Подогревают народ, не иначе! Я как-то прочитал, что Гитлер и ближайшие его помощники были с примесью еврейской крови. Вот и разберись попробуй! Ну, до свидания. Не болейте.

Мороков ответил не сразу, задумался на несколько мгновений, забыв, кажется, и о собеседнике, потом встрепенулся:

— Да-да. Плохо дело, Володя! Ты верно заметил: стравливают нас. Прибалтам говорят — вон у меня газетка, кстати, на русском языке, — что русские оккупанты захватили их страны в сороковом году, а наши газеты сообщают, что в первые годы после революции латышские стрелки и еврейские комиссары чинили расправу на всей территории России... Упорно, методично вдалбливают людям: ты, мол, православный, а тот — баптист, а ты — мусульманин; ты — дворянин, а ты — из раскулаченных, ты сидел, а тот нет, зато он, возможно, писал донос; у того отца красные расстреляли, а у того — деда белые прикончили, а бабушку изнасиловали. Украинцам говорят, что москали у них свободу отняли. Пишут, что три республики — Россия, Украина и Белоруссия — постоянно отдают часть своего бюджета на поддержание остальных народов, а тем, в свою очередь, говорят, что русские попирают их культуру, что русский язык надо изгнать из обращения... Расчёсывают болячки и язвы и добьются того, что не смог сделать Гитлер: развалят страну! А ведь тогда всем хуже будет! Володя, поверь мне: хорошего у нас было больше, неизмеримо больше!

Он смотрел на Каретова так, словно умолял его сделать что-нибудь. Правый глаз старика помутился слезой. Каретов молчал. Они прошли в прихожую, Владимир оделся.

— Заходи, Володя, ещё, — пригласил Афанасий Иннокентьевич. — Я, если хорошо буду себя чувствовать, съезжу летом в Забайкалье. Надо навестить родину, а то вроде как долг за мной числится. Не знаю, смогу ли добраться до своей деревни, посмотреть, что от неё осталось, могилку отца надо поправить. А вообще-то, — добавил старик напоследок, — самое большое зло — в нас самих: тот маленький безобидный человечек, который ни во что не вмешивается и ни за что не отвечает. Вот он и есть самый большой злодей!

Каретов пожал всё ещё крепкую руку ветерана, предчувствуя, что видит Морокова в последний раз.

## Глава 6

Минуло десять лет.

Спустя несколько дней после наступления нового — тысяча девятьсот девяносто седьмого — года безработный Владимир Каретов отправился в городской

центр занятости населения. Вышел он из дома пораньше, с большим запасом, потому что являться на отметку нужно было в строго указанное время, за опоздание наказывали тем, что временно прекращали выплату пособия по безработице. Хотя его, пособие, после того, как прошли президентские выборы, и без того стали задерживать, а в конце минувшего года и вовсе вывесили объявление, что денег нет, и когда они будут — неизвестно.

«Чего уж неизвестно? — спрашивал мысленно чиновников Владимир. — Когда никто не работает, откуда могут появиться деньги? Рано или поздно иссякнут все источники пополнения бюджета». Дальше рассуждать ему не хотелось.

Автобус пришёл скоро, и Каретов оказался вблизи центра занятости за полчаса до назначенной минуты. Он рассеянно прошёлся мимо бесконечного ряда киосков, в которых продавались жевательные резинки, «самопальные» вина, якобы заграничного розлива, печенье и шоколад «из оттуда», сигареты, презервативы и порножурналы. У одного из киосков Владимир с тихим ужасом увидел лежащую на льдистом тротуаре пожилую женщину в синем пальто, под ногами у неё было мокро, в не успевшей застыть мокроте валялся полупустой полиэтиленовый пакет. Она, вероятно, была пьяна, но, видимо, немного соображала о своём положении: не хотела быть узнанной и прикрывала лицо ладонью. Перчаток или рукавиц на ней не было. В этом киоске постоянно что-то покупали, несколько человек толпилось у оконца, посматривая вниз, чтобы не ударить нечаянно ногой в лицо лежащую. А так пьяная никого не волновала.

«Эх, демократическая Русь!»

По другую сторону улицы, за трамвайной линией, на небольшой площади расположился с некоторых пор продовольственный базарчик, где тоже преобладали продукты из-за рубежа: «окорочка», фрукты, мясные изделия. Картофель, хлеб и конфеты были, в основном, местного производства. Цены, как и на заграничные товары, «не по зубам». За базарчиком, по обе стороны тротуара, строем, до самого магазина промтоваров, стояли торговцы одеждой. Когда-то, в советское время, единственный базар, где продавали «шмотки», называли барахолкой. Теперь весь город стал такой барахолкой.

Эти торговки и торговцы посматривали на Каретова с интересом. Одет он был в чистую голубую куртку, в руках «дипломат», правда, старенький и потёртый, но кто знает, в каких кейсах, спасаясь от грабителей, которые «работают» теперь и днём, носят свои капиталы бизнесмены? У Каретова внимание продавцов вызывало грустную улыбку, он знал свою наличность с точностью до рубля. В левом кармане брюк, после того, как он купил проездной билет на автобус, у него осталось шестнадцать тысяч триста рублей. На две булки хлеба и на два пакета дешёвого молока.

На этот раз он прошёл дальше, чем обычно, и вдруг на щите, которыми был заполонён город во время выборов, и который, видимо, забыли убрать, увидел сохранившийся, хотя и порядком изодранный, фотоплакат: «Голосуй сердцем!» Стоимость такого стенда, Каретов знал это как специалист, колебалась от пятнадцати до пятидесяти миллионов рублей, в зависимости от размеров. На огромных фотографиях был изображён Президент — в компании с цветущими от счастья людьми. Или, как здесь, один, где он стоял в рощице, навалившись спиной на ствол берёзы. Можно подумать, что трезвый.

Проголосовали. Зарплата учителей всей России ушла на такую рекламу. Пособия по безработице пошли, вероятно, на выплату гонораров массе актёров, ко-

торые проехали с песнями, с концертами, от края и до края страны. Зарплата шахтёров, энергетиков и других трудящихся, которые ещё не перешли в разряд безработных, пошла, очевидно, на издание газет, в которых, не стесняясь махровой лжи, в выражениях, которым позавидовала бы баба, торговавшая пивом в «застойные» годы, оплёвывался основной соперник Президента на минувших выборах.

«Бог, вероятно, есть! — подумал внезапно Каретов, увидев лирическую картинку с Президентом. — Именно в сердце поразил он того, кто спекулировал на святых человеческих чувствах». Команда, которая всеми правдами и неправдами — неправдами, неправдами! — сохранила старого, бесконечно больного человека у руля гибнущей страны, была озабочена теперь лишь одним: продлить жизнь обречённому. Сделали операцию на сердце, теперь вот у него воспаление лёгких. «Надо меньше пить!».

А по телевизору ежедневно выступают юмористы, развлекаая обывателя, бичуя новые беспорядки, но не забывая мимоходом тонко намекнуть, что при коммунистах идиотизма было ещё больше, жизнь была хуже. Этим, что допущены на телевидение, на радио и к другим средствам массовой информации, им действительно живётся теперь лучше, потому что платят им в десятки раз больше, чем прежде. И они, некоторые из них, по крайней мере, искренне верят, что всем живётся хорошо. Человек так устроен, что, когда ему плохо, он кричит, что весь мир гибнет, а как только отпустило, так он уже не верит, что кого-то раздевают и насилюют, приставив нож к горлу.

У входа в серое здание центра занятости Каретов взглянул на часы и решил подождать на улице, чтобы не томиться в душных, тесных, набитых народом коридорах. День был солнечный и тёплый. Против двери, шагах в десяти от неё, в землю по кругу были врыты деревянные столбики, высотой от двадцати сантиметров до метра. Когда Каретов пришёл сюда в первый раз, то машинально пересчитал столбики — их было пятнадцать. Ему подумалось тогда, что это символы бывших союзных республик уничтоженного Советского Союза, больших и маленьких, вбитых в землю. Сесть на столбик мог и ребёнок, и двухметровый верзил. Но сейчас здесь сидел лишь один мужчина — лет тридцати с небольшим. По его по-собачьи просительному взгляду можно было легко понять, что он очень хочет, чтобы ему предложили подработать. Другие безработные, в ожидании удачи, кучковались близ проезжей части, откуда можно было заранее видеть возможного нанимателя. У них уже сложился свой круг, лица их Каретову примелькались, а сидевшего на столбике он видел впервые. Под неотрывным взглядом голодного человека — его, как и торговцев возле магазина, вводил в заблуждение «дипломат» Владимира — Каретов сел на подходящий столбик, подставив спину солнцу. Мужчина понял: работы не предвидится. Сник.

— Давно? — спросил Каретов.

— Три... месяца, — медленно произнёс незнакомец.

— Не получаешь пособия?

— Нет. Я с завода не увольнялся: обещают, что вот-вот будет заказ. Уволился б, если бы нашёл, куда податься.

Они помолчали. Каретов достал из дипломата газету, которую ему бесплатно дали местные коммунисты, стал читать о забастовке учителей. Как могут люди жить, не получая полгода зарплаты, Владимир представить не мог. На заводе рабочему не платят, так он туда и не ходит, где-то что-то подработает, а учитель ведь к школе привязан... Горькая судьбинка.

Не дочитав газеты, Владимир сунул её обратно в дипломат и пошёл в здание. Отношения со своей инспекторшей у него сложились хорошие, поэтому он негромко, чтобы не слышали две другие, спросил её:

— Вам-то хоть зарплату вовремя выдают?

Она оторвалась от экрана компьютера, посмотрела на него своими прелестными синими глазами, сказала, чуть помедлив и слегка притаив вздох:

— Пока — да.

Не было раньше безработных, и не нужен был такой центр, в котором на трёх этажах, напичканных компьютерами, сидят женщины и как будто бы решают проблемы людей, оставшихся без работы и без средств к существованию. И получают за это зарплату. Исчезни завтра безработные, ненужным станет и этот центр. И без дела останутся эти люди, необходимость которых вызвана плохим положением в государстве.

Точно так же милиция существует до поры, пока есть преступность и преступники. Чем больше будет воров и убийц, тем больше потребуется милиционеров, тем выше будут у них оклады. Врач останется без дела, если не будет больных. Профессия военного существует, пока есть угроза войны. Профессии, призванные обеспечить здоровье и безопасность людей в государстве, существуют до тех пор, пока и здоровье, и безопасность граждан не обеспечены. Сами того не подозревая, люди этих профессий не заинтересованы в том, чтобы в сфере их деятельности воцарился полный порядок. Вот почему так трудно создать благополучное общество и так легко разрушить созданное.

Пока инспектор искала подходящую работу для Каретова в списках вакансий, его занимали такие вот праздные мысли. Ещё он думал, что в нынешней ситуации, даже если найдётся подходящая работа, его не возьмут: кому нужен мужчина за пятьдесят, трезвый, честный и — о, горе! — достаточно умный, от которого трудно скрыть махинации? А кто сегодня не махинурует, не ловчит и не прячется от налогов? Только тот, кто не ловчил вчера и потому уже разорился.

Получив запись в карточку, что работы нет, и протолкавшись сквозь людской строй, Каретов вышел из душного помещения на улицу. Незнакомец всё так же сидел на столбике, провожая взглядами проходящих мимо людей без всякой надежды: день пошёл на убыль, и было ясно, что его нерастратенная сила никому уже не потребуется. Безработные, что были у дороги, тоже однозначно оценивали ситуацию этого дня и, сидя на корточках вокруг початой бутылки с красным дешёвым вином, о чем-то спорили.

Владимир постоял немного в раздумьях, что делать дальше, потом подошёл к столбикам и присел возле безработного, посмотрел на его чисто выбритое лицо с заострившимися от недоедания скулами, спросил:

— Ты ел сегодня?

От неожиданного вопроса тот сглотнул слюну, губы его дрогнули. Он опустил голову и сказал глухо:

— Я-то что? Жена с ребяташками...

— Возьми вот, — Каретов протянул ему приготовленную заранее десятирублевую купюру, — купишь хлеба и молока. Больше не могу, извини.

— Нет, — отшатнулся мужчина.

— Чего ж нет? Бери. Если появятся деньги — тоже кому-нибудь дашь.

Этот довод показался безработному убедительным: вроде займы взять, рука его дрогнула, но он всё ещё колебался:

— А твои как же?

— А мои... Я живу один, — Каретов кивнул на деньги, рука собеседника протянулась, ладонь коснулась ладони, и он взял купюру. Владимир поднялся, обронил негромко, не столько собеседнику, может быть, сколько себе, впервые до конца осознавая суть случившихся в стране перемен: — Сын у меня уехал, а жена умерла.

Каретов прошёл обратно мимо торговцев у тротуара, мимо базарчика и киосков, впервые обратив внимание, что здесь, где много пищи и людей с деньгами, совсем нет нищих, тогда как на центральной улице их можно видеть у дверей почти любого магазина. Торговцы не любят попрошаек и не подают? И у церковных дверей дежурят нищие — там подают, особенно хорошо в дни православных праздников. Вот ведь странно: церкви восстанавливаются, открываются новые, верующих стало больше, а жизнь стала не лучше, а хуже, зла в людях накопилось выше всех мыслимых пределов, насилие и произвол кругом и — ложь, ложь... Он оглянулся, посмотрел туда, где стоял щит с фотографией президента, но обнажённые ветви деревьев, словно решёткой, закрывали умилительную картинку.

Проходя мимо продовольственного магазина, Каретов приостановился напротив дверей, потому что увидел, как из тёплого, наполненного сытными запахами помещения выбирается инвалид. Лет десять назад его можно было видеть на центральном рынке сидящим в коляске со стопой старых газет на коленях. Он продавал их по две копейки забывчивым покупателям. Тогда он был ухоженным, выглядел сытым и довольным, шутил со знакомыми. Теперь же — Каретов обратил внимание — коляски у входа в магазин не было; ватная тёмная телогрейка, очевидно, не менялась с той поры, серая шапка, такая же замызганная, как и ватник, сбилась набок, делая асимметричным лицо. Он был бы сильно похож на Христа, если бы у него была борода, однако волосы на лице у него не росли. Но выражение этого лица оставалось прежним: открытым, по-детски наивным и удивлённым, почти блаженным, благодарным за то, что ему, человеку, даровано редкостное счастье пребывать на этой земле. Передвигался инвалид на своих тонких и кривых ходулях, негнувшихся в коленях, с развёрнутыми наружу ступнями, с помощью тросточки. Он медленно-медленно, наклоняясь на одну сторону, перетаскивал правую ногу через микроскопический порожек, потом переставил трость, навалился на неё, наклонился и переставил точно таким же образом левую. На ногах у него были парусиновые кеды фиолетового цвета с резиновой подошвой и ярко-красной окантовкой. Совершенно неподходящая обувь для зимы. Он медленно, придерживаясь свободной рукой за стенку, повернулся и освободил вход, возле которого стояли терпеливые покупатели.

Владимир затаив дыхание следил, как, пошатываясь, мучительно трудно двигался на непослушных ногах инвалид к своей, известной только ему цели.

«Вот он — символ сегодняшней России!» — ударило в сердце.

Каретов подождал, когда у светофора замрёт движение машин, перешёл улицу, остановился напротив танка Т-34, установленного на бетонном постаменте, и некоторое время бездумно смотрел на боевую стальную машину, построенную давно, во время войны, на деньги комсомольцев.

Воробьи на остановке безбоязненно прыгали у людей под ногами, посматривали вверх, на лица, выискивая любителей семечек или, на худой конец, человека, жующего хлеб. Владимир улыбнулся, припомнив картинку, увиденную на рынке: там осмелевшие синицы и воробьи атаковали с разных сторон продавцов семечек,

а другая стайка облепила мясной ряд и клевала «окорочка». Вот они-то уж точно выиграли от рыночной экономики.

Странно, думал Каретов, птицы ведь живут недолго, а кто видел, как они умирают? Никто их не хоронит, но мёртвые птицы нигде не валяются, куда же они исчезают? Может быть, они, безгрешные создания, вместе с душой возносятся на небо?

А человек? Плод любви, зачатый в грехе, рождённый в страданиях, каждый конкретный человек — явление необязательное, результат стечения многих случайностей. Родился Владимир Каретов, а мог и не быть. Могли не встретиться на просторной земле его родители, или, встретившись, могли не полюбить друг друга — и не было бы его, не было бы радостей и мучений, с ним связанных, и никто из знавших и любивших его людей не заметил бы пустого места среди них, никто и не подумал бы, что рядом кого-то не хватает. Или могли повздорить отец с матерью в тот день или час, когда на небе должна была загореться звёздочка Владимира, и, зачатый в другое время, родился бы кто-то другой.

Человек рождается необязательно, случайно, но обязательно, неизбежно умирает. А между крайними точками всего сущего, между точкой редчайшей случайности и точкой абсолютной закономерности, между рождением и смертью, для чего человек любит и ненавидит, радуется и страдает — для чего живёт?

Когда Владимир входил в подъезд своего дома, его остановил звук колокола:

— Бом-м-м!

Теперь, когда умер завод, производивший драги, заводы по добыче золота, а на его месте возникли торговые площади, дыма от заводских труб не стало. В чистом воздухе далеко разносился колокольный звон от Знаменской церкви.

— Бом-м-м! Бом-м-м!

И вслед этому строгому звуку залились перезвоном колокольчики.

Рождество!

Каретов должен был бы привыкнуть за десять лет — с тех пор, как разрешили религиозные праздники — к тому, что церкви напоминают прихожанам о Боге, но всякий раз при звуках благовеста он внутренне сжимался в тревоге: «О чём вещают колокола? Что ещё должно случиться?»

— Бом-м-м!..





## ТАТЬЯНА БЕЛЯВСКАЯ



### «Берёза в чёрном от корней до кроны...»

*Памяти Стрельникова А.И.*

#### Два кубка

Два полных кубка, что — двоим испить,  
Который год стоят передо мной;  
Сдуваю пыль, но жажду утолить  
Мне страшно даже каплею одной.

Они хранят не зелье, не вино,  
Не воду из таёжного ключа...  
Один — твоей, другой — моей виной  
Наполнены и... горестно молчат.

---

БЕЛЯВСКАЯ Татьяна Андреевна родилась в 1947 году в городе Орске Оренбургской области, откуда родители вскоре переехали в поселок Касьяновка Черемховского района Иркутской области. А в 1957 году отца по партийной линии направили в Братск, который стал для Татьяны, по ее словам, второй малой родиной. В 1970 году поступила в Иркутский педагогический институт иностранных языков. С 2010 года руководит студией «Метафора» во Дворце творчества детей и молодежи, работает с юными литераторами. В 2006 году вышла первая книга стихов «Рябиновый свет», через десять лет — сборник рассказов «Вечерами зимними...». В 2020 году она издала пятую книгу, переработав свой сборник гражданской и любовной лирики «Сердцем слышу», вышедший в Новокузнецке два года назад. Теперь здесь не только 4 раздела стихотворений, но и раздел прозы, в котором напечатан в числе прочего отрывок из будущей повести «Колодец». Член Союза писателей России. Живёт в Ангарске.

## Берёза

Здесь всё не так. И лес другой,  
И мир осенний не такой,  
С каким я жаждала заветной встречи.  
Сластит горчинка в аромате  
Духами траурного платья...  
Печали полон ранний вечер.

Но почему? В любимый цвет  
Мой лес по-прежнему одет:  
Янтарно-рыжий в кружеве зелёном.  
И ветви соком налитые,  
И листья всё ещё густые —  
Так дивны в золоте червлёном!

Ответа всюду ищет взор.  
И вдруг — земли немой укор:  
«Берёза в чёрном — от корней до кроны»  
...Два деревца стоят за нею,  
Шумят себе и зеленеют,  
Не ведая, что значит этот чёрный.

Пожар в лесу прошёл весной,  
Промчался низовой волной.  
Огня берёзе больше всех досталось.  
И всё-таки она смогла, сумела  
Детей закрыть горящим телом...  
Теперь вся чёрною казалась,

Их обнимая, улыбалась,  
И колыбельную им пела...  
Я прошептала: «Небо, сделай  
Берёзку нашу снова белой!».  
И вороньё в ответ расхохоталось...

\* \* \*

Горят фотографии. Чадно горят.  
Огонь пожирает белый наряд:  
Шикарное платье, кулон и фату...  
А вместе с фатой — голубую мечту  
Девчонки, что думала только всерьёз  
О верности, счастье... о доме без слёз.  
Огонь пожирает и чёрный пиджак  
На парне, что трогает бережно так  
Невесту наивную за локоток...  
Далёкого счастья пылает поток.

«Но это безбожно! Не надо! Нельзя!» —  
Шепчу, и от «дыма» слезятся глаза.  
Конечно — нельзя, несомненно — грешно!  
На память оставить их детям бы, но...  
Сейчас очень больно, бездумно и зло  
Кромсает мне душу измены стило.  
...Всё! Корчится пепел на чёрном стекле!  
«Правá, не правá» — оставайтесь в золе!  
Мне сильной и трепетной надо бы стать  
И душу от пепла любви опростать...

\* \* \*

Вновь сердце истерзано в клочья, Душа — перекрёсток ветров: Опять ты привиделся ночью, И скрылся... среди облаков...	Зачем ты занозой под ноготь Врываешься в слаженный быт? Я что, не укушенный локоть? И это тебя бередит?
Ну, что тебе надобно, милый? Зачем растревожил меня? Давно к тебе — лёд я остылый, В озябшей душе нет огня.	Привыкнуть пора к новой жизни!.. Сегодня, ничуть не скорбя, Над Прошлым отпраздную тризну! Не верь... Я умру без тебя.

\* \* \*

Что листья клёна навевают мне в окно?  
А тихий шлёп дождя по чистому стеклу?  
А ветер — в тюле заблудившийся шалун?  
Что, право, донести до сердца им дано?

Невзрачный топиамбур до окна дорос,  
И солнышком земным приветствует меня,  
Качается, трепещет — лепестки звенят.  
«Да могут ли они звенеть?» — в душе вопрос.

Из плена отрешённости ищу ответ...  
А паутинка между веткой и землёй  
К руке прильнула радужной струной,  
И целый мир заговорил со мной,  
Мелодии даря и животворный свет!

Всё звуками «Я здесь!», «Я есть!» напоено.  
Их слушаю недвижно, чуть дыша:  
Аккорд, другой и, сделав смелый шаг,  
Летит душа!.. Открой и ты своё окно.





ГЕННАДИЙ ЕФИРКИН



## Ностальгия

РАССКАЗЫ

«Помни, Родина...»\*

«Помни, Родина, нас всех, кто погиб невинно,  
будь милосердна и возврати нас из небытия»

*Надпись, сделанная в районе Пивоварихи под Иркутском  
на разломленной гранитной плите памятного мемориала  
на месте массового расстрела крестьян-единоличников  
в феврале — марте 1938 года.*

---

ЕФИРКИН Геннадий Витальевич — прозаик, эссеист. Родился 17 августа 1954 года на прииске Светлом Бодайбинского района Иркутской области. Учился в Иркутском политехническом институте. Работал инженером-геофизиком, организовывал горные походы и восхождения со школьниками на вершины Саян (Мунку-Сардык), Хамар-Дабана (пик Черского). Окончил Ленинградский государственный университет, спецфакультет «Экология, социология, психология». В 2010 г. номинирован на звание «Человек года» Республики Бурятия. Рассказы публиковались в журналах «Южная звезда» (Ставрополье), «Байкал» (Улан-Удэ), «Ангарские ворота» и др. Живет в Иркутске.

---

\*Рассказ написан на основе реальных событий.

Было далеко за полночь. Стояла морозная лунная ночь конца января 1938 года. Небольшое, в одну улицу, крестьянское село Успенское, относящееся к Новолетниковскому поселковому совету, находилось в тридцати пяти верстах от города и железнодорожной станции Зима...

...Стук в замерзшее окно был почти не слышен. Но Полина, не спавшая уже которую ночь, сразу же подхватила и в тапочках, накинув старенькую шаль, выскочила в сени.

В ярком лунном свете у крыльца, навалившись на стену дома, стоял человек. Изорванные лохмотья зимней одежды, на ногах какое-то подобие ичигов, обмотанных бечевками, и последней изношенности старая шапка — все было покрыто слоем инея. Белый куржак покрыл усы и бороду. Протянув к ней руки в каких-то обмотках вместо рукавиц, человек хриплым, глухим голосом произнес:

— Поля, ты меня не признала? Это я, Михаил, сосед ваш, через дом...

— Ой! Дядя Миша!? Вы откуда такой? Вас и не узнать-то сейчас, — зачастила она и тут же, спохватившись. — Пойдемте скорей в избу! Холодно же!

Весь белый, человек сделал два шага в сторону дверей и вдруг, остановившись, со стоном медленно сполз по стене...

— Дядя Миша, дядя Миша, что с вами?.. Бог ты мой! — она попыталась поднять его. Но силенок не хватило. Опрометью бросилась в дом и приглушенным голосом позвала:

— Тятя, тятя, помогите!

Из-за занавески, которая отделяла просторную прихожку от спальни родителей, показалась всклокоченная голова.

— Чего шумишь, оглашенная, разбудила... — раздался голос отца.

— Там дядя Миша, сосед наш, упал и не может войти.

— Михаил!? Откуда он?

Полинкин отец, Прохор Евстигнеевич, еще не совсем проснувшийся, вышел в прихожую. В белом исподнем, с бородой, большого телосложения, в свете ночной лампы под образами над кухонным столом, он напоминал сказочного богатыря из добрых русских былин. Накинув валенки, сразу же выскочил на улицу. Полинка попридержала дверь, и Прохор, как малыша, легко занес соседа в избу и положил на широкую лавку у стены.

— Легкий-то какой! — произнес Прохор, и тут же: — Да он же весь замерз! Полинка, быстро носи снега!..

...Через полчаса пришедший в себя Михаил, отогретый и одетый в теплую овчинную душегрейку, суконные штаны, в теплых просторных валенках только что с печи, сидел за большим кухонным столом. Обмороженные места на руках, ногах и на исхудавшем до последней степени лице были густо смазаны гусиным жиром. Волосы на голове, борода и даже усы у Михаила оказались неожиданно все седые... Керосиновую лампу зажигать не стали. Не из-за того, что керосин был на строгом учете, и его постоянно не хватало. А чтобы этим светом в окошке не привлекать постороннего внимания. Хоть деревня и была небольшой, но о том, что человек, арестованный и увезенный оперуполномоченным в Зиму две недели назад, вернулся, знать пока никому не надо было. Времена общественной жизни стояли лютые...

...Насытившись теплой кашей из еще не остывшей русской печи и картошкой в мундире, допивая третью чашку чая с сибирской заваркой — чагой, сосед, Михаил Чирков, начал свой жуткий рассказ...



... — Расскажу вам, соседи, все как было. Приготовься, Прохор... и ты, Поля, приготовься...

...Полинка вся сжалась, и темные круги под ее глазами стали еще резче. Прохор же, как опустил свою всклокоченную голову к столу, так больше ее и не поднимал...

— Нас тогда с вашим Петром опер сразу-то и не довез до Зимы... В Новолетниках (8 верст от Успенского) у него зазноба оказалась — Таньки Мирошниковой дочка... Знаете?

Голос Михаила был застуженным, хриплым. В бронхах при вдохе и выдохе раздавалось сипение. Видно было, что рассказ дается ему с трудом. Он часто останавливался, стирал со лба пот, оглядывался на Полину, на Прохора. И продолжал...

— Подъехал он с нами в Новолетниках к ее дому. Тут они все и высыпали на улицу, Мирошниковы-то. Сам хозяин, Танька с дочкой, сын их. Кланяются все этому оперу. Выказывают радость перед властью...

Нас с вашим Петром заперли в бане, чтоб не сбежали, а опер напился у Мирошниковых. Там и уснул. Это нам их парень сказал, когда приносил по куску хлеба. Он и дров поднес, когда попросили. В ту ночь мы последний раз не мерзли...

Тут у Михаила выступили на глазах слезы и, судорожно проглотив комок, появившийся в горле, отхлебнув горячего чаю, он продолжал.

— С утра тоже не торопились. Пока наш властитель похмелился как следует, пока запрягли коня в розвальни, пока провожали хозяева, все время кланявшиеся оперу...

...В общем, в Зиму мы приехали под вечер. Отвез он нас к городской тюрьме и сдал под расписку дежурному наряду. Те уже под конвоем, двое с винтовками, увели нас во второй корпус в камеру. Народу в этой камере было — тьма! И во всех остальных было так. Мы там только-только и могли присесть. А лечь места не было. Но это и хорошо! Печи-то не топились. Холод стоял собачий. Немного грелись, только когда прижимались друг к другу... Всю ночь к нам в камеру всё добавляли и добавляли арестованных. Были почти со всех деревень поблизости от Зимы. С Новолетников под утро привезли четверых. С утра принесли только попить на всю камеру два ведра воды! А нас там было битком! Едва по паре глотков и вышло на человека... И весь день больше — ничего, ни еды, ни воды... Правда, раз выводили всех во двор на переключку. Там хоть снега наглотались.

Следующей ночью, примерно часа в два, к тюрьме прибыла рота охраны из красноармейцев, и нас всех между двумя цепями солдат погнали на чугунку, на вокзал. А там, как каких-то преступников и убийц, заставили долго сидеть на корточках с руками за головой на площади у вокзала. А кто вставал, в того сразу стреляли! Когда застрелили второго — уже никто не вставал. А те, застреленные, так и лежали среди нас...

Вот тут я и увидел тебя, Полина. Видел, как ты бегала за цепью солдат и кричала своего Петра. До этого-то мы были вместе, а тут на привокзальной площади нас разъединили. И я уже не видел его! Но если он и видел тебя, то и откликнуться-то не мог — тоже стреляли, в воздух...

...Михаил замолчал, неподвижно уставясь взглядом в едва начинавшее светлеть кухонное окошко. Потом, посмотрев на Полину и тяжело вздохнув, продолжил...

Полина, вся в напряжении, ловила каждое слово дяди Миши и боялась уже спросить про своего Петра. Ее природное женское чутье уже больше недели назад не давало ей уснуть... Сердце сжималось от невыносимой тоски и одиночества! С тех пор и пропал сон... Днем-то еще в нескончаемых крестьянских хлопотах по двору, на кухне или в горнице выбирала моменты, присаживалась и забывалась на несколько минут... А вот ночи стали каторгой... И все эти ночи перед глазами стоял Петр и звал, звал куда-то рукой...

Когда уполномоченный увез ее Петра с соседом, она была в отлучке, ездила со свекром за сеном на дальний покос. На следующий день, не найдя себе места, она уговорила свекра дать коня с санями. Прохор, в душе добрый человек, не отказал, и они с дочкой Марией, которой пошел девятый год, выехали в Зиму попытаться выяснить судьбу арестованных. Новолетники, чтобы не задерживаться, объехали стороной. В Зиме, у родственников выяснилось, что всех арестованных крестьян свозили в тюрьму и, по слухам, ночью должны увезти куда-то поездом... До сих пор у нее в глазах стояла картина: в слабом свете отдаленных фонарей и нескольких костров сотни, сотни крестьян на коленях с руками на затылках! И крики охраны, которые стреляли без предупреждения. И выстрелы!..

Полинка с Машей тогда металась вдоль цепи, пыталась разглядеть и позвать Петра, но озверевшие в буденовках пригрозили пристрелить и ее. Потом...

— Подогнули поезд — глухим голосом продолжал Михаил. — Нас, будто скотину, погнали к вагонам, в товарняк. Пинали! Руки, ноги-то затекли: долго сидели. Били прикладами. Кого и штыком подгоняли. Может и видел тебя тогда Петр, не знаю... Я — увидел. Когда в вагон поднимался...

...Полинка тогда кинулась к солдатам оцепления и отчаянно закричала: «Пе-е-тя-я-а!!». И упала, сбитая прикладом на снег. Вскоре раздался пронзительный гудок паровоза, и состав тронулся. Дочка плакала навзрыд, обняв мать... И все... Она не помнила, как дочка довела ее тогда до родственников... С того времени и потеряла сон.

...А Михаил продолжал:

— В Иркутске нас всех, опять же, как последний скот, выгнали из вагонов и уже под утро, долго гнали куда-то через весь город... Я-то там бывал всего два раза и не знал толком, но мужики сказали, что пригнали нас на окраину в какую-то Пивовариху. Там были длинные склады. Вот в эти пустые склады всех и загнали. Нас было однако не меньше тысячи... Всех — в эти склады, сделанные не из бревен даже, а из толстых досок-горбылин.... Морозы в те дни были сильные, и на вторую ночь, у кого не было зимних полушубков, насмерть замерзли... Нас заставляли вытаскивать их и складывать на повозки... куда увозили, я уж потом догадался... Меня спас мой полушубок, да теплые ичиги на ногах. Тут нам даже воды не давали. Жутко стало...

На следующую ночь прибыла еще одна партия, однако, человек с полтысячи... и всех в эти склады....

Самое страшное началось в третью ночь... Стали куда-то уводить, примерно по сотне человек. Окруженные со всех сторон армейцами в полушубках, валенках и меховых шапках, мы долго шли по лесной дороге. Когда повернули направо, почувяли запах дыма. Мы все дни, как земляки, держались с Петром вместе. Вскоре увидели и костры. Их было много. У костров везде стояли солдаты с винтовками. Нас погнали за эти костры, и там мы увидели длинный и глубокий ров. Всех разогнали вдоль этого рва.

И тут стало понятно, что нас пригнали сюда убивать! Жутко стало!! Как? Вот сейчас, этой ночью(!) ...нас всех и не станет?! Кто-то завыл диким голосом... Большинство же стояли тихо. Опустили головы, крестились и шептали молитвы. Я уже ничего тогда не понимал... За что меня арестовали? За что убивают?! Лошадь, да две коровы. Ну, плуг свой есть. Но как без плуга-то на наших землях...

А они, наши палачи, солдаты со звездами на лбу, на этих ушастых шапках-буденовках, были нервные, особенно командиры. Выстроились в цепь против нас, совсем близко. Я услышал команду:

— Приготовиться!..

Потом раздалось: «Целься...» Я знал, что сейчас будет последняя команда «Огонь!», и как-то автоматически, за секунду до нее, начал падать спиной в ров... Уже падая, слышал гром выстрелов! Ударился внизу обо что-то мягкое: в темноте-то мы не видели, что там было во рву... Оказалось, там были уже трупы, слегка присыпанные снегом. Только приподнялся — на меня начали падать сверху убитые, с которыми только что стоял. Они сбили меня, и я лежал под ними. А они все еще дергались, и чья-то кровь мне заливала лицо и капала за воротник. Но я не шевелился! Лежа лицом вниз, может под твоим Петром...

Михаил посмотрел отсутствующим взглядом на Полю.

— Через минут десять услышал, как те, кто стрелял, подошли к краю рва... стало светло от их факелов. Слышу, кто-то из них нервно сказал:

— Щас удачно стрельнули. Смотри, никто не дергается...

Кто-то ответил:

— Да кто и остался еще ранетый, все равно скоро замерзнет. Достреливать не будем...

Потом сыпался сверху снег. Это нашу партию расстрелянных прикидывали снегом...

Я лежал и не шевелился еще долго... Пока перестал слышать голоса сверху. Потом начал выбираться. Если бы еще пролежал с полчаса, однако бы вообще не встал. Руки и ноги сильно заоченели. Освободился от двух мертвяков на мне. Они пока остывали — не дали мне совсем замерзнуть. Выбрался из-под них, приподнялся, выглянул изо рва. Вроде никого. «Наверное, все ушли» — подумал я. Много раз падал, пока вылез оттуда. Подошел к дымящимся еще головешкам костров. Удалось один раздуть... Рядом нашел немного заготовленных дров. Согрелся и все ел и ел снег... Со страху что ли? Ну и воды не пили мы давно. Просидел там до рассвета.

Сидел и часто засыпал... Раз даже упал на костер. Но успел потушить полубок, и ичиг один прожег. Вот только рукавицы подпалили хорошо...

...Когда рассвело, понял, что надо уходить. Прятаться. Так лесами и пошел. Примерно знал, что надо по ходу солнца. Да и чугунок помогала. Слышал поезда, далеко от нее не уходил... Иркутск обошел с севера, со стороны Качутского тракта, Ангару перешел ночью. Да и шел только по ночам. Днем боялся... Ночью же и подходил к поселкам. И на краях поселков, в банях или в слуховых окнах амбаров почти всегда находил кусок хлеба. Слышал, что так всегда было у нас заведено для беглых. Вот такая доброта людская и не дала помереть с голоду. Грелся днями, забившись в зароды или стожки сена. Там не замерзнешь. Хоть и были спички, огонь разводиться боялся — поймают. Так почти десять ночей по тайге и шел. Через силу... Тут уже поближе, хоть и много родни в деревнях, все равно не заходил ни к кому. Вдруг кто увидит... Потом и их чего доброго заберут...

...Михаил замолчал. В доме стояла предрассветная жуткая тишина... Лишь пара сверчков вела свою песню за большой русской печью, да зашипел фитилек лампы под образами, там заканчивалось масло. Прохор встал, и уже не выпрямляясь, сгорбившись, сделал два шаркающих шага к иконам...

Помни, Родина...

## Ностальгия

Летом 1990 года передо мной распахнулся весь мир! Везение это было или нет, но именно летом 90-го, перед самым началом общественных катаклизмов в нашей многострадальной стране я оказался в Великобритании. Как в шутку и с гордостью после выразился в письме мой отец — «в самом логове империализма!».

Перед этим была увлекательная полудетективная история со знакомством с известным английским писателем, экологом и путешественником Джоном Стюартом осенью 1989 года на Байкале. Я пригласил его ко мне домой в Бурятию, с почти двухнедельным сопровождением у себя в Еравнинском районе, в Улан-Удэ, по республике и по Иркутску. И уже зимой получил два вызова: один частный — посетить Англию на лето 90-го года, второй — на участие в IV Всемирном конгрессе в Шотландии с темой доклада «Проблемы перестройки образования в Бурятской АССР». И, вместе с тем, то, как я выбирался тогда из нашей страны — начальная часть той эпопеи, описанная в моих дневниках, была тогда опубликована в нашей районной газете «Улан Туя» под общим названием «Тяжёлый путь за границу».

Вторая часть путевых заметок, называвшаяся «Встречи на Туманном Альбионе», рассказывала о почти месячном одиночном путешествии по Великобритании: Лондон, Манчестер, Оксфорд, Ливерпуль, Бари, Шеффилд, Харрогейт, Глазго — вот основные города, где я знакомился с их историей, достопримечательностями, культурой и образованием, причём как со школьным, так и университетским. Посещения университетов, многих школ, частных сельскохозяйственных ферм, восхождение с английскими альпинистами по вертикальным скалам в горах Шотландии, встречи с незабываемыми людьми — чего только не устроил мне Джон при составлении программы моего пребывания в его стране. Помню, на его предварительный запрос в письме «Гена, что бы ты хотел увидеть в Англии?» я ему тогда ответил: «Всё!». И везде мне помогали, сопровождали, встречали и провожали друзья и знакомые Джона. А насчёт общей культуры, например, могу сказать следующее. В первые дни в Лондоне я никак не мог понять, почему люди, с которыми у меня пересекались взгляды, просто дружелюбно мне улыбаются? Это было таким резким контрастом после Москвы, из которой выехал несколько дней назад, что становилось не по себе. Но когда, наконец, до меня дошло, что это просто общая культура, прививаемая им чуть не с молоком матери, мне стало так легко!..

...Словом, если у читателей возникнет желание узнать всё о том невероятном с множеством приключений путешествии, я готов рассказать о нём теперь уже даже гораздо подробнее, чем тогда в своей районке. Поручкой тому мои дневники и моя память... А пока, опустив тысячи подробностей, приблизимся к цели этого рассказа.

...К концу июля того года, отпутешествовав уже почти три недели, я наконец прибыл в небольшой и чистейший шотландский курортный городок Харрогейт,

где и состоялся IV Всемирный конгресс Советских и Восточноевропейских исследований. Ученые всевозможных направлений почти из всех стран мира в четвёртый раз с периодичностью в четыре года собирались поделиться информацией и обсудить непонятный для них «советский» образ жизни. Благодаря начавшейся у нас перестройке в конгрессе приняла участие и небольшая делегация из существовавшего последний год Советского Союза.

...Я погружаюсь в тот день приезда в Харрогейт, и вижу себя на привокзальной площади, оживленно разговаривающего с двумя пожилыми женщинами, с которыми только что познакомился в своём вагоне. Они тоже ехали на этот конгресс. Я уступаю им очередное такси...

...Но, нет! Если рассказывать всё по порядку даже с этого момента, то я не скоро доберусь до цели своего рассказа. Опустим два дня начала конгресса, хотя они по своей яркости и насыщенности достойны подробных рассказов. Начнём с третьего, не менее насыщенного и не менее яркого...

...Итак, третий день конгресса шёл полным ходом. В многочисленных секциях читались доклады. Всего за шесть дней их было прочитано около тысячи шестисот (!) по всем абсолютно аспектам нашей жизни: экология, социология, этнография, журналистика, медицина, культура, образование — всего не перечислить. Представляете, как я метался между секциями после своего доклада о проблемах перестройки образования в Бурятии, который прочёл в первый же день благодаря моему Джону, чтобы успеть послушать, зафиксировать всё, что меня заинтересовало в программе конгресса!

Что интересно, и как это ни парадоксально звучит, за время его проведения я узнал про свою страну больше, чем за всю учёбу в двух её вузах, в Иркутске и Ленинграде! Так скрупулёзно и достоверно изучали её иностранные учёные. Например, этнографы из Джорджтаунского университета, супруги Балзеры, Марджори и Харли, мои новые знакомые, прожили шесть(!) лет в стойбищах якутов, изучая их быт и культуру. Мой доклад, кстати, тогда был принят аудиторией прекрасно, и я получил приглашение от представителей шести университетов в Великобритании повторить его у них. Это удалось сделать только в двух, лондонских, так как у меня был заранее куплен обратный билет до Москвы, и даже из Москвы до Улан-Удэ. Был уже конец июля, и в моей родной Еравне приближалось время сенокоса, а это для всех живущих на селе крестьян, как для мусульман священный месяц Рамадан — основа жизни!..

...Снова меня куда-то заносит и уносит. Простите, пожалуйста. Всё! Ближе к теме.

...Под вечер того дня, уже изрядно перегруженный информацией, знакомствами и впечатлениями в гигантском конгресс-центре, на втором этаже, возле эскалаторной лестницы я встретил доктора Морисона, председателя конгресса. Именно он и прислал мне официальный вызов-приглашение прошлой зимой. И тут, как у нас говорят, мне ударил «бес в ребро»! Поздоровавшись и представившись, я вежливо сказал ему следующее.

— Уважаемый доктор Морисон, если Вы не будете против, я могу попеть песни под гитару для всех гостей. У себя на Родине ни один мой горный поход не обходился и не обходится без гитары. Я люблю песни наших бардов: Высоцкого, Окуджавы, Визбора, а многие участники вашего конгресса, как они мне рассказывали, учили русский язык по их песням. Гитара есть, её привёз из Лондона по моей просьбе мой и ваш друг Джон Стюарт. — С добрым и открытым лицом,

седой шевелюрой и большими толстыми очками на глазах, излучавших тепло и доброжелательность, мистер Морисон переступил смущённо с ноги на ногу, перебрал трость в руках и, сделав жевательное движение губами, вежливо произнёс:

— Хорошо. Я дам Вам время в баре. Даже два вечера... Хорошо заплачу.

Меня сразу как ледяной водой окатило!

Как? В баре!? Я бывал уже в этом огромном баре конгресс-центра: каждый вечер кто-то из иностранцев обязательно приглашал туда пообщаться в неформальной обстановке за кружкой хорошего пива. Им всем было интересно поговорить с непосредственным носителем непонятого им советского образа жизни. Я не отказывался и видел и слышал, какой шум и гвалт стоял в огромном зале того бара! Там разрешалось даже курить, и сизый дым витал над всеми многочисленными столиками, за которыми сидел учёный народ со всего света. И никто не слушал, да и не смотрел, что творилось на небольшой сцене, кто там выступал, пел или играл на каком-нибудь инструменте... Вроде всем все было ясно: люди были заняты общением между собой... А песни под гитару ведь надо слушать! И потом — мне показался оскорбительным вопрос о деньгах: до этого ни разу в жизни ни с кого и никогда я не брал никаких денег за полёт души.

И я наотрез отказался. Слегка смущенный, добрейший доктор Морисон, чем-то неуволимо мне напоминавший нашего доктора Айболита из наших лучших в мире мультфильмов, пожевав снова губами, со вздохом произнёс:

— Ну, хорошо! Я дам вам Main Hall (главный зал — зал пленарных заседаний). Завтра, 24 июля, на 40 минут, с 21-20 до 22-00. Больше не могу, так как зал закроется на уборку. Вас это устроит? — добрейший свет и тепло увеличенных диоптриями глаз «доктора Айболита» снова осветили меня всего.

— Да. Конечно. Благодарю Вас! — ответил я, пожав ему руку, и тут же спросил.

— Вы разрешите повесить объявления?

— Хорошо. Только, пожалуйста, не запачкайте стёкла, где будете их клеить. — И мы расстались.

До вечера я написал фломастером объявления на ксероксных листах и закрепил их скотчем на нескольких входных стеклянных дверях конгресс-центра. В них сообщалось, что сегодня во столько-то состоится концерт гитарной песни советских бардов (перечислялись основные), и что вход всем желающим — свободный. Вернувшись на такси в пригородную гостиницу, я постучался в номер своего друга Джона и радостно, с детским восторгом, ему сообщил:

— Джон, мне завтра вечером дают Main Hall! Буду петь песни! — Когда до него дошёл смысл сказанного, его слегка вытянутое типично шотландское лицо вытянулось ещё больше, мохнатые белые брови-венички поползли вверх, а в больших добрых глазах отразился неподдельный ужас! Он схватился руками за голову, соскочил с кресла и забегал по номеру из угла в угол, причитая:

— Мэин холл! Гена, ты с ума сошёл!

И эту получившуюся произвольно рифму на плохом русском он повторял снова и снова все более трагическим тоном, пока я его не остановил.

— Джон, ты чего так переполошился!? Не беспокойся! Я выступал на многих фестивалях бардовской песни. И всё было хорошо! Успокойся. Завтра тоже будет всё хорошо, вот увидишь.

Кое-как приведя моего бедного пожилого друга в более-менее нормальное состояние, и еще раз заверив, что всё будет в норме, я просидел в своём номере над



программой концерта до полуночи. Нужно было выбрать из гигантского репертуара (более четырехсот песен) лучшие из лучших...

Не знаю, спал ли в ту ночь мой Джон? Может он ругал себя примерно так: «И зачем я связался с этим Геннадием? Вот опозорится он завтра перед всем миром! И меня заодно опозорит! Вот бесшабашный! Ну и пел бы, как до этого, каждый вечер, в вестибюле гостиницы, собирая к полуночи «большой цыганский табор» из любителей гитары! Вон и соседка моя, молодая Барбара из ФРГ, и полячка с нашего этажа, журналистка кажется, без ума от его песен. Так нет! Всем он, видите ли, хочет петь! Надо ему на с-с-цену! И на какую?! Мэин холл! Ой-ё-ё-ё-о-о!»). Для справки: этот зал по своим размерам превосходил такой же зал в КДС (Кремлёвский дворец съездов). Так он думал или не так, не знаю. Но думаю, что примерно так.

Утром, после завтрака в ресторане гостиницы я быстренько исчез до вечера, чтобы своим видом не напоминать Джону о моём предстоящем и неизбежном — как ему казалось — провале. Но оставил ему записку с просьбой, чтобы он забрал гитару у портье: не таскаться же с ней целый день по конгрессу; у Джона была своя машина, на которой он и приехал на конгресс из Лондона. И привез по моей просьбе при очередном телефонном разговоре гитару своей дочери Джулии. День пролетел незаметно. Тогда же я случайно (?) познакомился с Галиной Старовойтовой, только что прилетевшей на этот конгресс. Позже мы неоднократно с ней виделись и подолгу общались, как на конгрессе, так и в Ленинграде-Петербурге, депутатом от которого она была в высшем органе представительной власти в Москве. Должен сказать, что женщины политика в нашей стране такого уровня я больше не видел. Но это так, к слову. Не к политике.

Подошёл вечер. И в 20-30 по Гринвичу, как условились, мы встретились с Джоном у входа в зал пленарных заседаний, из которого доносилась приятная оркестровая музыка. С ним оказались также и молодые женщины, участницы конгресса: немка Барбара из ФРГ и полячка-журналистка.

Поздоровавшись и взяв из рук Барбары гитару, я сопроводил всех на редкие незанятые места второго яруса гигантского Мэин Холла. Здесь на открытии конгресса мы сидели с Джоном четыре дня назад и слушали всяких знаменитостей, начиная от премьер-министров и кончая мировыми учёными в разных областях. Сейчас же на сцене играл ирландский национальный оркестр. Причем играл произведения Хачатуряна!

Посидев какое-то время с моими друзьями и послушав прекрасное исполнение, я вдруг поймал себя на мысли, что не знаю, как попасть на сцену, где играл оркестр! Объяснил это Барбаре, и она согласилась помочь мне отыскать выход на сцену среди многочисленных коридоров и переходов. Пробравшись через эти коридоры, нашли. Оркестр гремел за кулисами прямо передо мной. Барбара, пожелав мне успеха, ушла, и я остался один. Один из операторов сцены приветливо, с улыбкой помахал мне рукой и даже показал весь зал на многочисленных экранах-мониторах. Отыскав на одном из них Джона с полячкой-журналисткой и проходившую на своё место Барбару, я успокоился. Но лёгкий мандраж, извините — волнение, внезапно появившееся за сценой, почему-то не уходило. Проверил настрой гитары — показалось, что вроде немного фальшивит!? Побежал вниз по переходам и там, где было потише, проверил снова — всё в порядке!

Тут объявили последний пятиминутный антракт для оркестра, и они все, в красивых национальных костюмах, вышли ко мне за кулисы. Я робко подошёл

к невысокого роста, пожилому, с огромной вьющейся курчавой шевелюрой дирижёру с палочкой, и, поздоровавшись, попросил объявить после того, как они закончат, что сейчас будет для всех зрителей петь песни советских бардов парень из СССР. «Это на всякий случай, — решил я, — вдруг большая часть людей не увидела тех моих двух-трёх маленьких объявлений».

Но что он говорил обо мне целых пять минут, когда концерт закончился и оркестранты выходили со своими скрипками, неся пропиты с нотами, я до сих пор не могу вспомнить! Вероятно, от волнения перед выходом я ничего не слышал из его длинной речи! Только сжимал вдруг сразу вспотевшей правой рукой гриф семиструнной гитары, а левой начинал уже сминать лист ксероксной бумаги со списком выбранных песен! «Когда же он закончит!!».

Наконец один из операторов сцены отодвинул немного в сторону занавес, и я увидел дирижёра, делающего мне пригласительный жест рукой! «Господи!..» — произнёс я про себя и на ставшими враз ватными ногами я вышел на середину сцены. Услышал приветственное рукоплескание. До этого я старался смотреть только под ноги, а тут взглянул в зал. Вместо зала я увидел огромную черную яму! И это было со мной впервые! Рядом крутились операторы сцены: поставили стул, положили на него список песен, настроили микрофоны и ушли...

Помолчав какое-то время и так и не уняв сильного сердцебиения, я хриплым голосом поздоровался с залом и объявил первую песню моего небольшого концерта. Песню Саши Заиграева из Улан-Удэ. И начал...

*Я не буду лукавить  
Где триумф,  
где позор.  
Неистертая память  
Нас стреляет в упор.  
  
Но презревшие раны,  
Свято веря в мечты,  
Мы всё строили планы,  
Но пустые карманы  
Оставались пусты...  
  
Были праздники реже,  
Ну а люди честны.  
И все жили надеждой  
До и после войны...*

И тут — заклинило! Вылетело из головы начало второго куплета!!! Я замолчал!! Проглотив комок в горле, взял один из микрофонов и тихо произнёс:

— I am sorry. May I shall begin again... (Извините. Можно я начну сначала...) — в зале раздались аплодисменты!

Именно эти ободряющие аплодисменты и вернули мне моё обычное самообладание на концертах! И он прошёл на одном дыхании! Когда прозвенели последние аккорды «Песни о друге» Володи Высоцкого, я уже спокойно взял микрофон и после аплодисментов, поблагодарив всех за внимание, объявил, что концерт закончен и что зал закрывается на уборку.

И тут к сцене стали подходить люди и спрашивать о том, нельзя ли еще послушать песни! Мгновенно поняв, что это, наверное, желание многих слушателей, я снова схватил микрофон и объявил:

— Всем, кто хочет ещё послушать песни советских бардов, просьба спуститься на второй этаж в зал секции «Образование и культура»...

А сам с гитарой в руке по уже знакомым переходам за сценой почти бегом побежал к дверям названного зала и поставил перед его входом гитару. Именно в нём, вмещающем примерно до трехсот человек, я и делал свой доклад два дня назад...

Довольно быстро зал заполнился. Принесли даже стулья из соседнего. Джон с попутчицами сел в углу, уже спокойно и ободряюще мне улыбаясь. Среди публики я видел людей разного возраста, от почти стариков до молодых. Некоторые были даже с детьми. Помню, вначале я спросил всех о том, какие темы бы они хотели услышать в песнях? Мне ответили:

— Пой всё, что ты знаешь! Всё, что помнишь!

Примерно в 22-30 я начал.

Время 23-00 — концерт продолжается.

Время 23-30 — концерт продолжается.

У меня начинает садиться голос. Кто-то из зала быстро сходил в бар и принёс кружку пива: «Промочи горло»!

Время 24-00. «Пой, пой всё, что ты помнишь!» — чуть не мольба в голосе и глазах. И я пою. Пою свои родные, геологические, пою туристские, пою народные. Перебираю любимых бардов Аду Якушеву, Юру Визбора, Володю Высоцкого, Булата Окуджаву, Клячкина, Дольского, Суханова... всех!

Время 00-30. Внимание в глазах людей не ослабевает! В зале по-прежнему — тишина. Лишь мой уже изрядно подуставший голос, да аккорды гитары...

Время 01-00. Люди не отпускают! Я — не эстрадный певец. Не какой-нибудь великий гитарист. Я просто люблю гитару и люблю песни под неё. К тому же я — самоучка: никто меня не учил играть. И у меня уже заканчиваются силы... Джон, этот удивительный человек с душой ребёнка, спит уже в своём углу, откинувшись в кресле, ждёт меня...

Время 01-30. Всё! У меня нет больше сил вкладывать свою душу и энергию в песни, по-другому — не умею.

И я — сдался. Встал со стула, поклонился всем и усталым, подсаженным голосом обратился в зал:

— Уважаемые, спасибо всем Вам за бесподобное внимание! Я никогда не встречал еще такого. Больше я просто не могу. Извините. Но напоследок хочу всех попросить. Пожалуйста, кто может, оставьте свои адреса вот в этой записной книжке. Мало ли как распорядится жизнь и куда занесёт меня судьба, в какую страну. А там уже есть кто-то знакомый! Сразу легче...

И положил свою толстую записную книжку на единственный стоявший там стол. Люди начали подходить, записывать. Пока их было много, я не видел стола, а позже, когда толпа разредилась и осталось совсем немного людей, я подошёл ближе и уже увидел записи. Но не подробно. И когда последние мои слушатели, поблагодарив за концерт, вышли из зала, я взял эту записную книжку.

И вот тут-то и наступил настоящий момент истины! Не поверив увиденному на одной, другой странице, я перелистал быстро её всю!

Оттава, Тель-Авив, Нью-Йорк, Вашингтон, Милан, Сидней... Практически чуть не все столицы мира! Но не это поразило меня! Фамилии под адресами были все РУССКИЕ!

И мне сразу стал понятен тот невыразимый блеск в глазах моих слушателей, понятно то невероятное внимание, какого я никогда не встречал!

— Пой! Пой всё, что ты знаешь! Всё, что помнишь! Пой!..

Это были эмигранты! Молодые, старики ...все были эмигранты! Это тоска по Родине светилась в их глазах!..

Мне стало невыразимо грустно и тяжело...

На следующий день, чтобы успокоить свою душу, я сел в первый попавшийся экскурсионный автобус, обслуживающий конгресс, и уехал на родину Робин Гуда. Вернувшись вечером, встретил своего друга Джона в вестибюле гостиницы. Он с восторгом мне сообщил:

— Гена! Столько людей приходило к нам, к тебе в гостиницу! Просят повторить концерт...

Я — отказался. Не потому, что не хотел одарить людей песнями своей Родины. А потому, что такой мощный выброс духовной энергии восполняется не сразу...

А тоска, ностальгия, с которой тогда впервые столкнулся, периодически напоминает мне о себе, как только я открываю ту исписанную эмигрантскими адресами записную книжку...

# ПОЭЗИЯ



МАРГАРИТА ГРАФОВА



## Песня праведного сердца

### Судьба

Страх незрячий, тоска глазастая:  
Вот Судьба — я её боюсь.  
И живу, сирота казанская,  
Под опекой неясных чувств.

Мне бы сон на рассвете в пятницу —  
Точный знак от моих отцов,

Чтобы справиться и исправиться  
И решиться, в конце концов.

Вот Судьба — сомневаюсь: нужно ли?  
Страх силен после двух потерь...  
Но в дыхании ветра вьюжного  
Различаю: «Пиши и верь!».

---

ГРАФОВА Маргарита — автор двух сборников: повестей (2022), стихотворений «Вплетаюсь в вечность...» (2023). По образованию — социальный педагог, педагог-организатор театрализованной деятельности, учитель русского языка и литературы. Печаталась в журналах «Аргмак. Татарстан», «День и ночь», «Север», «Берега», «Царицын» и др., в проектах издательства «Перископ-Волга», в сборниках и альманахах, активный участник поэтических мероприятий Казани, соседних городов и регионов (Уфа, Пермь, Йошкар-Ола, Елабуга, Арск и т.д.). Призер Международного конкурса фантастической поэзии и прозы «Пласты и глубины» (2023), лауреат II Международного конкурса «ПРО-город» (2023), участник Всероссийского молодежного литературного фестиваля «КоРифеи» (г. Уфа), финалист поэтического слэма г. Казань (2022). Создатель и руководитель литературного клуба «Черная фиалка» (г. Казань).

## Маргарита

Маргарите больше не нужен Мастер,  
Желтый цвет и дворики на Арбате.  
Ей kota достаточно чёрной масти,  
Что свернулся теплым клубком в кровати.

Разъедает слово быстрее крема —  
Противоречиво и многогранно...  
Маргарита прячет больные темы  
В злые строки повести и романа.

Не хранит чулок, не боится кляуз,  
Не бредет с охапкою маргариток.  
На её балах не играет Штраус —  
Дирижеров нынче большой избыток.

У обычных женщин — слепое счастье,  
Незамысловато и однородно...  
Маргарите больше не нужен Мастер,  
Маргарита видима и свободна!

## Баба Нина

*Памяти моей дорогой няни  
Нины Васильевны Чурбановой*

Белоснежная перина,  
В позолоте образа...  
Где сияют, баба Нина,  
Ясные твои глаза?

Песней праведного сердца  
Таёт колокольный звон...  
Ангел трепетного детства,  
Ты ли Богу возвращён?

Тихой осени картина  
Смотрит в пыльное окно...

Свет небесный — баба Нина —  
В час, когда кругом темно,

Проливается как солнце  
Сквозь замёрзшее стекло,  
И в остывшем сердце бьется  
Благодатное тепло.

Лютый ветер над равниной  
Замирает, не дыша.  
Добрый ангел — баба Нина —  
Бога лучшая душа.

## Имя

Сдаётся в плен упрямая строка,  
Ложится очертаньями кривыми...  
О, Небеса!.. Любимого рука  
Так медленно моё выводит имя.



Скользит перо, оставив едкий след,  
И о биенье забывает сердце.  
И в час, когда померкнет слабый свет,  
Я это имя передам в наследство!

Освободив дыханье от оков,  
Я удивилась собственной отваге...  
Вы мне — неоценимый дар Богов,  
А я для вас — лишь имя на бумаге.

## Папа

Обыкновенное слово «папа» —  
Новорождённого первый плач,  
Шар новогодний, упавший на пол,  
Под колесо угодивший мяч.

Возле парадной рисуют дети  
Милый сюжет: папа-мама-я.  
Маленький принц на пустой планете  
Ждет заплутавшего короля.

Спит у окна одноглазый мишка,  
Дремлет оранжевый крокодил...  
Папа за хлебом случайно вышел,  
Или он вовсе не приходил?

Правдоподобные небылицы,  
Слабенький прочерк в графе «отец»...  
У повзрослевших принцесс и принцев  
Прямо на сердце — большой рубец.

## Девятый день

*Памяти моего друга  
Алексея Леонтьева*

Ни оркестра, ни голоса —	На деревьях проявится
Тихий плач в темноте,	Ядовитая медь,
Числа вечного возраста	От изменника-августа
На могильном кресте.	В дар — неожиданная смерть —

У фиалок кладбищенских	Не исчезнет, но спрячется,
Непростой аромат,	Испугавшись меня.
Осень — тихая нищенка —	Девять жизней растрочены
Выбирает наряд.	До девятого дня...

## Ноябрь

Остывающим пожаром  
Растеряло солнце мощь  
И скатилось мёртвым шаром  
За пределы рыжих рощ.

Бледный лист дрожит под снегом,  
Как слеза из янтаря,

Как короткого ночлега  
Не нашедшая заря.

Серый бархат небосвода  
Растворился в едкой тьме,  
И смущенная природа  
Покоряется зиме.

## Зилант\*

Зилант, прикованный к пьедесталу,  
Который век стережет Казань —  
В ночное небо глядят устало  
Большие бронзовые глаза.

Он чует жаркую близость солнца,  
Металл расплавленной чешуи,  
Как будто снова дракон несется  
Быстрее ветра тугой струи.

Как будто снова зилант свободен,  
Внизу — чужой и безвольный мир.  
Прощать врагов — не в его природе...  
Но точит меч молодой батыр.

На гладь гранитного постамента  
Упала бронзовая слеза...  
Дрожит в прохладном плену рассвета  
Вторую тысячу лет Казань.

\* \* \*

Вспыхнула костром осень,  
Умерли глаза-звезды,  
Волосы мои — проседь,  
Иней на висках мерзлый.

Утренний мороз строгий  
Трауром сковал жилы:  
Мне прислали весть — боги! —  
Что венчался тот, милый,

И прекрасна та дева.  
Я ж, в геенне злой страсти,  
Выжгла б ей глаза гневом,  
А уста твердят: «Счастья!»

А душа горит болью —  
Режущей, глухой, жгучей.  
Тают на щеках солью  
Скорбные дожди-тучи.

Мачеха Сибирь с силой  
Ленты мне вплела в косы.  
Если бы ты знал, милый,  
Как слепы глаза-слезы!

Снегом молодым белым  
Ляжет на поля скатерть...  
Смертное моё тело,  
Чёрная земля-матерь.

---

\*Зилант — существо в татарской мифологии, имеющее выраженные птичьи черты.



ДМИТРИЙ ОВЧИННИКОВ



## Благое дело

РАССКАЗ

Весна в этом году выдалась ранняя и на удивление тёплая. Так, уже к середине апреля почти полностью растаял выпавший за долгую зиму снег, а к началу мая ухабистые деревенские дороги, по которым, как правило, в эту пору можно ездить лишь на мощных внедорожниках, высохли настолько, что по ним без особого труда проезжали даже легковые автомобили, не рискуя разбить подвеску, потерять колесо или где-то наглухо застрять.

Для Алексея это была уже пятая по счёту весна в качестве водителя «Газели»-хлебовозки, которая развозила хлеб по селу Свиридово и двум окрестным деревням — Марьино и Завьялово.

Зима, весна, лето, осень... Вроде, бывает, и долго, нестерпимо медленно тянется день, неделя, месяц, а вот года — парадокс — летят на удивление быстро, сливаясь в одну серую массу, в которой очень трудно вычленишь какие-то яркие фрагменты. Каждый год повторялись одни и те же пейзажи за окном, одни и те же люди, покупающие одно и то же — и создавалось впечатление, что смотришь один и тот же бесконечный фильм, который всё никак не закончится. И вроде проезжал

---

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Игоревич — прозаик, поэт, публицист. Родился 18 июня 1990 года в г. Риге (Латвия). С 1993 года проживает в России, в г. Новосибирске. В 2012 году окончил Сибирскую академию государственной службы. Рассказы, стихи, публицистические статьи опубликованы в различных периодических изданиях России и ближнего зарубежья.

Алексей немного, каких-нибудь тридцать километров туда и обратно, но каждый раз это были одни и те же, уже много раз пройденные километры, и неизменно возникал эффект дежа вю. Иногда это недоедало настолько, что не было никакого желания садиться за руль и отправляться в очередной рейс. Но ездить нужно было регулярно, по расписанию, три раза в неделю, и в любую погоду, дабы потом не услышать от кого-нибудь упреков, как было однажды, когда Алексей очень сильно заболел и не смог выехать:

— Вот, сынок, оставил нас без хлеба в прошлый раз, нельзя же так. Думали, вообще больше не приедешь, пропадём тут, с голоду помрём...

Пришлось оправдываться, говорить что-то о болезни, и чувствовал он себя тогда нашкодившим пацаном, который не просто подвёл, а кровно обидел людей, которые ему доверились и которых он не имел права обмануть — в подавляющем большинстве в этих деревнях жили люди пожилые, одинокие, часто совсем немощные и дряхлые, и приезд хлебовозки был единственным лучом света в тёмном царстве их бытия, вносящим в него хоть что-то светлое и радостное. Но в целом подобный депресняк накатывал на него нечасто, и в этих случаях Алексей всегда повторял себе, что никто его сюда насильно не тянул — сам вызвался работать в этой глухомани. Так чего жаловаться?

В советские годы Свиридово было если не процветающим, то вполне зажиточным селом со всеми признаками цивилизации, но всё изменилось с распадом СССР. Жизнь из Свиридово уходила не сразу, одновременно, а как-то постепенно, поначалу внешне даже незаметно, но оттого не менее трагично и необратимо. Все, кто мог, стали уезжать — кто в Красноярск, кто в Абакан, кто в другие окрестные крупные города. Оставались либо пенсионеры, либо те, кто дорабатывал последние годы до заслуженного отдыха в ещё не закрытых предприятиях и учреждениях. Но и тех с каждым годом по естественным причинам становилось всё меньше. В советское время люди, конечно, тоже умирали, но — то ли оттого, что населения тогда было гораздо больше, то ли по каким другим причинам — это было как-то не так заметно, что ли, и каждая смерть местного жителя была событием. Многие жили подолгу, доживая до восьмидесяти, а то и девяноста лет. А вот в 90-х умирать стали помногу, едва доживая в лучшем случае до семидесяти. Тогда же, среди прочих, не стало и Лёшиных дедушки с бабушкой...

Но некоторые, самые стойкие, несмотря ни на что, держались до последнего. Например, Надежда Фоминична, или попросту баба Надя. Ей уже перевалило далеко за семьдесят, но, с виду такая же бодрая и крепкая, как и тридцать, сорок лет назад, она отнюдь не собиралась ни отходить в мир иной, ни покидать деревню, в которой прожила столько лет, несмотря на настойчивые приглашения взрослых сына и дочери, звавших её к себе в Красноярск. На все их уговоры она неизменно отвечала одно и то же:

— Да кудой я уже отсюда поеду? Вот ещё придумали чего. Нет уж, спасибо. Можете жить в городе своём, а мне и здесь хорошо. Здесь родилась, здесь и помру.

И ведь действительно, кажется, за всю жизнь баба Надя ни разу не покидала пределов родной деревни. Ну, может, была несколько раз по каким-то надобностям в райцентре, что в двенадцати километрах, и на том всё. А в том же Красноярске и вовсе не была ни разу, и видела его только на фотографиях, что показывали дети, когда приезжали в гости. Таких, как она, к началу нулевых в деревне оставалось человек триста, а ещё через десять лет это число уменьшилось вдвое. Не стало и бабы Нади. Алексей как раз устроился водителем хлебовозки и в один из ранне-

апрельских дней увидел, как человек двадцать стариков и старух, проживших с бабой Надей бок о бок всю жизнь, провожали её в последний путь.

\* \* \*

Родился Алексей в небольшом посёлке Аржаан, что в Республике Тува, но пробыл там недолго — уже вскоре семья переехала на малую родину отца, в Красноярск. Там он окончил школу, потом местный пед — истфак. В педагогический Лёша пошёл скорее от безысходности. Надо было куда-то идти, вот и пошёл, куда было проще всего поступить и куда парней брали весьма охотно. После получения диплома устроился в одну из местных школ, но задержался там ненадолго — одного учебного года с лихвой хватило, чтобы понять, что преподавание — это не его. Затем началась полоса скитаний по разным организациям, где он в основном выполнял типичную канцелярскую работу — скучную, нудную, монотонную, но зато относительно спокойную, в отличие от работы учителя. Правда, денег платили мало, и если б он тогда жил отдельно от родителей, то на эти гроши выжить было бы почти нереально. Но потом ему вдруг повезло — бывший одноклассник Андрей, с которым Лёша поддерживал приятельские отношения, выбился в большие начальники в одной крупной компании, и позвал Лёшу к себе помощником:

— Давай, перебирайся к нам в контору, сколько можно уже протирать штаны за копейки. Устрою тебя по старой дружбе в лучшем виде, да и вдвоём веселее будет.

— Ну, не знаю... Получится, как будто я по благу пришёл, нехорошо как-то.

— Да брось ты! В России без блата никуда, даже в дворники не попадёшь. Да и потом, тебе ж не просто так будут деньги платить. Работа хоть и не пыльная, но серьёзная и ответственная, поэтому и не хотелось мне абы кого с улицы брать. Но смотри, конечно, решай сам, не маленький уже. Моё дело предложить.

— Да я всё понимаю, Андрюх, не дурак. Предложение, конечно, хорошее, и поверь, мысленно я пою и танцую от радости, но мне нужно всё обдумать.

— Ок, подумай, немного времени у тебя есть. Хотя на твоём месте я бы особо не думал — такие предложения не каждый день делаются.

На том тогда и расстались, причём последнюю фразу Андрей сказал будто с какой-то обидой — я, мол, тебе такой вариант предлагаю, а ты ломаешься, думаешь чего-то... А ещё показалось, что и взгляд у бывшего одноклассника при этих словах изменился, стал каким-то насмешливым, колючим. Может, и правда только показалось.

Предложение и впрямь было заманчивым, смущало же то, что ему предстояло бросить свою плохонькую, но стабильность, и окунуться в неизвестность. Два дня Алексей думал, взвешивал все за и против, толком не спал на нервной почве, и в итоге всё-таки решился — написал заявление и ушёл с работы. А вскоре он переехал в отдельную двухкомнатную квартиру, оставшуюся в наследство от бабушки с бабушкой, и зажил полностью самостоятельной жизнью. Как говорится, «жить стало лучше, жить стало веселее».

\* \* \*

Уже взрослым человеком Алексей иногда приезжал в Свиридово и останавливался в оставшемся от бабушки с дедушкой доме. Волей-неволей он обращал

внимание на то, в какое запустение приходит деревня, как и все окрестные селения. Постепенно, один за другим, в целях так называемой «оптимизации», отсюда исчезали все признаки цивилизации. Закрылись в конце концов и магазины по причине нерентабельности. Отчасти это, конечно, было справедливо — население стремительно убывало, оставались в основном лишь пенсионеры, которые в значительной степени обеспечивали себя самостоятельно за счёт подсобного хозяйства, выращивая, вылавливая и собирая фрукты, овощи, ягоды, мясо, яйца, молоко, даже рыбу, которая до поры в изрядном количестве водилась в местном озере. Но, во-первых, хозяйство держали далеко не все, и с каждым годом таких становилось всё меньше, а во-вторых, кроме вышеперечисленного, людям требовались и другие продукты и товары, за которыми теперь нужно было ездить в райцентр, что, опять же, могли делать далеко не все. Но, как у нас водится, это особо никого не беспокоило.

Летом в Свиридово ещё теплилась кое-какая жизнь за счёт дачников, молодёжи, снимавшей здесь временные дома, а с октября по май жизнь как будто замирала. Нет, конечно, не совсем замирала, люди продолжали заниматься своими делами, коих стало меньше, но и делать их стало сложнее, и без крайней нужды никто не задерживался на улице, спеша вернуться домой, в тепло. В общем, жизнь стала тихой, незаметной, и от этой тишины веяло чем-то мрачным, зловещим. Усиливали это ощущение то и дело встречавшиеся дома с заколоченными окнами, сломанными наличниками, облупившейся краской на дверях и стенах, прогнившей крышей, повалившимися заборами — всеми признаками брошенного жилья, в котором давно никто не обитает.

Из местных жителей Алексей почти ни с кем тесно не общался, что и понятно — молодёжи там почти не было, а со стариками о чём говорить? С ними если и заводились какие-то короткие беседы, то всё на одну и ту же тему — как хорошо жилось прежде и как потом всё это разрушили. При этом то и дело поминали «треклятых Ельцина и Горбачёва», которые-де всё и развалили. Втягиваться в эти «политические» беседы Алексей особо не хотел. В сущности, его всё это вообще мало волновало. Советский Союз он почти не застал и никакой ностальгии по нему не чувствовал, да и родители никогда, по крайней мере, при нём, не плакались о прошлых счастливых временах. Ну, было и прошло, чего теперь жалеть? Ничего ведь не вернёшь, только зря бередить старые раны. С другой стороны, а что ещё делать старикам в умирающем селе, как ни жаловаться на горькую жизнь? Какое-никакое, а занятие.

Село умирало. Власти давно махнули на него рукой, не имея ни ресурсов, ни желания что-то изменить. Здесь не было уже практически ничего, в том числе и нормальной коммуникации с внешним миром — ни интернета, ни сотовой связи. Словно каменный век. Не было и магазинов, где можно было что-то купить. Когда-то, после их закрытия, приезжала раз в неделю автолавка, но недолго, вскоре её отменили — то ли водитель уволился, а нового не нашли, то ли ещё что — и местные жители опять остались ни с чем. Среди тем, которые они обсуждали между собой, неизменно первым делом поднималась и эта, но дальше сетований и причитаний дело не шло. Когда-то пытались писать письма в район, жаловаться, требовать, просить, но никакого отклика от властей так и не дождались.

Поначалу, слушая эти разговоры, Алексей только горестно вздыхал и опускал голову — вроде и рад бы помочь землякам, а как? Потом стал изучать вопрос и выяснил, что в райцентре есть большой хлебозавод, с которого, собственно, ког-



да-то и привозили хлеб в Свиридово и окрестные деревни, который продавался в тамошних магазинах. Потом магазины закрыли, и хлеб исчез. А теперь его надо было вернуть людям, но опять всё тот же вопрос — как?

Покопавшись в интернете, Алексей нашёл несколько историй из разных уголков страны, как равнодушные люди на свои деньги покупали машины, заключали договора с хлебозаводами и развозили хлеб по нуждающимся деревням. В принципе, схема рабочая, главное — купить машину и сговориться на оптовую закупку хлеба у пекарни. Какой-никакой бизнес, но понятно, что много на этом не заработаешь — что взять с бедных пенсионеров? Главное — помочь брошенным людям, до которых никому нет дела, и которые выживают, по старинному обычаю, кто как может.

Работа у Андрея приносила Алексею всё меньше удовольствия. Да, зарплата хорошая, но ведь не всё измеряется в деньгах, а никакого морального удовлетворения она не приносила. Так что уйти оттуда рано или поздно он собирался и так, а тут появился вариант с автолавкой, которую, как выяснилось, при определённых финансовых вложениях организовать не так и сложно. В идеале, конечно, нужно было ещё нанять продавца и отдельного человека для погрузки товара, но, в общем-то, при желании можно справиться и одному, тем более что при необходимости среди местных жителей наверняка отыщется человек, готовый помочь за небольшую оплату. Тут ведь двойная выгода — и деньги получишь, и продукты в деревню привезёшь.

Понятно, что просто это всё было скорее на словах, а на деле оказалось гораздо сложнее. Перво-наперво требовалось составить смету предстоящих расходов — на покупку машины, бензин, закупку товара, зарплату продавца (если он будет) и прочее. Набегало прилично, и поневоле закрадывались сомнения — а нужно ли это всё, что из этого выйдет? Но, поняв по разговорам с местными, что хлебовозка им нужна, и чем могут, они готовы помогать, в том числе финансово, а потом, услышав обещание главы сельсовета выделять какие-то небольшие субсидии, всё-таки решил рискнуть — уволился с работы, купил подержанную, но ещё в хорошем состоянии «Газель», договорился с хлебозаводом на закупку хлеба, батончиков и разнообразной выпечки. Позже решилось, что возить товар он будет не только по Свиридово, но и по двум близлежащим деревням, также оставшимся без магазинов. В продавщицы взял Иру, женщину лет под сорок, которая жила в Свиридово с маленьким ребёнком и матерью. Её муж почти круглогодично работал где-то на северах, а она сидела дома с дочкой Настей, которой, к слову, в следующем году исполнялось семь лет — время идти в школу, которой в селе нет. Видимо, будут переезжать, а что делать, и так вон в садик не ходили. Но в садик многие не ходят — там километровые очереди, записываются туда, кажется, ещё до рождения ребёнка, да и платить надо прилично. Но со школой — совсем другая история, туда надо ходить обязательно. Этого всего Алексей вдоволь наслушался от Иры во время их долгих совместных поездок. Говорить же надо было о чём-то, не сидеть же молча, вот и разговаривали о том о сём. Рассказывали про свои жизни, которые что у одного, что у другой сложились не так, как они хотели. Впрочем, а у кого получается по-другому?

И всё-таки было в этом что-то странное, необычное. Действительно, едва ли он когда-то думал, что станет водителем «Газели» и станет развозить хлеб, а оно вон как вышло. Не зря когда-то давным-давно Алексей получил права, хотя, казалось, в этом не было никакой необходимости — автомобиля в их семье никогда не

было. Но вот захотелось, как будто что-то подтолкнуло его к этому. А ещё вспомнилось, как в детстве часто видел во дворах молоковозки и длинные очереди к ним из людей с бидонами. Тут поневоле поверишь в судьбу, фатум и всё прочее в таком духе.

Пути Господни неисповедимы... Расхожая фраза, но ведь действительно бывает такое, что человек оказывается там, где раньше вообще не мог себя представить. Или иногда судьба сводит вместе людей, доселе очень далёких друг от друга, и связывает их какой-то едва ощутимой, но прочной нитью. Примерно как его и Иру.

Несмотря на годы и, как видно, не самую лёгкую жизнь, она по-прежнему была довольно красивой. Родилась она здесь же, в Свиридово, окончила школу, потом педучилище в райцентре, работала в школе учительницей младших классов. Уже лет в тридцать вышла замуж за Александра, по образованию инженера-строителя, но, за неимением нормальной постоянной работы, шабашившего где придётся. О муже Ира всегда говорила сдержанно, немногословно, и невольно складывалось ощущение, что вышла она за него не по большой любви, а просто потому, что надо было за кого-то выйти, а других вариантов не нашлось. Просто встретился подходящий мужчина, вроде порядочный, не алкаш, работающий, серьёзный — в общем, вполне неплохой по деревенским меркам жених, с которым можно связать свою жизнь. Не куковать же одной...

Слушая Иринины исповеди, Алексей неизменно вздыхал. Судьба человека... А сколько таких по стране — с неустроенными жизнями и туманным будущим. Особенно здесь, в глубинке. Периодически у него тоже возникало желание поплакаться, пожаловаться на судьбу, но всякий раз осекал себя, понимая, что на фоне местных бед — пусть не шекспировского масштаба, но всё же — его причитания будут выглядеть как-то нелепо. Его-то жизнь, при всех проблемах, была относительно спокойной, сытой и комфортной — как ни крути, жил всё-таки в крупном сибирском мегаполисе, зажиточном городе-миллионнике, где, по крайней мере, никогда не было проблем со связью и магазинами. Раньше, кстати, он это не слишком ценил, воспринимал как должное, искренне не понимая, как люди могут годами жить иначе. Оказалось — могут. Сам, будучи у бабушки на каникулах, он от этих недостатков не особо страдал, почти не замечал их. Но это только у детства и юности есть такая счастливая привилегия — не замечать трудностей. Потом всё иначе.

...За годы поездок вся процедура отработалась до автоматизма и выполнялась чётко и неукоснительно, как ритуал: они останавливались в одних и тех же точках, куда неизменно год за годом подходили одни и те же люди и покупали примерно одно и то же. Даже цены они старались держать примерно на одном уровне, несмотря на все издержки. Нет, конечно, немного поднимали, и в итоге многие товары стали стоить пусть ненамного, но дороже, чем в магазинах в райцентре. Но туда надо было ещё добраться, что немощным старикам, у которых не было машины (а с общественным транспортом, как и всем прочим, здесь было туго), было явно не под силу. Да даже если бы и ходили тут автобусы, то в сумме, вместе с проездом, выходило бы дороже, чем в автолавке. А ещё потраченные силы и время...

Каждый раз всё шло по стандарту: Алексей останавливал машину в точке, где уже привычно собрался народ, открывал двери «Газели», они с Ирой выставляли товар, и начиналась собственно торговля. Хоть народу собиралось и относительно-

но много — человек по тридцать, но, так как все всегда брали одно и то же, то процесс шёл довольно быстро, и очередь, поначалу казавшаяся длинной, быстро редела. Алексея это неизменно радовало, и в конце рабочего дня, после успешного окончания торговли, он почти каждый раз сообщал Ирине с хитрой улыбкой:

— Вот, и сегодня быстро управились. Молодец, шустро считаешь.

— А то, я всё-таки, как-никак, бухгалтерские курсы окончила, считать умею, — с гордостью подтверждала она.

Ирина и правда окончила бухгалтерские курсы — как сама объясняла, в декрете, просто чтобы чем-то себя занять и не сойти с ума в четырёх стенах. Зарабатывать этим вроде не собиралась, а вот, гляди, пригодилось. Как и Алексею его давнишние права.

И вот уже пять лет прошло, а они с Ирой продолжают ездить по ухабистым дорогам сибирской глубинки, продавая хлеб и прочую сдобу. Продают — пока есть кому продавать. Но придёт день, когда в этих Богом забытых деревнях не останется вообще никого, ни одной живой души, и некому станет продавать батоны и пончики. Рано ли, поздно, но это обязательно случится — сколько уже в России умерло таких деревень, и не только в Сибири, но и в Центральной России, и сколько ещё умрёт. Алексей старался не думать об этом, напротив, гнал от себя эти мысли, но, помимо воли, они приходили всё чаще и чаще, и всё это благое дело, которое он затеял, начинало казаться тщетным, бессмысленным, бесполезным. А потом он снова видел стариков, покупавших хлеб, и мрачные мысли вытеснялись радостью, даже гордостью, что он приносит пользу людям, которые в этом нуждаются.

— Да, — убеждал он себя, — рано или поздно эти деревни умрут, исчезнут с карты, и даже названий их никто не вспомнит, но это произойдёт не сегодня и не завтра. А пока здесь остаются люди, которым мы нужны, будем работать!

Будем...

# Очерки и публицистика



ИРИНА ПРИЩЕПОВА

## «Вода, вода, кругом вода...»

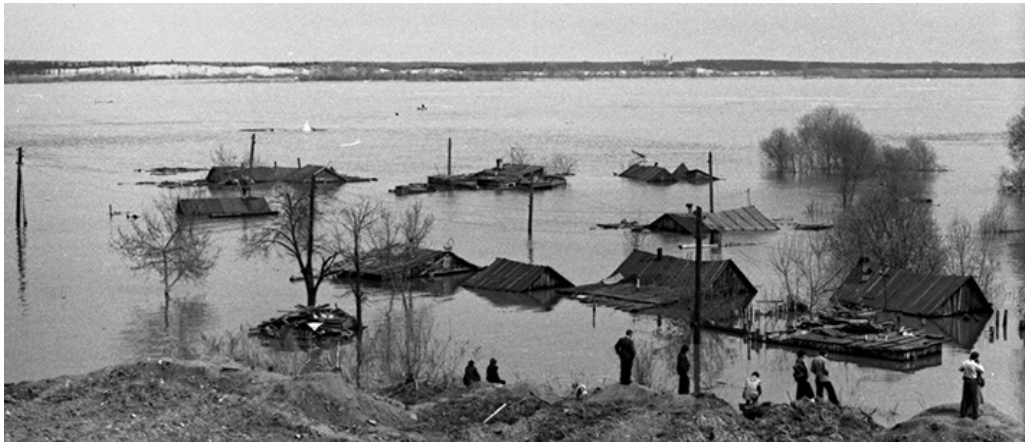
Об очерке В.Г. РАСПУТИНА «ВНИЗ И ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ»



Малая родина... Сколько приятных воспоминаний с ней связано, сколько тёплых слов о ней теснится в сердце! Она входит в нас в раннем детстве и остаётся с нами до конца дней. Остаётся, даже если находится далеко, в необозримых даях. Земля детства притягивает, как магнит, её хочется видеть снова и снова. Если в детство вернуться нельзя, то на родную землю, где оно прошло, можно приехать, походить по любимым стёжкам-дорожкам, предаться воспоминаниям. Счастлив тот, у кого есть такая возможность. К сожалению, есть она не у всех. Кто-то по разным причинам не может добраться до своей малой родины. И это ещё полбеда. А вот если твоя земля просто перестаёт существовать — тогда беда.

Есть, наверное, люди без чувства родины. Может, оно в них просто спит и когда-нибудь проснётся? А есть люди, которым родина очень дорога. Они не могут представить себя без окружающей их с детства природы, им не надо другой реки, других полей, гор. Они даже представить не могут, что их родной дом стоял бы на другом месте. И нет для них ничего дороже родной земли...

Немало земель было затоплено при строительстве мощных гидроэлектростанций. Стала илистым дном родина тысяч и тысяч людей. Вымыла там вода все следы жилья и попробуй узнай, вглядываясь в толщу вод, свои места, вскормившие тебя. Не понять, где был твой отчий дом, твоя улица, твоя школа. Потеря малой родины — огромная потеря. Она лишает человека своих корней.



*Прощание с деревней. Фото А. Донского.*

Лишился своей малой родины и Валентин Григорьевич Распутин. С её потерей он потерял часть себя. В «Байкальском дневнике» писатель сказал об исключительной важности места рождения: «Мы с рождения впитываем в себя соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и организуют на свой манер клетки нашего тела. Поэтому мало сказать, что они дороги нам, мы часть их — та часть, что составляет естественной средой. В нас обязан говорить и говорит её древний голос».

Боль от невозполнимой потери не давала Валентину Распутину покоя всю жизнь и подтолкнула к написанию повести «Прощание с Матёрой». Думаю, нет в России человека, который бы не читал или хотя бы не слышал об этой повести. Она о затоплении деревни с вымышленным названием Матёра. Повесть была окончена в 1976 году. А немного ранее, в 1972 году, вышел очерк «Вниз и вверх по течению», который читал далеко не каждый. Вот о нём я и хочу поговорить на страницах своего эссе.

Валентин Григорьевич взял эпитафией к очерку слова из песни: «По родимой по сторонке сердце ноет, ноет, ноет...» Неизбывная тоска, безысходность...

Очерк автобиографический, и хотя автор называет своего главного героя Виктором, понятно, что это он сам, Валентин Распутин, плывёт на теплоходе по Ангаре из города Иркутска к родителям в Аталанку, уже перенесённую на новое место, которую он ещё не видел.

Ангара с раннего детства была для писателя всем. «Первые мои впечатления, — говорит писатель в очерке «Откуда есть-пошли мои книги», — связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не Ангара же вспоила меня грудным молоком, но, сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу».

Валентин вырос на реке, проводил здесь все дни, с ней были связаны его детские и юношеские радости, воспоминания о них жили в нём, согревали его в трудные минуты, давали душевный покой.

Река наполнила сердце Валентина Распутина простыми русскими пейзажами. Она научила его видеть, любить, точно и тонко передавать словом неброскую красоту сибирской природы. Она дала ему и первый трудовой опыт, что помогало выживать в голодные годы. Вёснами, когда ещё по реке несло льдины, он и ребята забрасывали в реку перемёты. Он помнит, как в волнении замирало сердце, каким



счастьем было, приподняв нить перемёта, слушать, как пробует рыба наживку, и в это время «весь огромный мир сходил в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки».

Дедушка тёмными осенними ночами брал внука с собой лучить. И в очерке писатель так рассказывает о своих впечатлениях о ночных рыбалках (о себе он пишет в третьем лице, так как герой очерка — Виктор): «В носу лодки ярко и бойко горело смольё, дедушка, широко расставив ноги и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз; в тяжёлом металлическом цвете воды слабо поблёскивал опавший лист; лопались и меркли пузырьки; где-нибудь посреди реки невесть с чего в спокойную погоду долго держалась на одном месте длинная полоса зыби, мерцающая непонятым волнением, которая затем также неожиданно, как и появлялась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе — от проплывающих в строгом молчании склонённых с берега кустов, от таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика ночной птицы, от сказочной и предательской вспяски огня, на который где-то мчится и никак не может остановиться ошалевшая от его сияния рыбина».

Конечно, одно из самых ярких впечатлений на реке — это ледоход. Его ждут жители деревень и городов, коим посчастливилось жить на берегах рек. Наверное, всем хочется увидеть оживающую с приходом настоящей весны реку, насмотреться на уносимые течением льдины, с шумом и шипением сталкивающиеся друг с другом и рассыпающиеся от ударов на острые сосульки.

Валентин боялся пропустить ледоход. И всю жизнь вспоминал, «с каким восторгом и страхом, не помня себя, смотрел на дикую, безудержную силу, сталкивающую лёд вниз, вздыбливая и кроша неповоротливые, отливающие глубокой синевой глыбы, какой многоголосый и протяжный, со стоном и отчаяньем, стоял гул вокруг».



*Ледоход на Ангаре. Фото из интернета.*

Ледоход — большой и важный праздник природы, её таинство. Это праздник обновления, очищения, возрождения. И герою своего очерка «Вниз и вверх по течению» мальчику Вите автор «дарит» день рождения — 1 мая, день близкий к



вскрытию реки: ледоход приходился на конец апреля — начало мая. Витя мечтал, чтобы к его дню тронулся лёд, в нём жила неведомо откуда взявшаяся суеверная связь одного с другим. Он думал: тронется лёд к 1 мая — год будет счастливым, нет — счастья не будет. Самым ярким воспоминанием Вити стало воспоминание совсем дальнее. Ему тогда было всего шесть лет, и он очень хотел, чтобы река сделала ему подарок на день рождения, чтобы праздник реки и его праздник совпали. Но до 1 мая лёд не унесло. И мальчик в этот день с раннего утра сел на берегу, с надеждой вглядываясь в подтаявший, посиневший лёд. Ярко светило солнце, река вздыхала, порой раздавался сильный треск, и на льду образовывались новые трещины. Казалось, ещё немного, и всё зашумит, поплывёт, но всё оставалось неподвижным. А мальчик пристально смотрел на реку, боясь, что день кончится прежде, чем начнётся ледоход. И вот день кончился. Измученного ребёнка еле увели домой. Он расстроился: «Теперь всё: никогда не кончится война, не придёт с фронта отец, не полюбит его соседская девчонка Нинка...» С этими печальными мыслями он уснул, а среди ночи проснулся от неясного далёкого гула и шума. Последняя надежда заставила его подняться с постели и потихоньку выбраться из дома.

На реке не было перемен, но у мальчика от страха отнялись ноги, и он не мог побежать обратно. Надвигалась первая весенняя гроза. Он и проснулся от неё и принял звуки грозы за шум реки. Гроза всюду разгулялась над деревней, один раскат сменялся другим. В непрерывном блеске ярких молний избы казались прозрачными. Становилось всё страшнее. Автор даёт поэтическую зарисовку грозы: «Гроза, добываясь дождя, все накалялась и накалялась. Небо из совершенно черного, непроглядного стало темно-багровым и выделилось четче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Все вокруг было заполнено только грохотом, подстегиваемым частыми взмахами молний, все сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он задыхался от ярости... вот-вот должно было произойти что-то и совсем уж страшное. И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил все небо, раздирая его на части, — оно треснуло и обвалилось».

Мальчик плакал, стоя на ногах, но ощущение земли под собой потерял, его словно унесло в неведомые пределы, и вдруг услышал рядом с собой звук слабее раскатов грома и в радостном предчувствии увидел узкую полоску на середине реки, чистую ото льда. И гроза стала удаляться, и притихшее небо потемнело, пошёл дождь. А мальчик всё смотрел на праздник ледохода, начавшийся ночью и никому, кроме него, неведомый...

Когда Виктор вырос, ему и верилось, и не верилось, что это было на самом деле, а не приснилось в детских снах. И всё же он, может быть, в шутку, продолжал следить, когда вскроется река.

После ледохода вода, избавившись от всего наносного, становилась голубой, прозрачной, на её дне можно было видеть каждый камешек.

В детстве Валентина Распутина, впечатлительного мальчика, тайга не волновала так, как река. Он думал, что тайга будет всегда стоять на месте. А за реку детская душа очень болела: «река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив

на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки». По утрам мальчик приходил проверить, течёт ли река, и удивлялся, почему никого больше это не тревожит, и почему все думают, что река «и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера».

Почему Валентин так беспокоился за судьбу Ангары — реки его жизни? Почему с раннего детства в нём жил страх потерять свою любимицу? Было предчувствие? Возможно, детская душа будущего писателя знала наперёд, что с родной рекой может произойти что-то непоправимое, и тогда он лишится самого дорогого. Не станет реки — он осиротеет, осиротеет без неё и вся Аталанка. Невозможно было представить свою деревню и себя без реки, без её весёлого журчания, без её глубинных тайн. Но того, что с ней в действительности произойдёт, он и представить себе не мог. Не мог он увидеть в самом страшном сне, что его светлая, говорливая, стремительная река помутнеет, потучнеет, утратит прыть, разольётся и затопит его землю, и люди будут вынуждены, спасаясь от рокового потопа, срываться с мест, терять друг друга и обживать новые пространства...

В начале повествования говорится, что Виктор садится на теплоход в предвкушении «лёгкого и приятного безделья» в удобной и уютной каюте. В неспешном движении теплохода можно вспоминать свою жизнь, можно любоваться берегами и, конечно, ненаглядной Ангарой.

И вот он плывёт, благословляя родные места, и настраивает себя на хорошее. Во-первых, он впервые поедет домой в отдельной каюте и насладится одиночеством. Здесь он сам себе хозяин! Он выпится, будет читать интересную книгу, пойдёт в ресторан и закажет себе пива, будет смотреть на реку, на берега, их жизнь. В родной деревне он не был пять долгих лет, не получалось: ездил в другие края, даже был за границей. Но в этих поездках он всегда был в напряжении, уставал, а дома он будет делать, что захочет, погрузится в воспоминания детства, будет пребывать в счастливом забытии, его ждёт приятный и полный отдых, такой, какой может быть только в родной деревне, у отца с матерью...

Всё же Виктор понимает, что если он и получит удовольствие от путешествия в одноместной каюте и выпьет пива в ресторане — удовольствие получит сиюминутное. А печаль его на всю жизнь. Слишком велика утрата. Вода смыла землю его детства, но ничто не в силах стереть её из памяти...

Он плывёт домой не в первый раз, всё здесь знакомое, родное. И всё-таки во всём видит значительные перемены. Меню всё то же: щи, яичница, бифштекс, рисовая каша... Но речную рыбу заменила морская. Вот показались трубы города, которого ещё недавно не было. Встретилась незнакомая пристань на голом, необжитом берегу. Да и берега как такового не было, не было ни песка, ни камней, очерчивающих границу между водой и землёй. И слышалась песня, исполняемая полусонным голосом, появившаяся относительно недавно: «Вода, вода, кругом вода»...

Но он продолжает настраивать себя на хорошее. Он плывёт на красивом белом, сияющем всей оснасткой теплоходе. (По всей видимости, это был теплоход «Сибирь», красавец, которому ещё предстоит настрадаться: в 1985 году он сильно обгорит в Иркутске, через несколько лет его отбуксируют в Братск для переоборудования под детскую учебную базу, и в 1992 году теплоход от сдавливания льдами уйдёт на дно Братского моря, где будет покоиться, со всех сторон окружённый водой, как в песне, что звучала на его борту: «Вода, вода, кругом вода...»)



*Теплоход «Сибирь».*

При виде полей на душе становится легче: «Этот небольшой просвет в заунывной синеве чащи был как желанный отдых посреди долгого и утомительного пути. Где-нибудь на краю поля чисто и бело теплилась березовая роща, дальше, где даже тени светились отраженным сиянием, прозрачной зеленью курились кружочки полян. И так хотелось перенестись туда, уткнуться голову в траву, на которой замысловатыми кружевами сквозь листья деревьев играет солнце, и уснуть, оглушенному цырканием кузнечиков и важным, державным шумом верхового ветра».

«Сибирь» величаво плывёт по Ангаре. Виктор любит ангарскими пейзажами. Гаснет тёплый вечер, горы слегка заволакивает дымкой, кое-где то пробиваются, то исчезают огоньки, доносятся горчащие запахи остывшего дня, приглушённо шумит за бортом вода, горизонт сливается с землёй. Река светится таинственной сказочной лентой и, кажется, её свечение идёт изнутри, из глубины. Виктор смотрит и слушает. И картины летнего вечера, негромкие чистые звуки вызывают в нем чувство благодарности и любви: «Как же так? — упрекая и сокрушаясь в забытии, рассуждает он. — Почему мы не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?» И не мог найти ответа на свои вопросы.

Прошумел остров. Виктор вспомнил, как хорошо бывает в мае на островах: зеленеют мягкие молоденькие травы, повсюду цветут цветы, от частых ветров гнутся, но крепко стоят деревья, у воды заросли смородины... Виктору, когда он находился на острове, казалось, что он на корабле, медленно, важно, загадочно куда-то плывущем.

И вдруг он испугался, вспомнив, что возле его деревни теперь нет островов. Затоплены любимые острова Хлебник и Берёзовик, где он косил сено, пас коней, рвал смородину... «Поднялась вода, выше любого, самого страшного наводнения,

какое видывали на своем долгом веку острова, и захлестнула, подмяла их, изо всех сил старавшихся сжаться и закаменеть, чтобы выстоять до конца, но вода все прибывала и прибывала, скрыла под собой деревья и ушла выше. Теперь она давно уже вымыла и разнесла по сторонам всю землю, на которой росли хлеба и травы, и сровняла острова с дном. Нет больше островов, и названия их, сиротливые и пустые, звучат все реже и отходят все дальше, откуда уже не дано вернуться».

От этого воспоминания стало совестно на душе, словно он был виноват в том, что не сберёг свои острова.

Считал ли кто-нибудь острова на Ангаре? Известно кому-нибудь, сколько их затоплено? А сколько среди них было настоящих красавцев с богатейшей растительностью! Рассказывая о своих детских впечатлениях, Валентин Распутин писал, что считал Ангару разумной, заботящейся о людях. Он думал, что это Ангара принесла острова и расставила для радости людской и подкорма, и этот подкорм так необходим был людям в голодные годы. Нет ничего лишнего в природе, всё в ней разумно, во всём виден порядок, гармония, забота о своих детях...

Герой очерка Виктор давно не был в своей деревне, но последний приезд ему запомнился так хорошо, словно это было вчера. Он приезжал накануне затопления, когда деревню переносили на новое место, а точнее переносили на три стороны: колхоз уезжал в степные края за двести километров отсюда, леспромхоз оставался здесь, но отодвигался в гору, сплавную контору перевели в другое село. И каждый человек сам выбирал свою судьбу. И определиться каждому было очень трудно. Люди жили рекой и тайгой, были привязаны друг к другу. А тут приходилось выбирать одно из трёх. Что-то напоминающее русские сказки: «Налево пойдёшь...»

Он приехал тогда летом, под вечер, и не удивился, что пароход — почти единственную связь с большой землёй — не встречают, знал: сейчас не до того. Деревня оголилась и потеряла привычный вид. Избу Виктора успели разобрать. Мать заплакала, увидев сына, отец поздоровался, пряча глаза. Автор очерка так говорит о встрече Виктора с местом, где долгие годы стояла их изба: «Виктор подошел к избищу и долго стоял над ним, как над могилой, с волнением и недоумением глядя на рассыпанную золу, на куски окаменевшей глины от русской печи, на две маленькие металлические пуговицы, которые, быть может, он сам же когда-то закатил под пол, и вдыхая теплый и кислотоватый, еще не испарившийся запах человеческого жилья. Стенки подполья осыпались, но на одной, уцелевшей, зеленели изогнувшиеся вверх картофельные ростки. По старой, изопревшей щепе проворно бегали зеленые жучки, в углу, то приседая, то поднимаясь на своих длинных тонких ногах, шевелился большой серый паук. И этот открывшийся глазу, вытертый деревом до пыли кусочек земли, который занимала изба, показался вдруг Виктору до того маленьким и ничтожным, а все, что составляло избу и что лежало теперь рядом двумя аккуратными штабелями, — до того грубым и ненадежным, что он и не знал уже, верить ли, что все это стояло именно здесь и было добротно, уютно и просторно».

Виктор обошёл деревню, вернее то, что от неё осталось. А осталось только несколько изб, другие или уже развалили, или начали разбирать. Под ногами валялись осколки стекла, куски кирпича и почерневший мох, которым конопатили щели; выставленные окна смотрели мёртво, клубилась пыль и «стыли под небом оставленные на произвол судьбы русские печи». Оставили только огороды. Не тронули и кладбище, и оно лежало посреди деревни «в каком-то особенно жутком молчании». Но люди знали, что скоро придётся расстаться и с ним.



Взбудораженные и испуганные земляки здоровались с Виктором и называли происходящее светопреставлением. Они то смеялись невпопад, то предавались печали. «С трудом заставив себя вытащить первый гвоздь и снять с крыши первую доску, они начинали торопиться, ими словно овладевал неудержимый и яростный азарт разрушения, который не остывал до тех пор, пока было что ломать». Люди боялись одиночества и по вечерам собирались вместе.

Горели леса, наполняя округу дымом и запахом гари. Трактора и машины перевозили разобранные дома. Боясь суматохи и перемен, кричал скот. А по ночам, едва устанавливалась тишина, начинали выть собаки. Жуткая картина!

Виктор видел, как уезжали колхозники: «Со времен войны не видывала деревня ничего похожего. Пили прощальную водку мужики; плакали, сквозь слезы отдавая последние наказы по скотине и огородам, бабы; испуганно и шустро сновали, сбившись в стаи, ребяташки. Обнявшись посреди улицы, горько и громко голосили две старухи — бабушка Виктора и их соседка, старуха Лукея...» Старухи эти прожили рядом всю жизнь, ходили каждый день друг к дружке на чай, и жизни друг без друга не представляли. И вот теперь Лукею увозили. Подруги понимали, что больше не увидятся никогда. Тракторист Иван Зуев гонялся за своей собакой, чтобы забрать с собой, но она не давалась в руки, и он в порыве злости её пристрелил. А перед отправлением стал выбрасывать из машины свои узлы. Некоторые сидели на кладбище, прощались с родными могилками. Горели колхозные конюшни. Звучала нетрезвая песня. Наконец, машина тронулась и поехала, люди заплакали, закричали и запели громче... «День был тихий, неяркий, — пишет Распутин, — и так же тихо и ровно текла река, не зная за собой ни вины, ни беды».

Так печально заканчивалась жизнь Аталанки, деревни с 250-летней историей, самой развитой в округе. В деревне был колхоз, здесь работали магазин и медпункт. Ещё в 1939 году в Аталанке была открыта четырёхлетняя школа. Валентин Распутин вспоминал, что школа была немаленькая, но учеников было мало, и учились тогда все четыре класса в одном самом большом кабинете с одним учителем. Перед затоплением школу разобрали и перевезли на новое место. Заканчивалась жизнь аталанской земли: берегов, полей, лесов, огородов. Во время войны русские воины стояли насмерть за каждую пядь земли. А здесь по доброй воле отдавали землю водной стихии далеко не пядями. Тогда закончилась жизнь не только Аталанки, а 248 сёл и деревень. Что было, то сплыло...



*Здание школы в старой Аталанке.*

Почему же для своей Матёры, прообразом которой стала Аталанка, Валентин Распутин выбрал остров, а не берег реки? Наверное, он отделил водой землю от иного мира неспроста. На острове люди ближе друг к другу и дальше от цивилизации, от всего наносного, чуждого, что сплошным потоком сейчас плывёт к нам из-за границы. Валентин Распутин переживал, что забываются и отвергаются свои традиции, насаждается чужая культура, даётся чужое образование. И считал, что первостепенное дело писателя откровенно говорить о том, что происходит, не дать чужим порядкам укорениться в людях. Он считал героями нашего времени тех людей, кто живёт по совести, кто помнит и чтит свои традиции, кто знает и бережёт родной язык. Нужно насколько возможно замедлять уход старой России, ведь она велика, мудра, чувственна, хороша, чтобы просто так исчезнуть. И всё это — доброта, совесть, простота, могучий язык предков, величие России — сохранилось в первозданной чистоте на острове. Но не выстоять острову-кораблю против большого потопа, задуманного цивилизацией. Жизнь Матёры — земли отцов и матерей — заканчивается, участь её горька. Но остались ещё такие вот островки, которых становится всё меньше, и надо их беречь всеми силами и не терять надежды, что сохранить их удастся...

На теплоходе герой очерка Виктор пытался себя обмануть, будто держит путь в деревню старую и забыл, что её нет. Но сделать это было невозможно. И когда окончательно понял, что обмануть себя не удастся, попробовал успокоиться тем, что едет проведать родителей, а дети обязаны их навещать, где бы они ни жили. И словно дразня его, звучала песня: «Вода, вода, кругом вода...»

На палубе при свете полной луны и далёких звёзд Виктору мерещился «счастливо-ноющий» лунный звук, «он звал куда-то, напоминая что-то дивное и давнее, и сердце, тревожась и не понимая, заходило в отчаянной мольбе: что? куда?» Звук уходил и возвращался и манил и манил в заповедные дали. Наверное, звал в далёкое детство на берег, до боли родной, до которого сейчас ни доплыть, ни доехать...

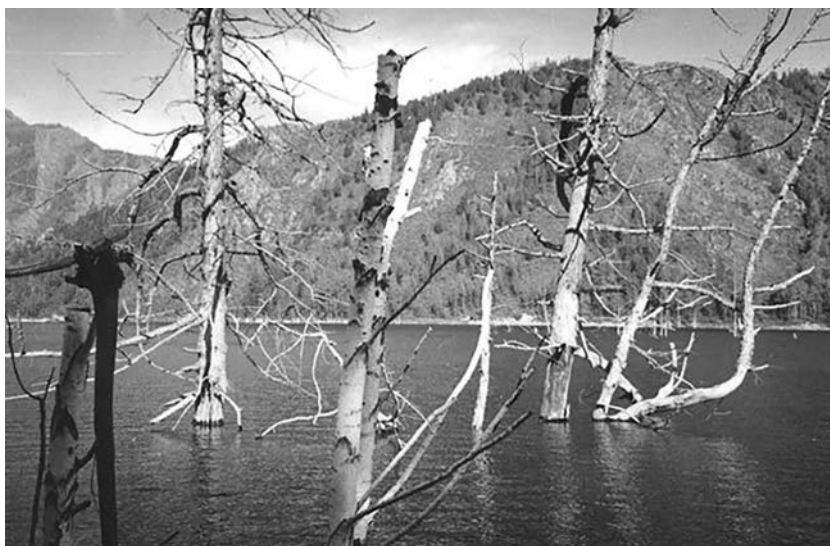
Плывёт и размышляет Виктор, то есть Валентин Распутин, плывёт и размышляет вместе с автором читатель, и возникает у читателя чувство своего присутствия там, на борту теплохода среди тёплой майской ночи, чудесное описание которой даёт нам автор, мастер природных зарисовок: «С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут же невесть с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок теплохода. Сильней и ближе зазвенело небо и еще глуше и бледней стала земля. В отходящей к берегу волне, удлинясь в свечки, играли звезды. Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул поверху и не тревожил речную гладь, но после волны за кормой оставалась легкая зыбь. Изредка сбоку возникали желтые или красные огни бакенов, возле них шумела вода. Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но справа, на востоке, там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба. И все так же мучилась и болела душа, отзываясь на какое-то прекрасное обещание, звучащее в ночи с неистойвой и страстной силой».

А утренний пейзаж отличался от ночного разительно. В седьмом часу утра сон Виктора нарушил неприятный странный скребущий звук. Затем снова услышал он скребущий звук с постукиваниями, потом ещё и ещё. Виктор решил посмотреть, что происходит. А когда увидел, не поверил своим глазам: теплоход двигался по лесу. «В пору было перекреститься», — пишет автор. Проплыли мимо двух берёз, потом мимо верхушки сосны, и снова на пути берёза... Виктор вышел на палубу



и увидел, что теплоход движется по широкому заливу, который ещё недавно был лесным участком, и деревья, растущие на нём свободно и привольно, теперь во множестве торчали из воды. К счастью, мало кому доводилось такое видеть. «Неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину».

И всё же, картина была скорее печальной, нежели фантастической. Она была из тех, что бередят душу и не забываются. Умирающие деревья были жалкими, голыми, их ветви набухли и были скользкими, а серёжки на берёзах — чёрными, похожими на гусениц. Деревья пытались держаться, но вода всё более лишала их земной опоры. Одним деревьям ещё удавалось стоять прямо, другие клонились к воде, неустанно вымывающей из-под них землю. Особенно тяжело приходилось деревьям, когда на них набегала волна, и растения качались вместе с корнями, растрчивая последние силы.



*Затопленные деревья. Фото из интернета.*

Казалось, деревья разбудили пассажиров ранним утром, цепляясь разбухшими ветвями за борта теплохода, чтобы растревожить людские сердца, чтобы люди посмотрели, как тяжело растения умирают по вине человека. Безмолвные жертвы реки, потерявшей берега, неммым укором напоминали о себе. Они росли в лесу, который был тут испокон века, а теперь стали утопленниками. А на новом берегу «лес, не затопленный водой, чудом спасшийся от смерти на кромке своего счастья, словно бы не до конца верил в это чудо и ждал для себя какой-то новой беды».

Перегороженная вода, почувствовав мощный затор, не имея возможности продолжить беспрепятственный путь вдаль, пошла вширь, заливая рощи и леса. Она безжалостно вымывала корни деревьев, вымывала она и корни людские. Строения и их останки, огороды, поля, могилы, вековая история — всё оказывалось под водой. Старые люди, вросшие в родную почву, переехав на новое место, не могли пережить утрату и быстро умирали... И это светопреставление произошло, потому что река перестала быть той рекой, какой её задумала природа, а берега, её окружающие, перестали быть берегами. Так быть не должно. В природе всему уготовано своё место. Река не должна становиться землёй, а земля — рекой.

Валентин Григорьевич любил и берёг природу, болел её болями. И чем старше становился, тем больше. Он говорил, что в старости бывает очень больно, когда видишь умирающее дерево. А как больно видеть умирающие деревья во множестве! Писатель считал, что природа стоит между человеком и Богом. И чтобы жить в согласии с миром, быть ближе к Богу, надо с ней соединиться...

Затопление земель — пример разъединения, разрыва с природой. В результате затопления возникает хаос в природе и в душах людей...

Герой очерка с оторопью смотрел, как широко разлилась вода. До другого берега было километров десять, а значит, были затоплены многие тысячи гектаров земли. «Вода, вода, кругом вода...» Он удивлялся, что такой потоп можно было запланировать и уверенно его осуществить. От реки не осталось ничего и даже, сколько ни напрягайся, не получится угадать, где проходило её прежнее русло. По сути уже не река, так как она во много раз стала больше. Но и до моря ей ещё ой как далеко. Не река и не море, а так: ни то, ни сё. Распутин называет её в очерке «огромной массой воды». Ангара перестала быть рекой, весёлой, летящей. Валентин Григорьевич с глубокой печалью говорит об этом: «В ней уже не было причудливой игры синей и зеленой красок, живой и волнующей неустанности в красоте и радости свершающегося движения, смутного, темно-бутылочного сияния глубины, и чистой, со стеклянным звоном, музыки на перекатах, и волнистых поперечных дорожек от впадающих с силой горных речек, и гордого, манящего к себе вида островов — всего того, что еще только вчера несла с собой река. Из края в край вода лежала покорно и глухо одной необъятной равниной, подавляя своей тяжестью унылые и низкие берега. Воздух над ней был пуст, не носились в нем стрижи со свистящим, отрывистым звуком, не заливались ласточки, не собирались они в дружные, гомонящие — хоть уши затыкай! — стаи, чтобы отогнать ястреба».

Ангара перестала быть той рекой, всматриваясь в тёмные глубины которой, Валентин искал чуда. Она стала представлять собой ряд водохранилищ или, как сказал писатель, необъятную равнину, подавляющую своей тяжестью унылые и низкие берега. В самом названии «Ангара» чувствуется красота, сила, нор, загадка. И вряд ли можно найти что-нибудь приятное, самобытное в слове «водохранилище», или в сочетаниях слов «огромная масса воды» и «необъятная равнина».

Кончилась прежняя река, кончилась прошлая жизнь, канула в водохранилище. Утрачено то, что срасталось не один век в этом далёком от больших городов месте. Люди пришли сюда по доброй воле, увидели, что природа здесь богата, что всё: рыба, орехи, грибы, ягоды, чистая вода — предназначено для жизни. И они стали здесь жить, вращаясь в эту землю, привыкая друг к другу. Теперь их отрывают от родной земли, отрывают против воли. А к новой земле, к другой жизни, к чужим людям надо привыкать. И привыкнется ли?..

На корабле Виктор, или лучше сказать Валентин, размышлял о труде писателя, о том, как трудно находить нужные слова, как «ёрзает, а то и бьётся в мучительных судорогах неправильно поставленное слово». Он, начинающий писатель, был строг к себе и порой ненавидел себя за беспомощность и бесталанность. Взяв в руки книги талантливых авторов, удивлялся, как, читая книгу, можно явственно ощущать запахи, видеть краски и оттенки, слышать звуки, почему книга так волнует душу. И всё это чудо делает простое слово. Но ведь из одних и тех же слов написаны все книги — и хорошие, и плохие. И только лучшим писателям дано почувствовать слово и окропить книгу живой водой, чтобы книга стала жизнью.

Валентин Распутин знал, что не может не написать о том, что произошло с его Аталанкой, с его Ангарой. И он постарается написать так, чтобы его боль стала болью каждого читателя. Он знал, что сделать это будет непросто. Нужно будет снова и снова переживать горькие моменты своей судьбы, мучительно искать точные слова. Но он взялся за этот тяжёлый труд, и мы знаем, что ему это удалось.

Далека от большой земли Аталанка — затерянная среди бескрайней тайги маленькая деревня. И единственной связью с миром долгие годы был известный ранее колёсный неуклюжий пассажирский пароход «Лейтенант Шмидт». История парохода богата, и хочется немного о ней сказать.

Корабль был построен ещё в 1893 году. Строили его в Британии по заказу Управления строительства Сибирской железной дороги. По Северному морскому пути пароход пришёл на Енисей, где и работал до 1898 года. Назывался он тогда «Лейтенант Малыгин». В 1897 году на нём из Енисейска в Красноярск плыл адмирал Степан Осипович Макаров, следовавший из Норвегии к Енисею с целью изучения Северного морского пути. Пароход доставлял грузы для строительства Транссибирской магистрали и части ледокола «Байкал» до Падунского порога, а оттуда их другим транспортом перевозили в Иркутск и Лиственничное. А в 1898 году и сам «Лейтенант Малыгин» по обводному рельсовому пути был переведён через Падунский порог и пришёл на Байкал. Много ему пришлось потрудиться на Байкале, узнал он сполна байкальские шторма, принимал участие в Гражданской войне. В 1912 году после капитального ремонта вид корабля сильно изменился. А в 1924 году судно переименовали, и стал он называться «Лейтенант Шмидт». 2 ноября 1932 года выдался морозный день, с озера поднимался густой пар, и видимости почти не было. «Лейтенант Шмидт» вышел из Баргузинского залива, и сильным ветром и высокой волной его выбросило на скалы. Корпус парохода был пробит в нескольких местах. Команда и пассажиры с трудом спустились с корабля и ушли в ближайший посёлок. А «Лейтенант Шмидт» после ремонта отправился служить на Ангару. И хотя после своих «ранений» пароход заваливался на правый бок, он работал ещё почти 30 лет.

Этот заваливающийся на один борт пароход почти тридцать лет отходил по Ангаре. И когда он летом впервые появлялся и давал гудок на всю округу, Аталанку охватывала общая радость. Все жители бежали его встречать, даже палили из ружья и размахивали флагом, содранным с сельсовета. Все, кто мог ходить, были в эти минуты на берегу. Это был настоящий праздник. Жители Аталанки встречали пароход каждый раз всё лето и не расходились, даже жгли костры, когда он опаздывал. Приезжали гости и незнакомые люди, оживала деревня. А маленький Витя, глядя на пассажиров, представлял, что и он когда-нибудь вот так же покатит, куда ему захочется.

С наступлением холодов «Лейтенант Шмидт» покидал деревню, и она, заброшенная, сиротливая, оставалась совершенно одна на свете. На душе у всех было горько, сжималось сердце, аталанцы жгли прощальный костёр, и стояли возле него молча. Людям предстояло зимовать в одиночестве всю долгую-долгую зиму. Одиночество тягостно как для отдельного человека, так и для деревни в целом. Преодолевали трудности всей деревней. Выживали сообща, в теплоте и заботе друг друга. По-другому было не выжить. Зато какая большая радость ждала их, когда зима проходила, и снова появлялся «Лейтенант Шмидт»! И этот долгождан-

ный пароход-колёсник, с широкой приземистой палубой, заваливающийся набок, казался всем красавцем. Душа каждого жителя наполнилась любовью к нему и, наверное, в первую очередь к Ангаре: засыпала река — уходила жизнь, а просыпалась — и всё оживало...

В повести «Деньги для Марии» есть герой — дед Гордей. Ему было за семьдесят лет, и он покосился на один бок. И, конечно же, в деревне прозвали его Лейтенантом Шмидтом, в честь любимого старенького парохода, который загребал воду правым бортом. Корабль ремонтировали, но выправить «осанку» никак не могли, к радости людей, любивших его таким, какой есть.



*Пароход «Лейтенант Шмидт».*

Но вернёмся к очерку. Белый теплоход «Сибирь» после долгого пути приближался к Аталанке. Места, которыми плыли, были хорошо знакомы Виктору. С пятого класса он учился в школе в пятидесяти километрах от дома, и домой на каникулы, когда не было попуток, он добирался пешком. И за день проходил все пятьдесят километров! Но сейчас он ничего не узнавал. Дорога, по которой он ходил, под водой. Кругом — сплошная чужая глазу картина тайги...

И вот подошли к пристани. Но «ничто не отзывалось сердцу, бившемуся в сладостном и тревожном волнении, ничто не откликалось на его зов, словно Виктор ехал сюда впервые». Да по сути, он и ехал сюда в первый раз.

Он кое-как узнал место, по которому шёл. От него до старого берега было не меньше километра...

Мать и отец показались ему сильно постаревшими, и это его расстроило. Они очень обрадовались приезду сына. О том, надолго ли он к ним приехал, отец спрашивает осторожно. А сын отвечает неопределённо. Он и сам ещё не знает, сколько он пробудет в гостях, хотя лето у него было свободно, и он надеется провести его в деревне. Думал, и жена с сыном скоро смогут приехать сюда, будут дышать свежим воздухом, пить парное молоко. А он будет ходить за грибами и ягодами. Будет отдыхать, сидя на брёвнышке, всласть дышать лесом, слушать голоса природы.

Сердце Виктора ныло: деревни больше не было. Вместо неё был большой рабочий посёлок, составленный из разных деревень. Раньше в деревне были все свои, а теперь люди не знали половину жителей. Многие нанимались на работу, затем уезжали, их сменяли другие.





*Аталанка. Фото А. Тарановского.*

Виктор к стыду не узнал свою избу, «она показалась ему теперь совсем маленькой и старенькой, с полуслепыми, как в зимовье, окошечками, с почерневшими, потрескавшимися бревнами в стенах и нелепо торчащими неровными углами. Но это была она, и теплое и горькое чувство благодарности и вины нахлынуло на Виктора и сжало его сердце».

Дома все были рады приезду Виктора, но разговоры за столом велись невесёлые. Родные говорили о старой деревне, о колхозе, где жили весело, но дружно. Галина, тётя Виктора, пожаловалась, что она теперь за ребяташками каждый день грязь подтирает, а в колхозе была человеком. Бабушка рассказала внуку, что её подруга Лукея не выдержала на новом месте и года. Очень тосковала, хотела вернуться назад и перед смертью сильно плакала.

Отец рассказал Виктору, что поднималась вода не очень быстро, но ходко, и он часто ходил на берег прощаться с местом, где стояла Аталанка. Николай, брат отца, подтвердил, что желание сходить на место родной деревни было очень сильным: «С работы приду, поем — не поем, а уж под гору надо». А там уже то один, то другой бродит. А Егор Плотников сидел там днями и ночами, будто пристыл. Бабушка пожаловалась, что мёртвых утопленниками сделали, много родных у них похоронено и где их теперь искать...

Отец рассказал, как вода зашла на их землю: «В последний раз так было. Только с горы спускаться, гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не удержишь. До дороги добежал, а вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. И лезет, лезет, глазом видно, как лезет. Я отступаю от нее, но смотрю, не убегаю. Сор подняло, какой был, угли, крапиву, лебеду теребит. До избы докатилась, где изба наша стояла, и воронкой давай крутить — в подполье, значит, кинулась. Пока смотрел, оглянулся, а она уж меня со стороны обошла, уж брести надо. На первую гору за Егоровым огородом залез, вижу, народ из деревни бежит. А сначала один был, никого больше, первый её, холеру, встретил...»

Рассказ отца произвёл на сына большое впечатление. Вода кинулась в подполье их дома, пусть бывшего, и начала крутить воронкой — образ незабываемый. Да, это уже не прежняя милая сердцу Ангара. Не Ангара...

Родные рассказывали Виктору, как топило их старую деревню, как они боялись, что вместе с ней затопит и новую, и на душе от их воспоминаний становилось всё тяжелее.

Узнав, что рыбы стало больше, Виктор немного приободрился, но оказалось, что во множестве водятся окуни, сороги и щуки, а хариусов и ленков давно нет, так как чистой рыбе нужна чистая, проточная вода.

Довелось мне читать и слушать рассказы местных жителей о том, как много рыбы было в Ангаре до затопления. Ловил её и стар, и мал. Рыбалка на удочку считалась баловством. И рыба была крупная, жирная, вкусная. А когда плотины строили, затопило речки, куда рыба на нерест шла, и рыба стала выбрасываться на берег. Берега от неё блестели. Звери её ели и съесть не могли. Загнивающие под водой деревья портили воду, травили рыбу своей гнилью...

Спал Виктор в дощатом пристрое, спал полным и глубоким сном. Проснулся он от кудахтанья кур, мычания коровы, чирикания воробьёв и от солнечных лучей. Он вышел на крыльцо и обрадовался увиденному: «Утро казалось удивительным — ясным и чистым, все в нем было на виду и все вызывало волнующее ощущение простора и первозданности, будто только что, час или два назад, на смену прежним выступили свежие, совершенно новые краски. В небе дотаивали после ночи прозрачные, изогнутые, как крылья, редкие белые облака, мягко всплывало в высоту, наливаясь теплом и страстью, солнце, воздух, нагреваясь, слабел, размыкался и парил, за огородами близко, широким полукружьем вздымался лес, а с другой стороны, за крышами домов, сверкающей под солнцем бездной покоилась вода».

Казалось, утро должно было примирить Виктора с действительностью или хотя бы приглушить боль. И чтобы продлить и закрепить в себе радостное чувство от чудесного деревенского утра, он идёт в лес. Но тот лес, который он хорошо знал, стал только видимостью леса, он оказался близко от новой деревни, и его почти вырубил для хозяйственных построек, для изгородей. Кругом лежали сучья и торчали высокие пеньки. Он долго шёл в гору, вышел на тропинку, а она пролежала рядом с тракторной дорогой, по обочинам которой валялись деревья с необрубленными ветками. И он пошёл без дороги, вспоминая грибные и ягодные места, останавливался, вглядывался, шёл дальше. И вдруг из невесёлого, почти уничтоженного леса попал в другой лесной мир, не тронутый рукой человека: «Здесь было просторно, светло и празднично. Раздвинувшись, чтобы не застить друг друга свет и не тянуть друг у друга влагу из земли, важно и фасонисто, как барыни-боярыни, стояли полные и пышные березы с широко раскинутыми, свешивающимися вниз тяжелыми ветками. Листья на них были еще клейкие, как чешуя, и нежные, с тонкими, бледными прожилками, каждый по отдельности листочек представлялся знобко-притаившимся, пугливым, а все вместе они вызвали длинную и счастливую песнь покоя. Кружась перед глазами, пятнистые стволы берез, омытые весной, вызвали смутное и далекое, блаженно-скорбное томление, то озаряющееся внезапной вспышкой, когда чудилось, что вот-вот оно откроется и назовет свою тайну, то снова покрывающееся туманом. В узорных корявинах и царапинах стволов собирались и обрывались вниз капли сока. Внизу струилась и плавилась тень от берез и цвели подснежники; от невысокой и ровной, будто подстриженной, травы, над которой гудели шмели и порхали бабочки, шел



густой, терпкомедяной дух и веял вздымающимися волнами тихий, молитвенный шелест. И далеко-далеко, дразня и пугая, обносил своим гаданием звонко-равнодушный голос кукушки. И так хорошо, так сладостно-жутко от жизни и солнца, так удивительно и счастливо было здесь, что от этого невыразимого, несусветного счастья хотелось плакать».



Воду на чай мать с отцом Виктора привыкли брать только из реки, а вода из скважины была жёсткой, и Виктор пошёл за водой к реке. Но набрать воды оказалось не так просто, в берег била волна, и вода была красноватой от глины. Виктор попытался зачерпнуть воды со стоящих на берегу лодок, но пить такую воду было нельзя. Подошедший мальчик сказал, что за чистой водой нужно плыть на лодке, и предложил отвезти его вглубь реки на своей. Виктор согласился. Они проплыли метров сто и наконец нашли воду, почти чистую, но в ней всё-таки плавал мусор.

Виктор попытался найти что-то хорошее и в этом случае: вода теплее, чем была раньше, потому что нет течения, а значит ребятам можно купаться, учиться плавать. И не надо бежать из реки к разведённому костру, как это делали они.

Виктор и мальчик искупались в реке, доплыли до верхушек торчащих из воды деревьев и забрались один на сосну, другой на берёзу. И Виктор с горькой иронией отмечает второе преимущество реки: раньше в Ангаре не было среди воды таких пунктов отдыха...

Потянулись деревенские дни, они сворачивались в один смутный клубок. Виктор с удовольствием поливал огурцы, помог посадить матери картошку. Он побывал на рыбалке, но она не вызвала в нём былого волнения и наслаждения. Он часто ходил в лес, где находил «блаженный покой», но такое чувство, знал он, мог испытать не только здесь, но и в другом лесу. Он гулял по деревенским улицам, а, задумавшись, останавливался среди улицы и не мог понять, куда забрёл, для чего он здесь, что ему нужно среди незнакомых домов, незнакомых людей. Он утешал себя тем, что пройдёт несколько дней, и всё изменится, он привыкнет к новой деревне. Но шли дни, а перемен не было, и с этим было ничего не поделать. «Виктор никак не мог привыкнуть к тому, что он уже приехал, ему казалось, будто он все еще в дороге и остановился где-то неподалеку от родной деревни, настолько неподалеку, что иногда вдруг нечаянно можно выйти к знакомым местам, памятным

по детству и прежним наездам, окунуться в их таинственный и заветный дух и почувствовать в себе чистое и трепетное волнение, отзывющееся на их близость. Он был рядом и все-таки в стороне, и там, где он теперь находился, висело другое небо — однобокое и неровное, сильно смещенное в один край над водой; лежала другая земля, в редкие сокровенные минуты напоминающая ту, на которой он рос, и все же чужая и неясная; гнулись под небом другие горизонты и стояло в центре всего этого другое село — большое, пестрое и шумное. Он готов был поверить, что приехал сюда не вовремя — или слишком поздно, или рано, но не в свой час, затерявшийся неизвестно где по ту или другую сторону от этих дней».

В конце концов, как-то оставшись наедине с матерью, он сказал ей, что уезжает со следующим теплоходом. Она испугалась, долго на него смотрела, но зоркое материнское сердце хорошо знало, что сыну здесь тяжело. Она только спросила: «Места себе не находишь?». «Не нахожу», — ответил сын.

И он, попрощавшись с родными, уехал, даже можно сказать, сбежал из деревни. И сам не мог поверить в то, что он возвращается в город. Он пытался понять, почему уехал. И решил, что ему надо уехать, для того, чтобы вернуться снова, чтобы повторить свой путь по новой Ангаре, любоваться рекой, испугаться разливу воды, увидеть затопленные деревья. Но самому при этом быть более опытным и спокойным человеком. И знать, что ждёт его там, в новой деревне, где живут его родители, где живёт его любимая бабушка. И, может быть, уже скоро он вернётся...

Переменив место, Аталанка разрослась, стала посёлком. Но участь ждала её незавидная. Хорошей рыбы в реке не осталось, близлежащую тайгу вырубил. Электричество, несмотря на то, что деревня пострадала, не провели. Дороги не отремонтировали. Одним словом, никому Аталанка оказалась не нужна.

Валентин Распутин знал, что новая Аталанка никогда не заменит ему старую. Аталанка его детства навеки осталась в его сердце. Валентин Григорьевич писал, что в его «неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося еще и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах».

Жители его деревни были крепки духом, сильны добротой, богаты метким живым словом. Он, учась в школе в 50 километрах от деревни, понимал, что должен учиться, несмотря на большие трудности, и должен учиться хорошо, ведь на него надеются все земляки и помогают ему, чем могут. А значит, нельзя их подводить. Он хотел стать учителем, но почувствовал, что может писать книги, что у него есть знание яркого и меткого народного языка; и ему есть о чём и о ком сказать. «Будь у меня три жизни и пиши я в десять раз быстрее (а я всегда писал медленно), то и тогда мне вполнину не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, незаметной до переезда, полусонной», — говорил Валентин Григорьевич. И всё это богатство дала ему Аталанка — навеки ушедшая под воду земля. Аталанка дала ему и безграничную любовь к природе, неразрывную связь с которой он чувствовал всю жизнь.

Валентин Распутин не искал лёгких путей, не плыл по течению, а стойко выдерживал удары судьбы. А стойкость и упорство тоже дала ему затерянная в просторах тайги родная Аталанка. Из любви к малой родине выросла его нескончаемая любовь к огромной нашей стране — России.

В документальном фильме «Река жизни. Валентин Распутин» рассказывается о необычной экспедиции, участниками и главными лицами которой были Валентин Распутин, Валентин Курбатов и Геннадий Сапронов. Две тысячи километров

они проплыли по изнурённой Ангаре с целью предотвратить дальнейшее затопление Ангары.

Два дня они провели в Аталанке. А когда поднялись на теплоход, чтобы продолжить путь, товарищи попросили Валентина Григорьевича показать место прежней Аталанки. Он показал наугад. Прощально загудел теплоход, люди бросили в воду поминальные цветы — цветы затопленной деревне, цветы погребённым под водой могилкам, цветы когда-то цветущей земле, цветы прошлому — пусть нелёгкому, но светлому...

Более полувека нет Аталанки. Но она была, она жила, она творила свою историю, гордилась своими людьми. И мы должны быть благодарны маленькой деревне, всего в 40 домов, уже за одно то, что она дала нам Валентина Григорьевича Распутина — великого, мудрого писателя, скромного человека, любящего родную землю, непреклонного защитника Ангары и Байкала.



ОЛЕГ НЕХАЕВ

## Подлецы таких не переносят\*

Иркутск, 2003 год

К этому времени в живых в Сибири из писателей-классиков остался только Валентин Распутин. Но его голос почти не был слышен. Я приехал в город, где он жил, чтобы встретиться с ним. Узнать о причинах его своеобразного затворничества. Ведь после появления повести «Пожар», в последующие 17 лет, он напомнил о своём существовании всего лишь несколькими рассказами.

Но было ещё и другое. Более важное...

Не давал покоя разговор в больнице с Виктором Петровичем Астафьевым. Он уже чувствовал, что жить ему осталось совсем немного. «Болезненных» тем я с ним старался не затрагивать. Тем более, не касался его разлада с Распутиным. Два величайших художника после многих лет душевного единения стали, как враги. Различия в общественных позициях образовали в их отношениях непреодолимую пропасть.

Для Астафьева это было наболевшим. Он сам мне поведал о том, что читает Распутина. Скажет: «Мог бы Валя и приехать...» Распутин не приехал. Астафьева вскоре не стало.

Иркутская встреча мне нужна была в первую очередь, чтобы рассказать об этом астафьевском откровении... Как камень с души снять.

Позвонил ему. Попросил выделить время для общения.

— О чём разговаривать?! Зачем?! Кому это сейчас нужно! — категорично звучал из телефонной трубки голос Распутина. — Я больше двадцати лет занимался публицистикой. Сколько сил потратил на защиту Байкала! Ничего не изменилось. И вообще мне некогда. Послезавтра уезжаю на родину.

С большим трудом, но мы всё же договорились встретиться на следующий день, правда, с его непременным условием: «Не больше пятнадцати минут на весь разговор».

Нежданно выпавшее свободное время я потратил на прогулки по старому Иркутску и беседы с горожанами о Распутине. Из двадцати человек — 14 знали, о ком идёт речь. Больше того — ни от одного из них я не услышал дурного слова о Распутине. Не помогло и обострение разговоров напоминанием о его участии в политике. В ответ звучало: «А какое он имеет к этому отношение!» Все просто гордились знаменитым земляком, правда, совсем не зная, чем он сейчас занимается и почему даже в родном Иркутске его появление на людях стало большой редкостью.

---

НЕХАЕВ Олег. Журналист, литератор. Победитель более тридцати творческих конкурсов. Обладатель высшей награды Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм» и премии «Золотое перо России». Несколько рассказов признавались лучшими в литературных конкурсах. Роман «Забери меня в рай» вошёл в Длинный список Международной премии интеллектуальной литературы имени Александра Зиновьева. Очерк о Н. Гоголе был назван в числе лучших работ литературной критики Волошинского фестиваля, а в конкурсе «Русский Гофман» стал победителем.

---

\*Очерк является отрывком из книги «Астафьев», которая готовится в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ.

Своеобразную черту под нашими разговорами подвёл свободный художник Александр Чегодаев. Посетовав на давний отказ Распутина в позировании для портрета, он уверенно заявил: «Даже если он больше ничего не напишет, всё равно войдёт в историю как величайший писатель. Его “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” — будут читать долго».

Я понял, что те отведённые для беседы нищенские четверть часа мало что дадут в постижении Распутина. Нужно ехать с ним на родину, в далёкий Усть-Удинский район, откуда он пошёл во взрослую жизнь.

Хотелось понять, как этот мальчишка из голытьбы, знавший «яблоки только по картинкам», а далёкий город по случайным рассказам, — выбился, как говорили раньше, в люди.

Он был из такой глубинки, что стал первым в своей Аталанке, кто поехал в райцентр за... средним образованием. И пока он страстно постигал учёбу, помогавшая ему мать сгорбилась от таскания воды в казённую баню.

Ему с самого начала было больше уготовано потеряться в той жизни. И никто бы за это не осудил.

Всё это выглядело хорошей прелюдией, но известный иркутский журналист на корню убил все мои надежды, сообщив категоричное: «Он уже лет шестнадцать никого из чужих с собой в такие поездки не берёт. Сколько ни пытались поехать с ним корреспонденты, бесполезно! Так что даже и не надейся. Возьмёт, как всегда, Костю, он у него как друг-биограф, и Машу-телевизионщицу. Всё! Остальным дорога заказана».

## К самому себе

Распутин принял меня недоверчиво. Для коренных ангарцев это характерно. Сначала прощупают твои намерения, а потом или найдут мягкий предлог указать на дверь, или одарят хлебосольным гостеприимством. Уж это я хорошо знал. Несколько лет проработал собкором по региону строительства Богучанской ГЭС, которая строилась тогда в срединной части Ангары. Да ещё и фильм сделал об ангарцах и их уникальном ангарском говоре.

...Беседуем с Распутиным о Сибири. Говорим натужно, а между нами незримо сидит настороженная птица общения. Чувствуется: одно неверное слово, словно хруст ветки под ногой, и она стремглав бросится в небесную синь открытого окна. Ни диктофон, ни блокнот я так и не решаюсь достать.

Разговор наш происходил в местной писательской организации. Распутин вдруг поднялся и, прощаясь со мной, кому-то невидимому сказал вглубь комнаты, что его долго не будет.

Пугаясь, что упускаю последнюю возможность, чуть было не спрашиваю его об отношениях с Астафьевым. Спыхватываюсь и тараторю, как пулемёт, вслед ему уходящему. Говорю, что весной, как Робинзон, забытый загулявшим егерем, жил один и голодал три недели на маленьком острове Ушканьего архипелага посреди Байкала. А потом, — это я ему уже рассказываю, спускаясь с ним по лестнице, — обошёл и весь удивительный Большой остров. Сделал это специально, чтобы сравнить его впечатления и свои. Распутину тоже однажды пришлось пожить на этом острове.

Он недоверчиво смотрит на меня, останавливается и спрашивает: «Там же в одном месте трудно по берегу пройти?»



И, радостно соглашаясь с ним, рассказываю и про это место, и про бутылкообразные листовницы, и белоснежные мраморные скальные выступы, и чёрные наплывы застывшей магмы, миллион лет назад остуженные ледяной байкальской водой. И о многом другом, что видели совсем немногие. Обычные туристы туда никогда не добираются.

И Распутин мне тоже рассказывает о своих байкальских открытиях. А дальше мы начинаем делиться обоюдными впечатлениями о бывшей сибирской столице чая — Кяхте. Свои размышления о ней он описал в книге «Сибирь, Сибирь...»

Потом мы будем ещё шагать по улице и говорить, говорить... Наконец, душевные камертончики сверены.

Утром едем в его родную Усть-Уду.

### **Запись в блокноте:**

*Пошестого утра. Я, как перст, стою возле театра уже минут двадцать. Через пустынный проспект идёт человек. В руках тяжёлые пакеты. Только потом понимаю, что это Распутин несёт увесистые книги. Свою ношу, как крест, тащит сам. Дальше тоже он никому не будет позволять, даже близкому окружению, подыгрывать его известности. В подъезжающем автобусике сидят оговорённые сопровождающие и маленький фольклорный ансамбль. Это обласной отдел культуры отправляет в отдалённый район «культурный десант».*

## Ломая себя

Не зная, как сложатся наши отношения дальше, прагматично решаю, что вначале, для оправдания командировки, нужно поговорить об обыденном, а потом уже рискнуть спросить Распутина о главном. Благо сидим с ним в автобусе рядышком. А ехать до райцентра часов шесть.

— Валентин Григорьевич, у меня такое чувство, что сейчас вы, как Игренья из вашего «Последнего срока», выезжаете на характере?

— Может быть. Сомнения, по правде говоря, меня посещают часто. Уныние тоже случается. Иногда и безнадёжность полная бывает. Но нельзя... Нельзя этому поддаваться. И главное — нельзя своё мрачное настроение высказывать публично. Это же сказывается на других.

— Тяжело вам было пробиваться к признанию из своей родной Аталанки?

— А у меня всё как-то само собой получалось. Школа. Университет. Ещё до его окончания начал работать в иркутской молодёжной газете, где была по-настоящему творческая обстановка. Из одиннадцати журналистов — семь членов Союза писателей. Все писали рассказы, и я писал. Потом — «молодёжка» в Красноярске...

— Вы начинаете мне рассказывать биографию...

— А что вы хотите услышать?! — он резко и удивлённо на меня посмотрел и тут же спокойно продолжил. — Ну, да, была у меня ломка. После деревни работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне приходилось поддаваться на это. Ломять себя. Но очень скоро я опаматовался и понял, что это не моё. И как только я вернулся к родному языку — мне стало гораздо легче...

До таёжной Усть-Уды мы добрались часов за пять. Именно здесь он заканчивал школу. Об этом периоде у него есть почти документальный рассказ «Уроки французского», по которому был снят хороший одноимённый фильм. Распутин



шутит по этому поводу: «Теперь, когда мне хотят сделать приятное, говорят: читали-читали ваши “Уроки...” — и начинают сообщать киношные подробности, которых нет в рассказе».

Поразительно, но его бывшая учительница французского волей судьбы оказалась во Франции. Случайно зашла в парижский книжный магазин, увидела на обложке «В. Распутин», открыла книгу ради любопытства и тут же прочитала её на одном дыхании. Спустя десятилетия они встретились в Москве воочию. Вновь увидели друг друга ученик и учительница, которая помогла ему, когда он голодал. Правда, переступая при этом этические нормы. Её уволят. Но только в книге. На самом деле, после замужества, она просто-напросто уедет из Усть-Уды. А потом тот литературный мальчишка-школяр получит от неизвестного отправителя целую посылку книжных макарон и три яблока. Жизнь же оказалась значительно прозаичнее...

В родную школу Распутин не заглядывал почти 50 лет. Когда зашёл... Память тут же подсказала, казалось бы, совсем забытое... Сохранились даже истёртые временем деревянные ступеньки. Вот только большинство из тех, с кем он когда-то по ним поднимался, — ушли из жизни. И он потом с горечью скажет уже многократно проговорённое: «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что случилось с нами после».

«После» все деревни по верхней Ангаре спешно переселили. Людей посрывали с мест. Их родные земли оказались на дне искусственного моря. Братская ГЭС тогда гремела на всю страну. Слезы и боль ангарцев были заглушены грохотом турбин. А Валентин Распутин возвращался в свою новую Аталанку, перенесённую на возвышенный берег нового «моря».

Он всё хорошо помнил. Как пароход «Фридрих Энгельс» подходил к берегу буквально по лесу, раздвигая кроны деревьев. Их ведь не вырубали, так и оставив на дне. Всё делали в спешке. Даже кладбища не перенесли. О живых тоже вспомнили в самую последнюю очередь. А затоплено было больше ста обезлюдивших сёл и посёлков.

Несколько десятилетий прошло с тех пор, как надругались над красавицей Ангарой. Но разумности прошедшие годы не прибавили. В «море» — заражённая рыба. Вода смешана с вредными сбросами. Кое-где появились даже «ртутные» отмели с опасного химзавода. А на дне до сих пор продолжали стоять окаменевшие листовницы, как кресты над исковерканными судьбами людей. По словам Распутина: «Многие переселённые деревни погублены. Люди спиваются. Рожают уродов. В школе моей Аталанки таких детей уже чуть ли не третья часть».

После встречи с родной землёй Валентина Григорьевича больше не надо было уговаривать высказаться. Первое же выступление в клубе и сразу — душевное единение с пришедшими:

— Я всё время спрашиваю себя: что же так тянет сюда? Ведь никогда здесь на Ангаре не было лёгкой жизни. Всегда было трудно. А после перестройки она стала совсем гнетущей. То есть физически жизнь, может, раньше была и хуже, но нравственно, духовно... Такое ощущение, что украли у нас за прошедшие годы Россию.

Приезжаешь в свою Аталанку... Последний раз там был в сентябре. Грязища — непролазная. А я в ботиночках заявился. Да в них пройти там нельзя. Какой там коммунизм, как обещали раньше! Какой там капитализм с его благами, как обе-

щают сегодня. Просто пройти по улице нельзя из конца в конец. Какое там светлое будущее! Надолбы вот такие стоят. На брюхо ляжешь, перевалишься на другую сторону и дальше пошёл. Лесовозы всё разбивают. Деревянные тротуары ломают. Неухоженность страшная. Я там поживу и уезжаю на иркутский асфальт. Потом — на московский. Уж в столице совсем хорошо. Строят красиво сейчас. Лицо, правда, своё Москва потеряла, но зато европейский облик обрела. Тротуары с мылом кое-где даже моют. А что ж меня всё тянет в Аталанку? Да потому что родное там. Родина потому что. И без этого как-то и не живётся мне. Но это только с возрастом начинаешь остро чувствовать.

В этот момент я поднялся, осторожно подошёл поближе к сцене и, фотографируя, стал наблюдать за лицами пришедших на встречу людей. Они смотрели на него не шелохнувшись. Так родня встречает дорогого и долгожданного человека. Если бы Распутин просто стоял и молчал, они бы и это восприняли, наверное, с радостью. Уж с такой любовью они смотрели на него... А их самый знаменитый земляк говорил с ними просто, тихо и очень проникновенно. Будто советуясь с ними: правильно ли он жил, когда был в отъезде? И они его слушали. А он, как-то даже стесняясь такого особенного к нему внимания, продолжал неспешно рассказывать:

— Я повидал мир. Поездил, может, даже с избытком. Было что посмотреть, было чему удивляться... Но только здесь ближе всего находишься к самому себе, к своей сути. И человек остаётся человеком только тогда, когда он сохраняет связи со своей землёй. Когда помнит о ней. Он может уехать куда-то, работать далеко, потому что не всегда находится дело по способностям на родной земле. Но если он о ней забывает — это гибель. Человек перерождается. Происходит его мутация. Он может состояться профессионально. Но если он порывает со своими корнями — он порывает и со своим родительством...

#### **Запись в блокноте:**

*Перед поездкой в Усть-Уду отмечал командировку в Иркутской администрации, и высокопоставленный чиновник из отдела культуры предупредил меня: «Только не вздумайте с ним завести разговор об Астафьеве. Он сразу прервёт общение. Об этом уже все знают».*

### «И жив этот народ»

Повод поговорить об отношениях двух писателей усть-удинские встречи дали почти сразу. Распутин рассказывал во многом о том, что волновало и Астафьева. Их впечатления иногда были так близки, что зачастую звучали по своей сути в одной тональности.

Уж не помню в каком посёлке он рассказал о своей зарубежной поездке: «Я дважды был в Америке. Прожил там около двух месяцев. Слава богу, насмотрелся. Совсем другой народ. Только я не хочу сказать, что мы лучше. Во многих отношениях — хуже. Но мы остаёмся больше людьми. Мы ещё умеем плакать по-настоящему и любить по-настоящему, без выгоды и расчёта. И такими нам лучше и оставаться всегда. Мы должны начать возвращаться к России».

И именно об этом также, после посещения Америки, говорил и Виктор Астафьев. Они оба были честны и не уподоблялись типажам советской пропаганды о

«загнивающим империализме». Напрочь в них отсутствовал и квасной патриотизм. Они оставались похожими друг на друга, даже когда находились по разные стороны. Даже когда дошли до такого разлада, что делали всё, чтобы даже случайно не пересечься на каком-нибудь мероприятии.

Почитатели творчества Распутина, во время одного из моих общений с ними, категорично не согласились с вышеприведённым выводом. Они напрочь отмежёвывали своего кумира от Астафьева. Тогда я достал блокнот и зачитал цитаты. Тут же попросив определить распутинское или астафьевское авторство. Их вывод был однозначным и не верным.

Валентин Распутин, как человек, по сравнению с Виктором Астафьевым, никогда не был распахнутым миру. Это — абсолютная правда. Почти всегда молчаливый, закрытый в своих чувствах. Скромный в публичных проявлениях. Деликатный и великодушный. Но в нём скрывался и осмысленный омут. В нём была и потаённая бездна.

Для многих и многих оказались неожиданными цитаты из его личной переписки: «Про народ наш уж и говорить нечего. Неизвестно, что теперь и народом называть». И вот ещё: «Я подумываю, не уехать ли с родины... тяжело стало и жить, и работать... Говори о чём угодно и лучше всего о мировых проблемах и гармониях, но не о своих маленьких делах: мы хоть и в грязи, в дерьме купаемся, но это наше родное дерьмо, и нам в нём приятно».

И дальше: «В прошлом году сделали мы глупость, переехали на другую квартиру... и не подумали о том, что кругом будут жить коммунальщики, которых в каждой квартире как сельдей в бочке. И когда я перебрался в отдельную, я стал для них буржуем, и всю злость на нынешние порядки, не разобрав, они стали вымещать на мне. А тут ещё дверь мою при ремонте кожей обтянули — это уж верх всего. И началось — то навалят перед дверью, то какую-нибудь гадость подсунут. Пакость мелкая, но неприятная, и терпением побороть её до сих пор не удаётся».

В нём всегда была какая-то удивительная пронзительная выделенность. И через его глаза можно было заглядывать в его душу.

Дважды, в Красноярске и Иркутске, когда он возвращался вечером домой, его жесточайше избивали какие-то отморозки. Каждый раз били скопом. Одного. Увели так, что врачи опасались за восстановление зрения, а в последнем случае, когда проломили голову, беспокоились уже за его возвращение к привычной работоспособности. Подлецы таких честных и светлых не переносят.

Встречаясь с ангарцами Распутин никогда не затрагивал на своих примерах тему людской жестокости. Оставшись наедине, спрашиваю его:

— Валентин Григорьевич, когда вы говорите о народе — всё время обобщаете. Когда говорите с народом — словно его жалеете. Даже своим землякам не сказали ни одного резкого слова. А ведь есть за что...

— Тут нужно отделять одно от другого. Только в советской энциклопедии легкомысленно называли народом всё население страны. А на самом деле — это российская коренная порода нации, трудящаяся, говорящая на родном языке и сохранившая свою самобытность. И жив этот народ. И его долготерпение не надо принимать за его отсутствие. В нём вся наша мудрость. И народ не хочет больше ошибаться. Бойтся порывов, чтобы не дойти до самоистребления.

Можно гневаться, что в деревнях сегодня спиваются. Что людям нечем заняться. Что они теряют себя. Есть о чём говорить... Но сам народ ругать нельзя. Это всё равно что мать. Только устал он уже от всех этих мытарств.

— Кто-то из учителей вас спросил: почему нас так не любит Москва? И вы ответили...

— Да, не любит. Хотя в отдельные периоды её поддержку мы чувствовали. Сегодня федеральная власть старается забирать слишком много. Забывая отдавать. Вот в Усть-Уде опять большая задолженность по зарплате. А Москва будто бы этого не видит. Сегодня государство волнует, прежде всего, собственное самоутверждение. Народ в глубинке брошен. К нему ведь никто и не обращается. Власти разговаривают сами с собой. А когда с нашим народом по-человечески — он творит такие чудеса, что другим и не снились. Только вот никак не дожждётся он, чтобы с ним по-человечески...

### **Запись в блокноте:**

*Разговариваем вместе с Распутиным с главой района Владимиром Денисовым. Он сетует, что весь бюджет расходуется на выплату той самой зарплаты, которую всё время задерживают. На развитие ничего не выделяется. Не жизнь, а выживание. Лесозаготовительные предприятия с трудом находят рабочих среди местного населения. 70–80 процентов трудоспособных — уже не работники. Водка сгубила. Работают до первой полочки и потом в запой. Вот и получается по Распутину, что настоящего народа в Усть-Удинском районе, в лучшем случае — только треть. Сам он этого не говорил. Но вывод из его рассуждений напрашивался очевидный.*

## Штрих к портрету

Как называлось то помещение, где нас поселили вечером, не помню. Может это было какое-то общежитие? Но мы все должны были располагаться в одной большой комнате со множеством кроватей.

Зашёл Распутин и тут же спросил: «Я вот здесь примощусь, если не занято?» По-моему его с трудом, но всё же уговорили перебраться в более комфортные условия. Но штрих к его портрету вышел примечательным.

Увидев через окно, что он стал спускаться вниз к ангарскому берегу, хватаю фотокамеру, и бегом за ним.

Распутин стоял на пустынном мысочке. А перед ним — огромное пространство серой воды, с нависающей над ним чёрной тучей. Кадр-символ. Кадр-находка. Во мне всё трепетало от восхищения. Он обернулся на моё громкое прерывистое дыхание и увидев, что я ловлю его в видеоискатель, тихо сказал: «Не надо. Давайте просто постоим и помолчим».

И мы стояли. Сбоку валялись остатки ржавого катера. С воды тянуло порывистым ветром.

Молчали.

Тот упущенный кадр я помню до сих пор. Но в памяти сохранилось и сказанное затем Распутиным:

— Когда-то именно через эти места везли на дощанике в сибирскую ссылку протопопа Аввакума, — он задумался, а потом лишь на мгновение скрестив на груди руки, продолжил: — Если бы колесо истории повернулось к тому времени, я бы скорее всего оказался среди «раскольников». Наверняка бы был среди этих русских бунтарей! — и пояснил: — Те люди были настоящей крепости. Это мы сейчас стали слабаками и живём будто в торгашеской лавке.

Сверху заполошно замахал руками его негласный биограф Костя Житов. Пришла машина. Едем смотреть строящийся храм. Распутин отдал на него все деньги от недавно вручённой ему литературной премии. На месте выясняется, что их хватило только на фундамент.

Под начавшийся дождь, Распутин стал рассказывать, что церковь будет деревянная. Красивая. С золотистыми луковками-куполами.

— И в Овсянке тоже вся из дерева построена, — как-то само собой вырвалось у меня. — Когда её освящали, Виктор Петрович сказал, что многие люди не понимают для чего это всё нужно. И сам же пояснил: когда душа у людей порушена, то с восстановлением храма и она тоже начинает возрождаться...

Распутин молча выслушал меня. Никак не выразив своё согласие или несогласие со сказанным. Постоял. И пошёл один на кладбище, где у него был кто-то похоронен из родни.

### **Запись в блокноте:**

*За книгу-альбом «Сибирь, Сибирь...» Валентин Распутин был удостоен Премии Правительства России. Так оценили мастерство его текстов. А автор фотографий, которые сопровождали очерки, Борис Дмитриев, не получил ничего. Вот из-за этого он и начал гневно протестовать, грозя судебными исками организаторам. Распутин, не имея никакого отношения к этой скандальной ситуации, предложил ему взять половину его премии. И тот взял — полмиллиона рублей. А потом ещё и засудил тех, кто попытался его устыдить. Кстати, упомянутые премиальные как раз и предназначались тогда Распутинным на возведение церкви в Усть-Уде. А фотографу он ещё не один месяц выплачивал свой «долг»...*

## «Как душу держать»

Однажды в Болдине я целую неделю общался с американцем Джулианом Лоуэнфельдом. По профессии он юрист. Изучая русский язык, пришёл к Пушкину. Стал переводить его произведения на английский. А красота и сердечность пушкинских строк привели его к Богу. И он принял православие.

Какой же силой должно обладать русское слово в писательской огранке, чтобы совершать такое чудодействие!

Переводчица из Японии Харуко Ясуоко взялась переводить распутинскую повесть «Живи и помни». И уже хотела бросить всё, столкнувшись с языковыми трудностями, но её не отпускала судьба героини-праведницы Настёны. И она вновь продолжила перевод. Содержание так её захватило, что она на неделю приехала в Сибирь. А с выходом книги в Токио крестилась в православие с именем Анастасия. Распутинское слово также привело её к удивительному преображению. Как напишет в своём дневнике Валентин Курбатов, она «знала теперь, как и за кого жить и как душу держать».

Только упомянутая повесть вовсе не радостна. Волнующая и тягостная. Во время войны муж Настёны Андрей Гуськов становится дезертиром. Пробравшись в Приангарье, скрывается в тайге возле родной деревни. Вскоре селяне замечают, что Настёна забрюхатила. Так обернулись для неё тайные встречи с мужем. Тот опускается в своём падении всё ниже и ниже, и тянет за собой любящую его жену — верную ему и падшую в людском восприятии. Её преданность превращается в гибельную

безысходность. По собственной воле она уходит из жизни и исчезает в ангарской пучине. А с ней гибнет и её долгожданный ребёнок. А с ним, для предателя Гуськова, обрывается и единственная связующая духовная ниточка с будущим. Он так и не сподобился на человеческий поступок, который мог бы спасти всех. Прежде всего — себя.

Страшная повесть. Очень значительная для литературы тех лет. Знаменательная, как явление. Только где в ней социалистический реализм? Он даже рядом нигде там не прохаживался. Конечно, можно допустить, что цензоры увлеклись талантливым содержанием и просмотрели для себя важное. Такое случалось и во времена Пушкина. Но Комиссия по присуждению Государственных премий СССР в 1977 году тоже оказалась заворожённой.

В этом же ряду и астафьевское восклицание в письме Курбатову: «Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести “Живи и помни”. И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и приучившее к этому общество, неустойчивое, склизкое... оно, это общество, вместе со своими «мыслителями» не готово к такого рода литературе. Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определённо; хороших больше, чем плохих, — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми?»

Астафьев уже тогда обращает внимание на то, что иногда обстоятельства уродуют человека, и нет ему никакого снисхождения от государства. А прояви вовремя хоть чуточку к нему милосердия и, глядишь, и не пошла бы его жизнь под откос.

А самому Распутину он пишет:

«Очень ты хорошо написал повесть, Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она?»

А вот дальше проявляется его удивление уже другого рода:

«Но концовка... и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом. Да и сам знаешь, Валя, что-то есть в ней от лукавого. Ты сам и виноват. Нигде не допустил сбою, везде был предельно точен и искренен. И вот... Ты знаешь, как запутано всё было в ту пору? Народ ехал куда попало, убегал от баб, а бабы от мужиков. Твоей Настёне с ребёнком, да и вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе — тьфу! — раз плюнуть. Туда брали кого попало и как попало.

Нравственное что-то, совесть, растерянность, неумение сдвинуться с места не позволили? Но Настёна вон какую изворотливость проявляла до этого! Что-то тут надо доделывать, Валя. Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на уровне всей остальной вещи. Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутина — это отдельно от всей литературы стоящая вещь, и долго ей жить, но всё-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась...»

И подобные советы Распутину звучали ещё не раз от других литераторов. Здесь надо заметить, что Виктор Астафьев, по писательской молодости, не устоял однажды под напором пермской редакторши и «оживил» своего героя. А вот Рас-



путин не поддался, выдюжил. После журнальной публикации, книга вышла с тем же безнадёжным окончанием. Пытаясь отбелить его, некоторые критики писали, что таким образом Настёна не захотела идти против мнения народа. И даже этот «спасительный» вывод тоже тогда отдавал новизной затронутых взаимоотношений: человек и народ.

Однажды судьба свела меня в прибайкальском селе с художником, у которого не раз бывал в гостях Валентин Распутин. Даже пару раз он купил у него картины. И всё было хорошо. Но потом этот художник прочитал распутинское «Живи и помни». И когда Валентин Григорьевич в следующий раз заглянул к нему, тот ему откровенно рассказал, что в начале войны тоже дезертировал. Смалодушничал. И за это отсидел десять лет. А потом ещё несколько лет отбывал сибирскую ссылку. И показал ему автопортрет из лагерного периода. Реакция Распутина была, по его словам, негодующей, яростной. Он обозвал его предателем, бросил на стол только что купленную у него картину, и больше никогда у него не появлялся. И руки при встрече не подавал.

— Я для чего ему это всё хотел рассказать... — озлобленно пояснил мне художник. — Для того, что сошёлся я тогда с женщиной. И живу с ней до сих пор. И она всё поняла. А он даже не дослушал меня...

Распутин в «Живи и помни» осуждающе написал о дезертире: «На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился». За это в повести писатель «расправился» с ним жесточайше, обездушив. Но и в реальной жизни упомянутого художника, с отголоском похожей судьбы, он тоже не пожалел. Хотя, исходя из высказывания Распутина, можно было ожидать иного: «Для писателя нет и не может быть человека конченого. Да, я уверенно говорю: мы должны судить или оправдывать. Или — или... но не забывая судить, а потом оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человеческую. Пока жив человек, каким бы плохим не был он, есть надежда, что точка ещё в его судьбе не поставлена».

Бывает, что воспринятые убеждения начинают настолько докучать над человеком, что выдавливают из него его самого. Так кукушонок, подложенный в чужое гнездо, постепенно выбрасывает всех прежних его обитателей. И незамеченная подмена признаётся зачастую истиной даже теми, кто был порождён ею.

Известный критик Лев Аннинский, по просьбе издателя Геннадия Сапронова, написал предисловие к книге «Твердь и посох» (переписка Виктора Астафьева с Александром Макаровым). И в нём вдруг взял и поделился опытом опубликования своих статей в советское время: «Чтобы прошла искренняя, независимая, вольная нота, — редактору и цензору надо “выдать должное”... Спасительные фигуры известны. То глазки отведёшь на коммунистический “призрак”, то плечико полубнажишь: в случае чего, мол, подставлю».

Значит ли это, что тут ложь во спасение? Вовсе нет! Я действительно изначально верю в коммунизм, я в случае чего действительно готов подставить плечо, если стране будет туго. То есть я не кривлю душой. Но я вовсе не хочу на каждом шагу перед каждым охлагоном выставлять свои убеждения, мне их выставлять — унижительно, и я, конечно, обошёлся бы без ритуальных поклонов, если бы не редакторский прессинг, знакомый каждому, кто печатался при советской власти».

Строки из предисловия, приведённые выше, были написаны и опубликованы в 2005 году. Они предвещали издание, которое являлось расширенным вариантом переписки из книги Виктора Астафьева «Зрячий посох». Вот только как раз её сам Астафьев, не «строая глазки», не мог опубликовать целое советское десятилетие. Издатели решились на это только через три года после объявления перестройки.

Это к теме о необходимости «ритуальных поклонов». Виктор Астафьев, преодолев период журналистского греха, обретя статус профессионального писателя, больше в литературе уже никому не кланялся.

В советское время часто звучала песня со словами: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Под «Родиной» подразумевалось государство. В первом опубликованном рассказе Валентина Распутина «Я забыл спросить у Лёшки...», не говоря уже о его газетных публикациях, всюду выпирает ничем не прикрытая партийная идеология. Она, как густой соус у плохонького кулинара, всегда шла в ход, чтобы скрыть недостатки основного блюда.

В рассказе описывается, как во время валки леса молоденького Лёшку зацепило падающей лесиной. Два друга бросились сопровождать его в больницу, до которой ходу было тридцать километров. Единственный трактор бригадир им не дал, потому что нельзя прерывать работу, план нужно выполнять.

В начале их продвижения всё было терпимо. Они даже говорили про строительство коммунизма и веру в него. А дальше парню «захужело». И они уже его тащили на плащ-палатке. Но им всё равно не давал покоя вопрос: «Куда люди станут вписывать имена лучших строителей коммунизма?»

А потом покалеченный парень затих. И дальше они уже несли его мёртвого.

Небольшой рассказ от первого лица заканчивается так: «Я неожиданно вспомнил о том, что ещё забыл спросить Лёшку, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лёшке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца».

Неужели Валентин Распутин был тогда таким верующим в государственную утопию? Конечно, было бы ещё хуже, если бы автор написал этот рассказ на полном безверии...

Спустя лет тридцать популярная всесоюзная газета устроила обсуждение значимости одного трагического подвига. В каком-то селе парень бросился спасать загоревшийся трактор. И сгорел вместе с ним. В нормальном обществе всё должно было быть ясно без обсуждений: человеческая жизнь превыше ценности любой железяки. Но в советском устроили из этого обширную долговременную дискуссию. Песня «Раньше думай...» давно уже звучала не только по радио, но и внутри многих людей.

...Возвращаемся с Валентином Распутиным в Усть-Уду из какого-то посёлка, и он рассказывает мне, что, когда строилась Усть-Илимская ГЭС, среди рабочих по очистке будущего дна нового водохранилища оказался его дядя Лёня. И он с ним поехал смотреть, как происходит это действие. Ему это нужно было для тогдашней работы над повестью «Прощание с Матёрой», где тоже про затопление и про губителей исконной ангарской жизни. И дальше Распутин заговорил обо всём с какой-то залихватской азартностью.

В отдалённом затопляемом селе он увидел целую улицу нетронутых домов. С расписными ставнями. С массивными охлупнями на крышах. С воротами прикованных жиковинах. С русским печками. И всё это находилось при полнейшем безлюдии. По улицам ходили только брошенные собаки, кошки и... поджигатели. Как раз они-то и очищали деревню огнём.

Дальше Распутин поведал словно о какой-то бесовщине с его участием. Рассказал как они сидели в пылающем добротном доме, подожжённом с дальней сто-

роны, и пили в нём самогон с родственником. Тот уже знал поминутно, сколько и что горит. И в такой смелости был его своеобразный кураж. Испытал его вместе со страхом и Распутин. Дверь они прикрывали, когда дом уже весь дрожал от гудящего пламени и по стёклам окон струилась расплавленная горящая смола.

Всё это, спустя несколько лет, Валентин Распутин повторит, но уже в кратком изложении, в документальном фильме «Река жизни». То бесовство ему явно не давало покоя.

Когда мы с ним тогда говорили, мной уже было прочитано его «Прощание с Матёрой». И я тоже видел, как жгли дома на дне будущего Богучанского «моря». И видел слёзы тех, кто лишился родины. И это было страдальческое бедствие. А рассказанное Распутиным представляло как бы безучастным видением с другой стороны. Не с той, как видела всё это Дарья в его повести. Вот только нужной смелости спросить, как уживалось в нём одно с другим, тогда у меня ещё не было.

А в 1993 году расстреливали российский парламент. Валентин Распутин, оценивая поведение некоторых зрителей, восторгавшихся удачными попаданиями танкистов, скажет о них: «Это уже не зеваки, а действующие лица», — и согласится с тем, что подобные эмоции — «нравственное падение».

А вот и ещё одна странность в моём его восприятии...

Издатель Геннадий Сапронов организовал путешествие по воде Валентина Распутина с киношниками, как очередное прощание с исчезающей Ангарой, в связи со строительством здесь новой, уже четвёртой гидростанции.

Вместе с ними плыл и Валентин Курбатов. Именно он и не соглашался во многом с позицией директора Братской ГЭС Виктора Рудых, который, стоя возле плотины, утверждал, что получаемые блага цивилизации, благодаря вырабатываемой электроэнергии, важнее, чем потеря «какой-то Кежмы». А то, что переселённые из зоны затопления более шести десятилетий назад жители той же Аталанки так до сих пор и живут, не подключённые к электроэнергии ГЭС, — это не его проблема. И совестью он от этого не мучался. Кстати, он был как раз потомком той родни, деревню которой сожгли и затопили.

Мне казалось, сейчас не выдержит и решительно вклинится в этот разговор Распутин. И замолчит устыжённый директор гидростанции. Распутин вклинился и урезонил... Курбатова: «Валентин, если бы в этом мире Россия была одна, тогда бы можно было всего этого миновать. Но когда пошла такая гонка... Что же тут было делать? Приходится соглашаться со всем». Это в Распутине так заговорил государственный.

И ещё он тут же пояснил про нуждающихся в защите людей: «Народ он — когда служит государству. И служит России. А сейчас неизвестно кому он служит. Мы разрознены...»

Вот и обнажилась принципиальная дилемма. Государство для человека? Или человек для государства?

Можно предположить, что если бы присутствовал при вышеозначенном разговоре Астафьев, то здесь бы всю грохотали и сверкали громы и молнии. Он бы наверняка не позволил, чтобы с такой барственной уверенностью звучал начальственный цинизм.

В этом и заключается кардинальное позиционное расхождение Астафьева и Распутина. В их публицистике, особенно в последние годы, это проявлялось явно и многократно. Правда, до этого никогда не звучало с таким откровением распутинское утверждение о фактически отстранившемся народе...

### **Запись в блокноте:**

*В Усть-Уде по местной инициативе открыли выставку в честь прошедшего юбилея Распутина. Посмотреть свеженькие экспозиции зазвали Валентина Григорьевича. Чувства у него смешались. Он как бы увидел сторонний взгляд на самого себя. «А это зачем?! — удивлялся он, увидев в уголке советскую атрибутику с трудами Сталина. — Державник я всё-таки в другом понимании». А когда его объявили «ангарским Ломоносовым», он смеялся так, как никогда больше за всю поездку: «Господь с вами? Ну какой я... Это что вы такое учудили...» А потом, уже наедине, Распутин скажет мне: «Хорошо, если это искренне. Но со временем, думаю, всё сойдёт и забудется».*

## Как враги

Когда в 1973 году выйдут распутинские «Уроки французского», Виктор Астафьев поделится своим впечатлением с литературоведом Николаем Яновским: «Валя Распутин лучше и лучше пишет — что мне теперь, вешаться, что ли? Наоборот, радостно, что идёт парень плечом подпереть одряхлевший лит. дом и завшивевшую лит. шубу вытрясает».

А когда поплывёт с рыбаками по Ангаре, то, взглядываясь в её ширь, Астафьев сообщит в письме жене:

«Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом».

Валентин Распутин тоже характеризовал творчество своего старшего друга в возвышенной степени: «Талант астафьевской мощи и страсти — явление редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полнозвучию народного языка он не имеет себе равных. Не слишком ли? Нет не слишком. Многие сотни писем, которые получает писатель после каждой своей новой книги, лучше всего свидетельствуют, что сейчас, как никогда прежде, люди расположены к правде, какой бы неприятной она не была».

Журналист Николай Савельев несколько раз рыбачил с Виктором Астафьевым на отдалённых притоках Енисея. Об одной из таких поездок на Сым он вспоминал: «Там, в таёжном зимовье говорили о многом. Запомнилось, что Виктор Петрович всегда ставил Валентина Григорьевича Распутина наособицу, но на божницу не возводил. Вот его слова: “Пушкину было дано пронзить своё время, а мне нет. И Вале тоже”. Это был честный взгляд на их место в русской литературе».

Очень быстро Распутин становится для Астафьева настолько близким по духу и родным человеком, что общение выходит за литературные границы. Старший помогает младшему деньгами. Они знакомятся семьями. Отдыхают вместе на курорте в Болгарии. А когда в 1986 году на съезде писателей СССР грузинская делегация, оскорблённая содержанием астафьевского рассказа «Ловля пескарей в Грузии», бросится осуждать автора, на его защиту, выйдя на трибуну, первым встанет Валентин Распутин.

Если бы не проявившаяся слабость советской власти, они бы, наверное, никогда бы не разошлись. Демократические подвижки породили активность разных

политических сил, которым тоже захотелось властвовать. Началось разделение на сторонников и противников. Предлагались разные пути обустройства новой России. И Валентин Распутин с Виктором Астафьевым оказались на противоположных сторонах. И не только во взглядах на будущее. Они кардинально расходились в оценках многих моментов истории страны, например, роли Сталина или компартии. После резких публичных высказываний о происходящем, их переписка прекратилась. Навсегда.

Валентин Курбатов пытался отвести Распутина от политики и вернуть его к литературе. Об этом он сообщает в 1992 году в письме Виктору Астафьеву:

«...Виделся в Москве с Валентином Григорьевичем. Гнул своё, понуждая его выйти из ложно использующих его организаций. Он обещал, но ещё сто раз передумает, связанный ложным чувством общего дела. Воли не хватает на разрыв, хотя когда они его связывали, они как раз сомневались мало, и сейчас будут держать изо всех сил, зная, что лучшего знамени у них не будет, и уйдёт он — они окажутся только бойкими говорунами и искателями власти. Он и это знает. И всё-таки не уходит... Чувствует себя тяжело. Спрашиваю: “Что же вообще-то делаешь? Ну, если не пишешь, то хоть думаешь о чём?” — “Ни о чем не думаю. Коротая жизнь”. И так тяжело сказал, что я заткнулся и больше не лез».

В 1993 году внутреннее властное российское противостояние неожиданно перешло в вооружённое столкновение. Танки президента расстреляли Белый дом с парламентариями. Сделали свои озлобленные словесные выстрелы в друг друга и прежние друзья-писатели. Виктор Астафьев, хотя и не подписывал «Письмо сорока двух», но всё же согласился с направленностью его содержания. А направлено оно было против тех, кто был тогда повержен, но не уничтожен. На стороне последних продолжал стойко находиться Валентин Распутин.

О чудовищности риторики «победителей» свидетельствует отрывок из их письма-обращения:

«Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?»

Это был не документ, а клич к погромному набегу власти — шашки наголо и вперёд большевистскими методами: запретить, закрыть, распустить, отстранить, посадить... В ход пошло даже требование прекратить законно избранные органы власти.

Среди подписавших были явные радикалы, вовсю кричавшие: «Раздавить гадину!» Но под обращением стояли и фамилии таких уважаемых гуманистов, как Алесь Адамович, Василь Быков, Даниил Гранин, Дмитрий Лихачёв... С ними со всеми был хорошо знаком Виктор Астафьев. И все они не понаслышке знали, как делали раньше «врагов народа» и потом расправлялись с ними. Но именно эти люди и призывали власть пойти тем же страшным путём уничтожения несогласных. Примечательно, что за два года до этого пытавшиеся совершить госпереворот путчисты, а среди их руководителей были те, с кем близко общался Валентин Распутин, тоже бросились предпринимать подобные действия.

Оказавшись по разные стороны, противники мало чем отличались друг от друга в проявлениях ненависти. Виктор Астафьев много раз объяснял это нашей неготовностью к свободе. Но в тот момент он мог быть сам обвинён в этом. Однако неправость ему тогда виделась только в другом и в других. Астафьев пишет письмо редактору главной газеты коммунистов:



«Доброжелатели» прислали мне «Правду»... с разглаговольствованиями защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что эту газету, как чёрного кобеля, не отмоешь добела — была «Правда» кривдой, кривдой и осталась.

Сообщаю вам... что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне — место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачёва и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами. Но я хотел работать, исполнять своё дело, Богом определённые обязанности и ото всех почестей и подачек отказался — вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, а Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне».

Валентин Курбатов в этот момент оказывается на меже. Пишет Астафьеву:

«...Мне тяжело видеть происходящее с нами со всеми, стыдно видеть родную литературу, в которой вчера родные люди собачатся, как враги, вместо того чтобы увидаться друг с другом и поговорить без посредничества подлых газет и телевидения. Это, конечно, не может длиться долго. Обморок кончится, и нам будет стыдно глядеть в глаза друг другу. И чтобы это кончилось поскорее, я готов стоять посередине, как и сотни других таких же дураков, и получать обвинения той и другой стороны».

Никто не подозревал, что творилось в то переломное время в душе Распутина... Вернее, был один человек, кто знал. Втайне от мужа переписку «с Валей» продолжала вести Марья Семёновна. Вот строки из её письма, никогда ранее не публиковавшиеся:

«Я, в последнее время особенно, опять часто и с горькой тревогой думаю о тебе. И ты можешь сказать, мол думай, если больше не о чем. Но нет же, просто потому, что давно, сколько я тебя знаю, по-родственному привязалась к тебе, и всё-всё, связанное с твоей жизнью и творчеством, меня радует и тревожит, волнуется, и я безмерно дорожу и дорожила всегда каждой с тобою встречей, где и какой краткой она бы не была. Если помнишь, даже страничку черновика просила, правда, так и не допросилась, ну да ничего.

И когда мне бывает очень необходимо поговорить о самом сокровенном или просто выговориться, я обращаюсь к тебе, и всякий раз благодарю тебя, что ты меня слышал, читал сумбурные и длинные мои письма до конца, а иногда и отзывался.

Не скрою, в последнее время мне не раз и не два не терпелось дать тебе телеграмму, особенно когда твои, но “не твои” публикации читая то в “Правде”, то ещё где, хотела напомнить тебе, что у политиков не бывает друзей, а без них так трудно жить; сказать — напомнить, что лжесвидетельство — непростительный грех, или когда ты поехал со свитой генсека в Японию... “Валечка! Зачем тебе всё это?”»

Письмо, строки из которого ниже, уже после смерти Виктора Астафьева было передано Марией Семёновной не в архивы, а на хранение «лично», хорошо знакомому ей редактору Агнессе Гремицкой. Вот что ей тогда написал Распутин:

«...Как бы хотелось мне в ответ на тревогу и сострадательность Вашего письма успокоить: да-да, Вы правы, надо всё бросать к чертям собачьим, всю эту суету и канитель, от которой всё равно никакого толку, и возвращаться к столу, к “произведениям”, кои никто, кроме меня, не “создаст”...

С этой стороны моего положения более или менее ясно. Брошу. Но к столу, Марья Семёновна, уже не сяду. Присаживаться буду, да, не вытерплю, чтобы не



присаживаться совсем, но “произведений”, как говорят, достойных нашего времени и достойных автора, уже не будет. Не примите только, пожалуйста, мои слова за уничтожение, которое паче гордости, и говорю их только Вам, да и то в ответ на упрёки. Я никогда всерьёз к себе как писателю не относился, потому что знал, с какими потугами достаётся мне каждая строка, и возню вокруг меня, прежние похвалы и чины принимал сначала даже с испугом. Потом он прошёл, но чувство, что меня принимают за другого, чем я есть, и что я, сам того не желая, умею каким-то образом втереть глаза, оставалось. То, что я написал, прилично, наверное, даже более чем прилично (я имею в виду не статьи), но и только. Я был способен только на это. Что ж делать, есть писатели короткого дыхания, есть среднего (не буду ни на кого указывать из наших общих близких знакомых, но Вы их знаете), и есть среди них упрямцы, которые держатся через силу, уже и не дышат, а судорожно хватают воздух, но не сходят с дистанции. Лучше уж сойти, ничего постыдного в этом, я думаю, нет, и потихоньку заниматься каким-нибудь сподручным безвредным делом. Надеюсь и я остаюсь безвредным.

Объяснять свои шаги трудно, всякое объяснение, как только принимаешься за него, кажется оправданием. Больше всего возмущение и недоумение среди моих друзей вызвало моё участие в Презид. Совете. Не стану скрывать, что мне польстило предложение Горбачева, я не из тех, кто умеет заглядывать далеко вперёд и предвидеть последствия. Но творческие последствия предусмотреть было нетрудно. Я согласился не потому, что прельстился возможностью быть на виду. Быть на виду для меня мука смертная, кто знает меня получше, тот знает и это. Я согласился по глупости — в надежде, что так иногда будет удаваться замолвить словечко хоть за малую часть из того, на что государство всегда плевало. Дурак дураком и никакой не политик, я всё же имел случай наблюдать, как делается политика и кто варит эту кашу. И будь у меня поменьше порядочности, мог бы написать об этом, но мне не может, к сожалению, пригодиться и этот опыт, так что моя жертва, можно сказать, была напрасной. Едва ли нужно жалеть об этом. Как не жалею я о многих прежних глупостях, о том, что пил водку, месяцы и годы отдавал пустякам. Жалею, что оказался под конец жизни малообразован и малосилен, но и это уже не поправить, так что приходится и с этим в себе мириться».

Валентин Распутин, почти полностью отойдя от литературной деятельности, поучаствовал, за два последующих десятилетия, в огромном множестве различных общественно-политических мероприятий. Одних только обращений и заявлений к народу страны подписал около десятка. И при этом он соглашался с высказыванием известного филолога Владимира Лакшина о том, что «искусство в точном смысле слова гибнет и вянет, когда политика прижимает его к груди».

Виктор Астафьев очень быстро отмежевался ото всех писательских союзов и общественных объединений, стал держаться обособленно. Его главным занятием стало писательство. И в 1997 году он публично призвал вернуться к нему своего бывшего друга Валентина Распутина:

«Мы, его старые почитатели... и читатели его, ждём не речей, не махания руками, не патриотических подвигов, а повестей, рассказов, ибо только то, что сделано, написано на бумаге — и есть истинный труд, в котором, кстати, и патриотизм, и все прочие чувства любви к своей Родине и её истерзанному народу он умел куда как славно изображать. А всё остальное “суета суёт”, как говорил покойный мой приятель, незабвенный Анатолий Дмитриевич Папанов».

Виктор Астафьев это написал в одном из журналов к 60-летию Распутина. Выглядело это, как шаг к примирению. Затем он пригласил его на Литературную

встречу в Овсянке. Но тот был непреклонен до самого конца. Не приехал он в Красноярск даже тогда, когда провожали Астафьева в последний путь.

### **Запись в блокноте:**

*В честь «визита» Валентина Распутина в Усть-Уду, в детском приюте приготовили кедровые саженцы «для торжественной закладки аллеи». Перед самым началом действия одна из организаторов, всё внимательно осмотрев, выбросила из мешка «бракованный» кедрик. Распутин этого не видел. А когда подошёл, бережно подобрал с земли росточек со сломанной вершинкой и пошёл его сажать вместе с сиротской ребяtnей.*

## Как чудо

Почти сразу после того как был опубликован мой большой очерк о Распутине в общероссийском издании, встретился на каком-то мероприятии с толковым замминистра Иркутской областной администрации Сергеем Ступиным (о нём и Валентин Григорьевич отзывался доброжелательно). Увидев меня, тот всплеснул руками: «Вы зачем так написали?! Он же в ярость, наверное, пришёл, когда всё это прочитал!»

Как же зачастую придуманное нами представление о человеке расходится с тем, что есть на самом деле. Знаю об этом, потому что до опубликования материала о Распутине отправлял его ему на сверку. И тем самым проверял уже своё, сложившееся представление о нём, после личного общения. И он почти всё принял без возражений, за исключением двух фактологических неточностей. Принял и вот эти нижеследующие абзацы, показавшиеся некоторым его сторонникам чуть ли не крамольными:

«По тому, как уничтожалась народная самобытность, Распутин не видел большой разницы между Октябрьской революцией и перестройкой. Совершенно понятно, почему от него отмежевались скороспелые “демократы”. Для него это была “не власть, а напасть”. Но почему его в своё время не предали анафеме коммунисты — неясно абсолютно.

Распутин ещё в «застойные годы» стал своеобразным ангарским диссидентом. То, что он написал тогда в зрелый период, — находилось по другую сторону от “советской литературы”.

А в 1980 году он, найдя действующую церковь, принял обряд крещения, что по тем временам расценивалось верховной идеологией как “духовное закабаление человека и его опускание до уровня ничтожества перед богом”.

Распутин мог поставить свою подпись рядом с росчерками депутатов-коммунистов под обращением против “реформ смерти”. И тут же как бы забирал швартовый с политического причала, напоминая, что народ: “слишком много сил и жертв отдал в XX веке порядку, оказавшемуся нежизнеспособным по той причине, что он не мог считать Россию своей духовной родиной. Была власть, и сильная, было огромное социальное облегчение, но отвержение души и Бога сделало народ сиротой”».

Свой среди чужих. Чужой среди своих.

Это Солженицын, как бы уточняя местоположение Валентина Распутина, назовёт его «нравственником». Но ни голос первого, ни второго — народ уже практически тогда не слышал. Или не хотел слышать?

Повторюсь, Распутин без возражений принял вышенаписанное. А у многих о нём было тогда совершенно другое мировоззренческое представление.

Тогда же я его спросил:

— Вы заметили, что во время встреч земляки вам не задали ни одного «политического» вопроса?

— Заметил! И вот это как раз и внушает надежду, что мы меняемся. Не так быстро, как хотелось бы, но меняемся. Вся эта политизация нашей жизни... Дурная политизация исковеркала не только жизнь «больших», но и «маленьких» людей. Совсем недавно на этой политике все были помешаны.

— Мне ваши земляки рассказали, что пять лет назад принимали вас в Усть-Уде намного-намного сдержаннее. А сейчас — с таким уважением и доверительностью, что позавидуешь...

— Появилось другое отношение. Тут, может, сказывается то, что в девяностые годы меня ведь немало кляли. И такие статьи до земляков наверняка доходили. И на меня смотрели не то чтобы с сожалением, а даже и с состраданием. Особенно не вникая: прав я или нет. Наблюдали: додают меня или не додают. А сейчас меня начинают признавать заново. И это — как чудо.

Примечательно, что не только Виктор Астафьев, но и Валентин Распутин тоже не раз кардинально разочаровывался в людских проявлениях.

Валентин Курбатов, заехав в 1994 году в Москву, пишет Астафьеву о неожиданных переменах в восприятии своего иркутского тёзки:

«Навестил я и приехавшего в тот же день Распутина. Он сказал только, что последние месяцы в Сибири убедили его в правоте Вашего взгляда на народ — ничего уже из этого теста не испечёшь. Оттого он попробовал было ещё рассказ написать в пару к своему слабому недавнему сочинению «Сеня едет», но написал, да сам в ведро и бросил, потому что понял, что никуда Сеня не едет и обманывать себя на его счёт нечего».

В его последней завершённой повести «Дочь Ивана, мать Ивана», женщина берётся за оружие и убивает насильника. Так она вместо бездеятельного государства сама восстанавливает справедливость. Есть там и высказывание о народе, вложенное в уста одного из персонажей: «Да ведь мы все, если разобраться, трусили... Стерпели, как последние холопы. Мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили... Как-то всенародно трусили... Если кто и пикнул — не дальше собственного носа... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?»

Беседуя со мной, он скажет:

— Единственно за своих аталанских «радовался», когда не стало электричества, что они не могли смотреть телевизор. Из него особенно, столько грязи было вылито на свой народ, чего не делало ни одно другое государство. Так развращать, так испоганивать всё светлое... Как собирать теперь сердца и души?

Вернуться к настоящему сейчас — наитруднейшее дело. Может, настолько трудное, что если и можно его с чем-то сравнить, так только с тем, что нам пришлось преодолеть в Великой Отечественной войне. И, может, легче было победить фашистов, чем врага, который внутри нас самих».

Молчим. С ним легко молчать. Но мне надо отрабатывать профессию. Неторопливо спрашиваю, с намёком на его общественную активность, которая больше приносила разочарования, чем пользы:

— Валентин Григорьевич, почему же писатели оказались сейчас в общественной «тени», ведь два предыдущих века они были в России «властителями дум»?

— Прежде чем попасть в «тень», сначала многие из них всю разваливали Союз... Участвовали в деле, которое не может быть писательским. Поэтому и оказались затем в небрежении. Во многом мы сами виноваты... Наверное, слишком часто говорили о необходимых вещах... До затвердения... Всё пошло насмарку... И эта боль... Вот эта оглушённость — она сказалась на многих. За короткий исторический миг число читателей сократилось чуть ли не в тысячу раз. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня пухнет книжный бизнес. Это — наркотические таблетки в книжной обёртке... И их любителей нужно относить к наркоманам, а не к читателям. В храме всё же другой язык, чем на улице. До этого в нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами... Мне кажется, что сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения.

### **Запись в блокноте:**

*В Юголке на сцену вышла бабушка Екатерина Петровна Пушкина. Вежливо поздоровалась с «товарищами». Сложив на груди руки, молча поклонилась сидевшему в первом ряду Распутину. И начала с волнением «сказывать», как однажды загоревала о погубленной ангарской красоте. А подруга возьми и спроси: «А ты Распутина знаешь? Наш парень, обо всем этом пишет». И стала бабушка Катя в семьдесят лет учиться сама грамоте. Да не с букваря начала, а с распутинской книги «Живи и помни». Несколько месяцев её одолевала: «Не напрасно сердце билось — прочитала!» Сказала это. Поклонилась народу. И зашагала в радости на своё место.*

## Связующее звено

На третий усть-удинский день у Распутина появилась приятная усталость. Словно душа родиной открылась. За автографами — очередь. Земляки приходят с его книжками, изданными в разные годы, и терпеливо выстаивают каждый раз по тридцать-сорок минут. Потом начинается фотографирование на память. Проходит ещё день-другой, и «транжирство времени», как назвал это процесс Распутин, наконец завершено. Возвращаемся в Иркутск. Сквозь жару, рыжую пыль и метель из бабочек. Моё место рядом с ним в автобусе никто не занимает:

— Валентин Григорьевич, последние дни вы пребывали в окружении огромного количества людей, а бывает, что просто не с кем поговорить? Словно один в целом мире?

— Последние годы — так оно и есть. Близких людей становится всё меньше и меньше. Старость она ведь не делает человека красивее. В любом отношении — ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке. Выстужает его. У меня сейчас очень небольшой круг людей, с кем можно говорить о чём угодно.

— Часто вы подходите дома к своим колокольчикам? Как-то вы «проговорились», что общаетесь с ними, если довольны собой.

— Не часто. Но иногда подхожу. Посмотрю на них. Полюбуюсь. Поглажу их, чтобы откликнулись перезвоном. Поправлю своё настроение... Это как детская забава. Правда, я их только в зрелые годы стал собирать. Люблю смотреть на них, прежде, чем начинаю работу.

— Сейчас что-то пишете?

— Только что вышел мой новый рассказ... Работаю над большой вещью, но идёт с трудом.

— Удивительно, но сегодня, по крайней мере, в Приангарье, вас начали читать даже те, кто до этого не был вашим почитателем...

— Читают, потому что я их земляк. А может быть, кто-то проверяет: исписался я или ещё нет. У меня ведь тоже существует своеобразная ревность к своим друзьям-писателям. Читаю их новые книги, хотя сейчас и значительно меньше. Но есть люди, написанное которыми я никогда не пропущу.

— Астафьев был в их числе? Хотя осведомлённые иркутяне посоветовали мне вообще не касаться этой темы в разговоре с вами...

И в этот момент Распутин резко поворачивается ко мне и негодуя говорит:

— Да кто же это вам сказал, что у меня было плохое отношение к Астафьеву?! Я его всегда высоко ценил как писателя. А все эти политические дрызги... Никому они не нужны. Со временем о них никто даже и не вспомнит.

— Виктор Петрович ждал, что вы приедете...

— Да... Я готов был приехать... Но не на те «собрания» (имеются в виду «Литературные встречи» в Овсянке. — О. Н.), где было слишком много для меня чужого народа... Я к нему был готов приехать... И теперь уже...

И мы долго-долго молчим. Автобус ревет на подъёме. С трудом, из последних сил поднимаясь на возвышенность. В конце концов мы встанем. Из-под капота пойдёт пар. Водитель скажет: «Ремень полетел!» Понимание, что исчезло связующее звено, возникло не в движении, а только тогда, когда остановились.

А остановились мы прямо на перевале.

### **Запись в блокноте:**

*Последовавший приезд Валентина Распутина в Красноярск был тихим. Он сообщил о нём Марии Семёновне и напрямик отправился в Овсянку. Чуть позднее скажет: «Я не был у Виктора Петровича все 90-е годы и не попрощался с ним. Это произошло в силу разных причин, о которых, может быть, и не стоит говорить. А сейчас я почувствовал просто потребность, невозможность дальше жить с этим, не побывав на могиле. Собрался и поехал. И почувствовал облегчение. Такое же облегчение бывает после исповеди и причастия, когда всё тяжёлое, горькое уходит и чувствуешь себя легко-легко... Могучий он был человек — и духа могучего, и таланта!»*

<sup>1</sup> Астафьев В., Распутин В. Просто письма... С. 65.

<sup>2</sup> Там же. С. 63.

<sup>3</sup> Там же. С. 64.

<sup>4</sup> Астафьев В.П. Нет мне ответа... С. 200.

<sup>5</sup> Там же. С. 206.

<sup>6</sup> Интервью с Валентином Распутиным // Комсомольская правда. 1982. 8 августа.

<sup>7</sup> Астафьев В., Макаров А. Твердь и посох. С. 13.

<sup>8</sup> Распутин В. Правда всегда нужна // Правда. 2022. 30 сентября — 3 октября. № 109 (31312).

<sup>9</sup> Литературные диалоги: Переписка Н.Н. Яновского с В.П. Астафьевым. С. 32.

<sup>10</sup> Астафьев В.П. Нет мне ответа... С. 288.

- <sup>11</sup> Распутин В. Все краски подлинной жизни // Учительская газета. 1984. 4 апреля.
- <sup>12</sup> Савельев Н. Легче там, где поле и цветы. Двадцатая весна без Астафьева // <https://godliteratury.ru/articles/2021/05/01/legche-tam-gde-pole-i-cvety-dvadcataia-vesna-bez-astafeva>
- <sup>13</sup> Степанян К. Письма о крестном пути России // Знамя. 2003. № 10.
- <sup>14</sup> Письмо 42-х, или «О мастерах культуры» // <https://pravoslavie.ru/64633.html>
- <sup>15</sup> Астафьев В.П. Нет мне ответа... С. 548.
- <sup>16</sup> Крест бесконечный: Виктор Астафьев — Валентин Курбатов... С. 345.
- <sup>17</sup> КККМ. ВФ 9958/11.
- <sup>18</sup> Астафьев В., Распутин. В. Просто письма... С. 113.
- <sup>19</sup> Там же. С. 190.
- <sup>20</sup> Нехаев О. Валентин Распутин. Возвращение к России // <https://sibirica.su/glava-pervaya/valentin-rasputin-vozvrashchenie-k-rossii/stranitsa-3>
- <sup>21</sup> Крест бесконечный: Виктор Астафьев — Валентин Курбатов... С. 349.
- <sup>22</sup> Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана // Наш современник. 2003. № 11 // <https://nash-sovremennik.ru/p.php?y=2003&n=11&id=1>
- <sup>23</sup> Ростовцев Ю.А. Виктор Астафьев. С. 6.





## АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ



### Картинки из детства

\* \* \*

Я не сплю, не знаю — час который,  
Только знаю, что лежу давно.  
Сквозь полузадёрнутые шторы  
Диск луны глядит в моё окно.

В полуночном небе, как поётся,  
Светит незнакомая звезда.

И висит задумчиво, не вьётся  
Триколор над зданием суда.

А тоска в душе — сплошным потоком.  
И тогда, чтобы кошмар исчез,  
Возвращаюсь я к своим истокам,  
Возвращаюсь в свой далёкий лес.

---

КОБЕЛЕВ Александр родился в 1955 году в поселке Залари. В детстве Александр проживал с родителями в селах Нукутского района — Шалонинск, Шаругул, Зунгар. Среднюю школу окончил в с. Тарнополь в 1972 году и поступил в ГПТУ-34 (г. Ангарск). В мае 1974 г. был призван в армию, служил в Монголии в стройбате. Демобилизовавшись, 17 лет прожил в г. Ангарске, где работал на химических комбинатах — аппаратчиком, слесарем-инструментальщиком, оператором, помощником машиниста тепловоза. После три года прожил в п. Балаганск, работал инженером в Сельхозтехнике, мастером ПТУ. Затем переехал в поселок Новонукутский, где и проживает по сей день. Его стихи печатались не только в Иркутской области, но и в Бурятии, Москве и на Украине, в таких журналах как «Сибирь», «Доля» и «Пять стихий» (Украина), а также в коллективных сборниках «Иркутский альманах», «На перекрестке», «Дарю тебе мой стих», «Белая радуга». В журнале «Доля» его стихотворения переведены на украинский, польский и английский языки. Кобелев А.А. — лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова — 2010 и 2011 годов и победитель 2012 года. Автор поэтических сборников: «Леший» (2010), «Дорога на Балтай» (2012), «Вещий камень» (2012), «Жёлтый шарик: сказки для детей» (2017), «Ставенки резные» (2019). Член Союза писателей России.

\* \* \*

Я вернусь к тропкам детским, заветным.  
Всё со временем в памяти стало  
Тёплым, лёгким и разноцветным,  
Как лоскутное одеяло.

Может быть, ваше сердце согреют  
Лоскутки разноцветного ситца.

Не тускнеют они, не стареют.  
Я хочу тем теплом поделиться.

Для стихов взял из детства наива,  
Лоскутками всё сшил, как попало.  
Я хотел, чтобы вышло красиво,  
Как лоскутное одеяло.

\* \* \*

...Сосенки макушками качают,  
По тропинке я иду босым.  
Всё, меня теперь не величают,  
Сашка я опять, Афонин сын.

Облупился нос ещё до лета —  
Солнце в мае грело горячо.  
Лямочка от шкер\* моих продета  
Портупеей через правое плечо.

С саблей-палкой, храбро наступая,  
Я сейчас жестокий бой приму.  
Я — боец дивизии Чапая,  
Не позволю утонуть ему.

Где шиповник выпустил колючки,  
Все деликатесы на виду —  
Кислица, саранки, щавель, пучки.  
Надо съесть, я мимо не пройду.

\* \* \*

А небо какое! А солнце какое!  
А лес какой!  
Да здравствует жизнь, что не знает покоя!  
Долой покой!  
И я по тропинке вприскокку, вприпрыжку  
Сквозь лес бегу.  
Сейчас обогнать я любого мальчишку  
Могу.

Листвяк у дороги, грозою разбитый,  
За ним подъём.  
А вот и посёлочек, всеми забытый,  
И вот мой дом.  
Здесь тридцать домов в одну улицу встали,  
Как строй солдат.  
Стеною деревья, закрывшие дали,  
Стоят.

---

\*Шкеры — шаровары, спортивные штаны.

По улице пульей лечу, без оглядки.  
Догонит кто!  
Горячая пыль обжигает мне пятки,  
И хоть бы что!  
Бегу я и вижу: вон дом со скамьёю,  
Большой заплот.  
Здесь наш фронтовик дядя Лёша с семьёю  
Живёт.

\* \* \*

А фронтовикам всегда я верил  
И рассказам взрослых я внимал.  
Ужасы войны и боль потери  
Я в ту пору плохо понимал.

Только невозможно обсчитаться,  
Здесь простая арифметика совсем:  
Полегли на той войне двенадцать,  
А домой вернулись только семь.

Похоронка жизнь меняла разом,  
Коли стон ходил на всю тайгу.

Да, я это знаю по рассказам,  
Но представить явственно могу.

Сельских похорон забыть не сможешь.  
И хоть мне давно за шестьдесят,  
Помню, как мороз идёт по коже,  
Когда женщины надрывно голосят.

Но, увы, уходят ветераны,  
Что вернулись, нет в живых уже.  
Время, говорят, залечит раны,  
Но оставит шрамы на душе.

\* \* \*

Вечер. Птицы пролетели,  
С солнышком прощаются.  
Слышу, женщины запели,  
С поля возвращаются.

Ах, как за душу берёт  
Песня деревенская!  
И никто так не споёт,  
Как бригада женская.

И частушки с перцем тут  
Петь не запрещается,  
Их ведь женщины поют,  
С поля возвращаются.

Пойте, милые подруги,  
Всё у вас получится.  
Пусть послушают пичуги,  
Лучше петь поучатся.

Духом падшие встают,  
Словно причащаются,  
Когда женщины поют,  
С поля возвращаются.

Вам, родные, с песней той  
Веселей дороженька.  
Пусть вам в жизни непростой  
Помогает Боженька.

\* \* \*

Около деревни не найдётся  
Ни ключа, ни речки, ни пруда.  
Только в недрах журавля-колодца  
Чистая студёная вода.

Мы зимой играли у колодца,  
Лишь бы подморозило чуток.  
Повсеместно, где вода прольётся,  
Лужи превращаются в каток.

Было жутко мне, но всё же любо  
Иногда заглядывать туда,  
Видеть вечный лёд на стенках сруба.  
Даже жарким летом — глыбы льда.

А хоккей нам — зимняя отрада.  
Клюшки делали своим трудом.  
Не было коньков, ну и не надо,  
Если валенки покрыты льдом.

Рядом преогромная колода.  
Местный скот весь день тянулся к ней.  
Водопой в любое время года  
Для овец, коров, гусей, коней.

Конь пройдёт, процокают подковы,  
Шайбочек насыплет целый ряд.  
Сразу они в дело не готовы,  
Пусть промёрзнут. Вишь, ещё парят.

\* \* \*

Поздний вечер. Затихла округа.  
И ни звёзд, ни луны, Боже мой!  
Я тогда засиделся у друга  
И спешил, возвращаясь домой.

Как темно было в нашем посёлке!  
Помню я опасения те —  
Все покойники, черти и волки  
Поджидали меня в темноте.

Окна светятся тускло, уныло,  
Освещенья на улице нет.  
Вдруг так ярко весь мир осветило!  
И горит электрический свет.

Дать нам свет обещали и дали.  
Наконец-то и нам повезло.  
Значит, быть вечерам без печали,  
Значит, будет ночами светло.

Я смотрю на родные оконца,  
Где чуть-чуть огонёчек дрожал,  
А сейчас яркий свет, ярче солнца.  
И я смело домой побежал.

И от этого света, поверьте,  
Видал сам я, поклясться могу,  
Как покойники, волки и черти  
Всей толпой убежали в тайгу.

\* \* \*

Наша школа — старый пятистенок, Всё давно знакомое для нас. Как заходишь — «зал» для переменок, А за ним уже учебный класс.	Я ведь знаю три стихотворенья И уже могу считать до ста. Пролетели первые недели, Осенью повеяло с полей. Как же мне уроки надоели! Бегать по посёлку веселей.
Вот встречает школа первоклашек. Мы идём командою одной, Мы — Тамара, Вася, двое Сашек. Кирзовые сумки за спиной.	Но звучит, как горькая отравка: «Делу — время, а потехе — час». Что такое крепостное право, Я изведал в жизни в первый раз.
Школа будет мне как развлечение, Вся наука для меня проста —	

\* \* \*

...А сейчас лежу себе в постели.  
Как же я остался не у дел?  
Как же мне хворобы надоели!  
Как же телевизор надоел!

За окном весенняя водица,  
Птицы славят раннюю весну.  
Утро. А куда мне торопиться?  
Да когда ж я, наконец, усну!

Мне сейчас бы крепостного права,  
Чтобы снова жить на кураже.  
Как же всё нелепо и коряво.  
Да когда же я засну уже!

Под лоскутным тёплым одеялом  
Мне, я верю, лучше бы спалось.  
И хоть видел в детстве их немало,  
Но поспать под ними не пришлось.



НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

## Золотой самородок на соболиной тропе

О жизни и творчестве Светланы Кузнецовой

Наследница двух богатых сибирских купеческих и дворянских родов России — рода Кузнецовых и рода Аммосовых, в истории русской поэзии второй половины XX века Светлана Кузнецова стоит особняком. Трагическая фигура в чёрном с гордо поднятой головой и несломленной статью последней представительницы вытравленных революцией золотопромышленников.

Всех, знавших её, Светлана Кузнецова поражала человеческой значительностью, особой сибирской негибимой породой, гордостью, простотой и цельностью натуры, удивительной неслучайностью и необычностью судьбы, — словно бы специально задуманной Богом для большого русского поэта...

В последние два десятилетия жизни она не печаталась ни в литературных газетах, ни в толстых литературных журналах. Только редкие книги в «Советском писателе» нарушали сомкнувшееся сибирскими снегами безмолвие.

Незадолго до её смерти Юрий Кузнецов со свойственными ему прямоотой и честностью нарушил затянувшееся молчание и в статье, написанной специально для «Литературной газеты», поставил Светлану Кузнецову в один ряд с Цветаевой и Ахматовой.

После смерти С. Кузнецовой о значении её творчества написал Вадим Кожинов: «Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой — самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой... в отличие от подавляющего большинства твердящих сегодня о мраке и хаосе стихотворцев, у Светланы Кузнецовой и в помине нет характернейшего мотива: вот, мол, в какой проклятой Богом стране приходится мне жить и мыслить! Светлана Кузнецова... не отделяет от себя совершившееся и совершающееся...» («День», № 23, 1991 г.).

Судьба виделась поэту оброненным в сугробы тяжёлым наследственным золотым крестом первопроходцев и золотодобытчиков, Россия — золотым самородком, сверкающим на белом снегу атомной страны.

*А вы торопились, а вы не спросили,  
А вы посчитали всё это игрой.  
А там начинались стихи о России,  
За тем перелеском, за тою горой.*

*Там время чеканило высшие пробы  
На всё, что в отвал уходило пустой,  
И там я однажды сронила в сугробы  
Тяжёлый наследственный крест золотой.*



*Сронила открыто, сронила, как откуп,  
Приучена опытом предков — платить.  
Так что же неймётся небесному оку?  
Оплачен мой счёт, и не стоит грустить.*

Родители Светланы Кузнецовой познакомились во время Гражданской войны.

Отец — Александр Александрович Кузнецов — воевал у белых, в армии Колчака. Был ранен. Мать — Лидия Ивановна Аммосова — работала сестрой милосердия в госпитале, тоже у белых. Отец полюбил мать с первого взгляда и больше на других женщин не смотрел. Светлана Кузнецова появилась на свет в Иркутске 14 апреля 1934 года, была вторым ребёнком в семье.

Родители, вышедшие из известных золотопромышленных родов, успели получить хорошее образование, мать окончила гимназию, отец — Петербургский университет. Первые годы после Гражданской войны преподавали в Иркутском университете. Около 1937 года из-за усилившихся репрессий из Иркутска пришлось уехать — «бывшим» в связи с новым поворотом в политике грозил арест. Уцелеть семья могла лишь одним способом — родители должны были сами, добровольно, сослать себя в сибирскую глушь: в селениях, переполненных ссыльными, судьба вольнопоселенцев никого не интересовала...

Так Светлане Кузнецовой распахнулась главная страница её жизни — глубинка заповедной, кондовой русской Сибири с безбрежной медвежьей тайгой, золотыми недрами и великими реками, несущими к океану косяки рыб. «Бесконечная Россия, / Словно вечность на земле», — нашёл когда-то князь Вяземский актуальное на все века определение для отечества. «Земная вечность» Сибири загудела в венах молодого поэта с необоримой мощью:

*И снова на рифме «шири»  
Распахивается строка.  
Два соболя — герб Сибири —  
Смотрят издалека.  
Я верю: мой мир устроен.  
Я знаю: мне жизнь нужна.  
Отец мой — красив и строен,  
А мама моя нежна.*

Светлана Кузнецова с юным задором приветствует необозримые заснеженные пространства, делает законы тайги законами собственной души: «Смеюсь и падаю на белые, / На очень белые снега. / Всему, что делаю и сделаю, / Я говорю: «Закон — тайга!» (1962 г.) Это больше, чем кровное родство — Светлана Кузнецова впускает в сердце огромный мир — и сама становится миром... Родная Лена — течёт в венах поэта: «К Ледовитому океану/ Лена в венах моих течёт».

Огромные пространства становятся поэтической плотью: «Зачерпну крутой волны Витима,/ Енисеем жажду утолю...» Молодая Кузнецова пантеистична. Грани между личностью и природой в стихах нет — строчки стихов заполняют грустноглазые олени, пушистые белки, юркие соболи. Символ Сибири — соболь — неожиданно становится символом молодой безоглядной любви: «В золотом запеве крови / Мне не сладить с этой болью, / У тебя не только брови, / У тебя глаза соболями»

...Соболиная тропа Сибири бежит мимо многих племен и народов: «Над Витимом угрюмым, над таёжной далью / Встали русские думы / Моей бабушки Дарьи... / Золотистые лица, / Солнца сонного сгустки... / Это в вены стучится

*/ Кровь Анисьи, тунгуски. / И уводит надолго / Вечно новая новь, / Кровь поляка седого / И татарская кровь». Сознание великоросса, вбирающего в себя крови народов, населяющих Россию, подобно течению великих сибирских рек, вбирающих многочисленные притоки и ручьи. Впитавшая в вены кровь народов и рек, С. Кузнецова чувствует в своих жилах невиданные силы: «Я сама, как держава, / Я сурова, сильна и строга». Перед нами прямое поэтическое свидетельство, — **так рождается великоросс...***

В том далёком детстве, на пути из Иркутска, она запомнила не то пароход, не то буксир, палуба которого качалась над серыми волнами огромной северной реки. Они всё ехали и ехали куда-то. «Хватит ехать! Хватит ехать! Хватит ехать!» — лепетали детские губы, словно знали тайный смысл невесёлого путешествия.

Семья пыталась уцелеть, постоянно меняла места жительства — Витим, Лена, Киренск, Бодайбо, Нерпо. Старожилы ещё помнили их богатых дедов и прадедов, совсем недавно заправлявших в этих местах всем. Дед Светланы Кузнецовой, как она сама вспоминала, о своих дореволюционных владениях говорил коротко: «Четверть Сибири, четверть Аляски». Потомков волею судьбы гноили там же, где посетила предков шальная золотая удача. Спасало понимание того, что дальше Сибири не сошлют: «*И в Сибирь нелепо сибирячку/ Выслать, коль здесь не ко двору...*» Места вокруг простирались глухие, особенно Нерпо — посёлок для семей репрессированных. То пьяный якут прирежет жёнку за неосторожно сказанное слово, то беглые зеки разорят заимку, то соседи-охотники уйдут в тайгу и не вернуться.

*Согласно молодой молве,  
Мы вроде не были, хоть были.  
Давно в холодном зимовье  
Нас вырезали и забыли.*

Посёлок стоял посреди тайги, короткие зимние дни сменялись тёмными, холодными и голодными вечерами. Родители поселились в старом кондовом сибирском доме, ненадёжно заметленном от века огромными снегами: «*Дом родной окружён заплотом, / Доски метра в три высотой*». Жили скудно. К существованию в условиях тайги приспособлены не были. Отец работал директором школы, мама — учительницей. «*Окраина, старая рана, / Зарубка, отметина, шрам, / Охрана, встающая рано, / Осколки растоптанных драм...*». Детские впечатления голода, скудости и нищеты врезались в память навсегда. Чуть ли не в дошкольном возрасте в первый раз сварила суп, примерно тогда же развела огород: что-то ведь надо было делать с не приспособленными к жизни в таёжной глуши родителями. Став постарше, они с братом научились и рыбачить, и охотиться, а тогда в Светлане только просыпалась её родовая «добычливость»:

*Так-то вот, не поздно и не рано,  
Только всё равно не в час, не в срок  
Девочка сибирская Светлана  
Встала на бревенчатый порог.*

*Так-то вот, не бледно и не ало,  
Неприметно губы расцвели.  
Было это много или мало  
Для моей прадедовской земли?*

*Видно, мало, потому что много  
Вырастало у нее таких,  
Начинавших срок пути земного  
С перепутьев узких и глухих.*

Стихи начала писать в девять лет. Что интересно — в истории русской поэзии Светлана оказалась не первой поэтессой с фамилией Кузнецова: в восемнадцатом веке творила её предшественница — Прасковья Ивановна Кузнецова-Горбунова, крепостная актриса, а потом жена графа Н.П. Шереметьева, известная как автор народной песни «Вечор поздно из лесочку я коров домой гнала...».

О трагедии разрушенного революцией рода — намёком, эзоповым языком — Кузнецова говорит в стихах постоянно. Золотоносные «корни», доставшиеся от дедов, — диктуют, вмешиваются в судьбу: *«А у меня такие корни, / Что я устала от корней»*. «Корни» — это мужество, честь, совесть, любовь, невозможность поступиться внутренним стержнем, пойти на поводу у обстоятельств, сам талант, на который по щепоти золотого песка сбросились народ и рода: *«А ведь я из семьи золотоискателей, / Я из очень хорошей семьи»*, — задумывается поэтесса в стихотворении 1965 года: *«Я из той семьи, которой давалось / Всё на свете с большим трудом. / Пароходы и прииски. Сёла и пристани...»*

Но где те прииски и где те пароходы, где родня, унесённая великой вьюгой революции? *«Нет родни моей, вымерла, не осилив эпохи»*. Да и как осилить эту бесконечную сибирскую вьюгу времён? *«Ах, родные мои, / Как вы жили, / Если три революции были, / Если столько лет с голодовками, / Если столько зим с холодовками!»* (1966 г.)

Что интересно, «бывшие», обездоленные веком родители живут в этом стихотворении общей со страной жизнью, терпением и любовью преодолевают беду и выходят победителями из схватки с судьбой: *«Да ещё забота родительская, / Да ещё работа учительская, / Да болезни большой страны / От войны до другой войны»*. Вслед за роднёй Кузнецова «бывшей» быть, по сути, отказалась — она выбрала для себя вечную Россию, а вместе с ней — вечное бытие и вечное настоящее. Мгновенно почувствовав за безыскусностью молодых строк близость, важность и выстраданность темы, именно это стихотворение молодого поэта напечатал в «Новом мире» Александр Трифонович Твардовский...

...А что за экзотические воспоминания о золоте остались у нищей представительницы золотопромышленных родов! Однажды на берегу Лены Светлана нашла огромный самородок. Обрадовалась неслыханной детской добыче, ликуя и хвастаясь, побежала домой. «Что ты наделала!» — всплеснула руками мать, увидев в детских руках запретный металл. Отец был в командировке. По закону того времени любой найденный самородок надлежало сдать государству в тот же день. Комендатура находилась в соседнем посёлке, добирались до него два часа по тайге. Золотой самородок солнца катился к закату, на тайгу надвигался комендантский час... Ситуация складывалась безвыходная: не сдашь самородок — посадят за сокрытие принадлежащего государству золота, отправишься по глухой ночной тайге в комендатуру — посадят за нарушение комендантского часа... Всю дорогу по тайге мать бежала бегом...

В этой были, схороненной в предвоенные годы под сибирским снегом, скрывалась неумолимая логика судьбы большого русского поэта Светланы Александровны Кузнецовой. Золотые самородки сердца, золото удачи, таланта и красоты таили в себе угрозу гибели и расплаты. То, что столетиями приносило радость и

богатство предкам, в новом времени оборачивалось бедой. Быль о грозящем погибелью золотом самородке по-кузнецовски жёсткими, предельно афористичными строками вспыхнула в стихотворении, посвященном смерти матери: «*Мать моя лежала на столе / Тихо, словно золото в земле. / Тихо, словно золото, лежала, / Мне и брату не принадлежала. / Не принадлежала никому, / И была счастливой потому*» (1976 г.) Эти строчки — похожи на приговор, вынесенный роду свыше. Золото, неосмотрительно добытое предками из сибирских недр, во искупление родовой вины должно вернуться в землю...

Страшная трагедия обрушилась на семью Кузнецовых в конце войны. Брат — надежда семьи, вечный спутник детских забав Светланы, вспоминаемый в стихах до конца дней: «*Мой сереброглазый! Певучие струны / Тянут сквозь годы утрат / Снова туда, где мучительно юны / Мы, то есть я и мой брат...*» — ушёл на фронт в семнадцать лет. Вскормленный тайгой, воевал в знаменитых Сибирских полках, отстоявших Москву. С фронта пришёл абсолютно спившимся... Брат Светланы Кузнецовой — Олег Александрович Кузнецов — герой одного из её самых значительных стихотворений — трагического стихотворения о солдатах, вернувшихся с войны, но не нашедших счастливой доли на отвоеванной у фашистов родине, о многих и многих воинах, побеждённых ложью, безвременьем и лихоимством мирной жизни:

*Братишка, красавец, залетка,  
Все мысли твои об одном:  
О том, как красива пилотка  
Над чистым мальчишеским лбом.*

*О том, как начищена лиха  
Твоя боевая медаль;  
О том, что отхлынуло лиха,  
Открылась в сиянии даль.*

*...А дальше — все дали закрыты,  
Всё мимо на милой Руси,  
И рядом все те, кто зарыты,  
И милости ты не проси.*

Вместе с ощущением бесконечного исторического тупика, недоли у поэта возникает чувство неизбежной вины перед погибшими солдатами: убитые на войне всегда делают оставшихся в живых виноватыми в самой продолжающейся жизни... Чувство это сродни вспыхнувшему в знаменитом стихотворении А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...» Великая война у поэтессы оборачивается великой виной, великая Победа — будущим великим поражением... «Над нами Большая Медведица» — одна из больших поэтических удач, стихотворение, поднимающееся до уровня классики:

*Над нами — Большая Медведица.  
За нами — Большое неведение.  
За нами — большая война.  
Пусть вам и в бреду не прибредится  
Такое большое наследие,  
Такая большая вина.*

*Хотя мы уже убываем,  
На что-то ещё уповаем,  
Наследство вручая сынам.  
И кажется — всё забываем,  
Но двери плотней запираем,  
Чтоб счёт предъявили не нам.*

После внезапной смерти отца, почти совпавшей с окончанием Светланой средней школы, семья переехала в Иркутск. Светлана поступила учиться в Иркутский университет, на английское отделение. Училась хорошо, но уже с первого курса пришлось уйти — в университете потребовали, чтобы Светлана Кузнецова вступила в комсомол — она наотрез отказалась. Видимо, комсомол, воспитание, данное в семье, и память рода были все же несовместимы. После отчисления из университета пришла новая беда. Светлана заболела — открытый туберкулез, скоротечная чахотка. Она таяла на глазах. Врачи сказали матери Светланы, не так давно похоронившей мужа, что надеяться не на что и надо готовиться к новым похоронам. Наступала весна, и Лидия Ивановна по народному рецепту стала поить дочь отваром из липовых почек. От отвара Светлана заболела желтухой, из которой долго не могла выбраться, но чахотка прошла.

Жизнь налаживалась. Но литературных успехов не было — рукопись первой книги из иркутского издательства молодой поэтессе вернули. Тогда Кузнецова послала рукопись первой книжки в Москву, в издательство «Молодая гвардия», и неожиданно получила восторженную рецензию Александра Прокофьева. Муза быстро и щедро преобразила судьбу, неожиданно выкликнув сибирскую «Золушку» на столичный золотой бал. Через недолгое время сибирскую поэтессу вызвали в Москву — на Всесоюзное совещание молодых писателей, приняли в Союз писателей СССР, рекомендовали в Литературный институт им. А.М. Горького — на ВЛК.

...В те годы С. Кузнецовой повезло — ей удалось войти в громкую плеяду молодых шестидесятников. Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Юнна Мориц, Станислав Куняев, Светлана Евсеева... Какие разные имена и судьбы! Евтушенко и Вознесенского в поздней зрелости С. Кузнецова называла литературными захватчиками, винила в гибели целого поэтического поколения. Выбившаяся в партийные лидеры и секретари Союза Римма Казакова сживала Светлану Кузнецову со света — слишком талантливой оказалась соперница. Бесконечно яркую первую книжку уехавшей в Минск и постепенно загибающейся там Светланы Евсеевой Кузнецова хранила до конца дней. С большинством высыпавших на шумную эстраду поверхностных, полуграмотных, крикливых шестидесятников былинной русской сибирячке оказалось не по пути...

Да и как могло быть по пути с легковесными эстрадниками поэту с таким, говоря прямо, нешуточным сибирским мироощущением: «И знали, что нам дано, —/ На зверя ходить с рогатиной/ Среди глубокой зимы,/ Что вскормлены медвежатиной/ И спиртом вспоены мы». Самими своими глубинными сибирскими корнями, прочной культурой, данной в семье, она словно была ограждена от соблазнов времени, бесконечных волн псевдоноваторства, подхватывающих на гребень многих. Проблема цивилизации, сметающей культуру, когда-то предельно точно сформулированная Блоком, для судьбы Светланы Кузнецовой становилась краеугольной, хотя проблему культуры как отпадения от культа, обозначенную Флоренским, по условиям времени она до конца дней так и не осмыслила...



Переезд в Москву — обернулся утратой Сибири, корней. В творчество властно вошла тема великого кочевья атомного века: *«Гвоздями избы старые забили, / Пошли кочевьем по родной стране»*. Эта великая свобода величиною с небо над головой буквально потрясла поэтессу: *«Не привыкну, видать, никогда/ К ощущенью великой свободы./ Где был дом наш, теперь лебеда,/ А над нею небесные своды»* (1970 г.). Московская свобода оказалась великой свободой атеистического века — от устоев, традиции, совести, правды, чести, родовых корней. Трагедия середины жизни — это уже трагедия потери разграбленной, потерпевшей экологическую катастрофу, исчезающей родины. Светлана Кузнецова теперь воспринимает Сибирь как колонию России: *«Где лес наш? Где руда? И где меха?! Все вывезли. Мы только не нужны»*. Новая Сибирь — это порубленная тайга, выбитое зверье, недра, из которых выкачали нефть и газ, выбрали золото и руды. *«Мне не только глядеть не полезно — / Чтобы выжить, не надо мне знать, / Как упрямо ложится железо/ На сибирскую трудную гать»* (1977 г.).

За пятнадцать лет до повальной компьютеризации поэт интуитивно поднимает вопрос о полезности и вредности знания, информации — это предчувствие информационной катастрофы, а если уж говорить точнее, **воспоминание** о будущей катастрофе. Ведь информационная катастрофа — по сути, первая катастрофа человека, отведавшего плода с Древа познания. **«Воспоминанием о будущем»** уходит под воды Иркутской ГЭС огромная территория детства вместе с кладбищем, на котором похоронен отец. Одной смерти для родного в наступивших временах мало — вслед за первой приходит вторая смерть, пожирающая могилы близких, память о них: *«Ушло под воду кладбище отцово, / Освободив для духа рубежи»*. Сознание Светланы Кузнецовой эсхатологично, поздняя Кузнецова — поэт вечно длящихся последних времен в том смысле, в каком понимал их П.Я. Чаадаев: *«Мысль Апокалипсиса есть беспредельный урок, применяющийся к каждой минуте вечного бытия»*.

После смерти матери Светлана Кузнецова осталась на белом свете одна. Тогда-то и обнаружилась главная врагиня в московской жизни — цепкая, хваткая, беспринципная Римма Казакова. Именно таких бесчисленных оборотней, фантомами возникающих на поверхности писательской жизни, Светлана Кузнецова назвала «нечистью» в знаменитом стихотворении «Гадание Светланы». С более талантливой поэтической соперницей Казакова сражалась грязно и жестоко. Одна такая «кровавая битва» произошла во время писательской поездки на Сахалин. Поклонник Риммы Казаковой, Герой Советского Союза Василий Емельяненко, по наущению Казаковой назвал Кузнецову проституткой, за что получил от Светланы пощёчину. В те времена дать пощёчину Герою Советского Союза было, мягко говоря... Светлане Кузнецовой пришлось срочно вылететь в Москву. Перепуганная случившимся, в ожидании публичной расправы она попыталась покончить с собой. Божьим чудом осталась жива. Происшествие сказало на будущей судьбе. Её прекратили печатать. Вытеснили из литературного пространства.

...А Казакова лезла в подруги... После смерти матери Светланы, в минуты абсолютно понятных упадка и черноты, прислала Кузнецовой домой своего знакомого психиатра — помочь выбраться из депрессии после похорон. Дальнейшее нашумело на всю Москву. «Благодетельница» объявила поэтессу сумасшедшей — своей волей секретаря Союза писателей СССР заставила главврача литфондовой поликлиники внести запись о шизофрении в карточку Светланы Кузнецовой... От серьёзных неприятностей спасли вставшие на защиту честные литераторы и то, что рядом со страшным диагнозом главврач своей рукой приписал: «Запись сдела-



на по звонку секретаря СП СССР Риммы Казаковой». ... После публичного скандала Казакову сняли с должности рабочего секретаря Союза писателей СССР...

Светлана Кузнецова долго не могла объяснить причину запредельной ненависти Казаковой. И только в 1987 году, в эпоху наступившей «гласности», когда стали публиковаться материалы, связанные с беспределом Рашидова, вспомнила, что с Рашидовым в близких отношениях была Римма Казакова. Однажды во время поездки в Среднюю Азию на банкете писателей посетил Рашидов. Казакова провозгласила за Рашидова тост — Светлана Кузнецова громко отказалась пить за Рашидова. Вполне возможно, что Римма Казакова мстила именно за это...

Москва, огромный перенаселённый мегаполис, в творчестве С. Кузнецовой навсегда осталась городом-тупиком: *«Этот город-тупик под холодной звездой, / Этот город, где я не была молодой, / Этот город, который меня приютил, / Но ни силы, ни гордости мне не простил...»* (приблизительно 1986 г.). Перед нами словно возникают «восставшие массы» Ортеги-и-Гассета, вышедшая на проспекты городов и ставшая творцом истории безличная толпа. *«Зареклась: никого ни о чём не проси./ И сквозь долгие эти года / Я бродяжкой могла бы пойти по Руси,/ Ибо та мне светила звезда»* (приблизительно 1986 г.). Светлана Кузнецова до конца дней настойчиво свидетельствует о лишённости судьбы, доли на родной земле. *«Русская профессия — изгнанник,/ Мною не освоена досель,/ Ибо не для Ванек, не для Манек / Нынче сладкий зов иных земель»*. О минувшей революции, о мире, разорённом великими катаклизмами XX века, поэтесса емко и ясно сказала в стихотворении «Гвоздика», созданном в 1988 году. Стихотворение — яркий пример русской классики:

*Мечта толпы всегда багрянолика,  
Как комсомолки ситцевый платок,  
Как воплощенье вольности — гвоздика,  
Бессменной революции цветок.*

*Толпа полна томительной отрады  
Средь толчеи, зовущейся борьбой.  
И я скольжу средь прочих вдоль ограды  
С гвоздикою, вручённой мне судьбой.*

*Туда, где о любви моления дики,  
Где красный страх нисходит на меня,  
Где умирают красные гвоздики  
У временного Вечного огня.*

На первый взгляд — есть нечто беспомощное в попытке вместить гигантские социальные проблемы, порождённые опустошающей революцией, в чисто женское моление о любви, но, подумав, мы придём к выводу, что именно это определение оказывается всепоглощающе ёмким: любой, молящий о Любви, молит о Боге. Человеческое своеволие — уводит от Бога, потому Вечный огонь, зажжённый человеком, оказывается в стихотворении временным, сиюминутным. «Гвоздика» — не только размышление о минувшей революции, это ещё и пророчество о грядущей революции девяностых...

...Эта бьющаяся за жизнь, пытающаяся разомкнуть круг трагического одиночества женщина в чёрном в начале восьмидесятых буквально потрясала. Жила — в нереальном для советской эпохи мире. Комната практически в центре Москвы —

оклеена тёмно-синими обоями. Старинная чёрная мебель с резьбой и золочёными амурами. Тёмно-синие занавески на окнах. В провале рукотворного мрака, как звёзды в колодце, — блестят россыпи антикварного серебра. В небольших чёрных нишах — коллекция колокольчиков для вызова прислуги. Чёрное платье. Чёрная шаль. Светлые волосы заколоты на затылке в тяжёлый узел. Особая, утерянная в нашем веке сибирская купеческая статья... И — вечный траур по неудавшейся судьбе, женской и поэтической. *«Мной создан мир, прообраз смерти некий, / Где не слышны другие голоса...»* Через страшную пытку небытием пришлось пройти многим поэтам XX века.

О своей литературной непопулярности в одном из широко известных писем свидетельствовала Ахматова: «Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева...» Эта краткая и ёмкая запись Ахматовой многое объясняет в судьбе многих русских поэтов XX столетия, в том числе и в судьбе С. Кузнецовой. «Для левых — слишком правая, для правых — слишком левая», — говорила она о себе и всегда стояла в литературе особняком, на поверку безоглядно отстаивая в стихах Россию и собственную русскость: «Очень русская, говоришь./ Соглашаюсь — очень».

Мир буквально выталкивал Светлану Кузнецову из себя в замкнутые стены чёрной квартиры. Странное это было существование. Собак новых не заводила. Потому что умирают. Цветов живых не покупала. Потому что вянут. В одну из первых встреч рассказала поразившую её историю: в московской квартире умер заброшенный, никому не нужный старик. Узнали о его смерти только через месяц, когда по подъезду пополз запах... Добавила тихо: «Вот и со мной так будет...» Ещё одна поразившая Кузнецову история не выходила из её головы до конца дней. Дети умершего писателя выбросили его архив на помойку. Всё, написанное человеком за жизнь, разносилось ветром по дворам писательских домов — словно в назидание труженикам словесной нивы... По извечной привычке всё додумывать до конца, — пришла домой, уничтожила свой архив: *«Архивы, уничтоженные в спешке,/ Свидетели убийства и хулы...»* (приблизительно 1988 г.)

...Так переплетались в Светлане Кузнецовой предельная открытость и беспощадность к себе, потеря веры и умение жить в самых трудных обстоятельствах, и — надрыв, надрыв, нескрываемый надрыв — от извечных русских униженности и оскорблённости. В одну из первых встреч я сказала ей осторожно: «Вы, Светлана Александровна, словно вышли из мира Достоевского. Есть в Вас какая-то часть Настасьи Филипповны». Зарделась, довольная тем, что её хорошо поняли...

И всё же именно «пытка небытием» позволила Светлане Кузнецовой услышать себя, подняться на новый поэтический уровень. Преодолеваемое страдание заставило работать мысль, разорвало круг молодой лирической замкнутости. Две последние книги поэта — два предсмертных «Гадания Светланы» — стали одними из лучших поэтических книг восьмидесятых. Жестокий романс слился в них с напевами русских заговоров и пением сибирских вьюг, полевые цветы событий и судеб, цветущие на обочинах века, заплелись в прекрасный «Русский венок», а беспощадная честность по отношению к себе позволила С. Кузнецовой подняться до уровня большой поэзии. Прочитав первое «Гадание Светланы», из Смоленска я отправила С. А. Кузнецовой письмо, в котором говорила, что поражена своим открытием и тем, что о ней никто ничего не знает, — в моём понимании она была поэтом уровня Цветаевой и Ахматовой. Почта принесла ответ:

«Помнишь того горьковского писателя, который время от времени повторял: «Я цену себе знаю»? Не хотелось бы уподобляться ему, но придется. Так вот. «Цену» я себе тоже знаю, но так же знаю и всю свою неуместность и ненужность, да и что ещё можно было вынести после столь неудачно пройденного литературного пути?» (26.09.1983.).

История с названием «Гадание Светланы», на мой взгляд, получилась мистически тёмной и поэтически пророческой. «Жития по имени», о котором писал Флоренский, в этом случае мало: лирическая героиня Светланы Кузнецовой словно бы попала внутрь жутковатой баллады Жуковского, слила себя с прославленной романтической героиней — странным образом заключила свою судьбу в чужой предрешённый круг..

Пожалуй, самый точный поэтический портрет поздней Светланы Кузнецовой в одном из лучших своих стихотворений начала восьмидесятых дала Татьяна Глушкова — её С. Кузнецова при знакомстве тоже поразила:

*Этот русский анапест, что плачет во имя любви,  
В чёрной шали крест-накрест живёт не в эпохе, в крови.  
А эпоха ему не соперница и не жена,  
Ничего-то не ведает в лунах и струнах она.*

Первоначально на стихотворении стояло посвящение. Потом Т. М. Глушкова посвящение убрала — ведь в следующих строфах она говорила о себе, и только концовка — опять высветилась точным и метким портретом и Светланы Кузнецовой, и самой Татьяны Глушковой: «Эта мощь, эта слабость ужели для жизни дана?/ Наливай же, анапест, щербатую чашу вина!»... Эта мощь, эта слабость...

Среди мерцающего звёздами в черноте комнаты серебра — шёл пир, призванный скоротать сгущающуюся за окном ночь эпохи. Ночь перед крушением родины. Собственно, вся жизнь людей в умирающей стране превратилась в некое подобие платоновского пира, в бесконечный диалог понимающих друг друга собеседников с предстоящей чашей цикуты в конце. За столом — немногочисленные друзья той поры — Анатолий Преловский, Татьяна Глушкова, Валерий Хатюшин, Алла Марченко, Таиса Бондарь, Лидия Григорьева, Ирина Шевелёва, Инна Лиснянская... В последние годы — третий, обрётённый перед смертью муж — Олег Алексеев. Разговоры — по большей части непринужденные, брызжущие искрометным юмором. Светлана Кузнецова была мастером хорошей литературной шутки.

Часто говорила о непреодолимой бездне, которая лежит между москвичами и приехавшими в Москву провинциалами, раздумывала о судьбах послевоенных поколений, которые мало проявляли себя в литературе, как-то сказала: «Наверное, каждому литератору для того, чтобы состояться, нужна своя маленькая война...» Помню, как в первый раз она увидела по телевизору Горбачёва — была потрясена и его обликом, и его речью, и тёмным пятном в форме СССР, расплывающимся по черепу. Со свойственной ей магической пронизательностью с полувзгляда поняла и возненавидела пришедшего к власти предателя. Сказала: «Этот с Россией такое сделает, чего раньше с ней никто не делал». Очень остро переживала женофобию, царящую в русском лагере. Утверждала, что русские даже самых сильных поэтов гробят, а евреи даже самых слабых носят на руках. В пику Цветаевой и Ахматовой, а вместе с ними — и всем пишущим женщинам, согласным хором твердящим: «Я не поэтесса, я поэт!» — всегда повторяла: «Я не поэт, я поэтесса!» — считала, что женщина и в поэзии должна оставаться женщиной.

А вот мы сидим и читаем вслух. Светлана Кузнецова достает любимые книги из чёрных с резными позолоченными амурами старинных книжных шкафов, просит читать. Читаем взахлёб — то Блока, то еще в молодости переписанных в толстую тетрадь репрессированных сибирских поэтов, то перепечатанные на машинке стихи Георгия Иванова. В середине восьмидесятых Иванов — редкость. В СССР его не знает почти никто. У Светланы Кузнецовой его стихи по счастливой случайности — книгу Иванова привез из одной из заграничных поездок Межиров и принес почитать. Из любимого Блока Светлана Кузнецова стихотворение «дарит». Есть у поэтов такой обычай — даже у классиков находить стихи, которые не разглядел никто, и «дарить» свои открытия литературным собратьям. Подарок Светланы Кузнецовой из Блока — прекрасное стихотворение «Усните спокойно, заморские гости, усните...» Среди любимых поэтов числила Корнилова, часто читала вслух его удивительную «Соловуху»: *«Перед ним вода — зелёная, живая,/ Мимо заводов несется напролом, — / Он качается на ветке, прикрывая/ Соловуху годовалую крылом»*... Любила стихи Рубцова и гордилась тем, что училась на ВЛК в те же годы, когда тот учился в Литературном институте в тех же стенах. Постоянно восхищалась Юрием Кузнецовым.

...В чёрной своей комнате, в зыбкой своей судьбе Светлана Кузнецова разбрасывала красные карты на расстеленных сибирских мехах. Длилось гадание о любви. Но в порушенном мире — живёт порушенная любовь. Ранняя лирика С. Кузнецовой переполнена светлыми чувствами. В поздней любовной лирике традиционные мотивы подчёркиваются явными нотами жестокого романса. Собственно, то, что принято называть **любовной лирикой**, заменяется полной её противоположностью, — стихами о **нелюбви**, которые, на мой взгляд, сливать со стихами о любви просто ошибочно (я не имею в виду стихов о любовных драмах, неразделённой, трагической любви):

*Позабыв про холод и про нарты,  
На придумку скорую легка,  
Красные раскидываю карты,  
Русского гадаю мужика.*

*Как ты ни раскидывай, однако,  
На плетне всё так же виснет вновь  
Красная немытая рубаха,  
Русская напрасная любовь.*

Алый цвет висящей на плетне рубахи — совсем не тот алый цвет красоты и праздника, в который красили свои одежды деды. Это цвет крови, цвет душевного рубежа, цвет перейденной запретной грани. От любви в разрушенном мире веет «мелкой хитростью, мелкой лестью». Всё слышнее мотивы старения, прощания с миром, прощания с любовью. Прекрасный жестокий романс «Крот», в отличие от многих поздних стихов поэта о нелюбви, говорит о любви в извечном смысле этого слова, о любви-прощании, о любви-старении, о смерти, разлучающей любящие сердца. В стихотворении снова возникает красная рубаха. Цвет ее — совершенно откровенный цвет пролитой крови: *«Милый, надень свою алую-алую, / Как из-под ножика — кровь»*. Если в молодости сибирские реки втекали в вены поэтессы, питали ее душу, теперь истекающая из сосудов кровь питает мир, окрашивает округу в трагический цвет убывающей жизни и позднего заката: *«Месяц окрасит*

*всё тот же багрянец,/ Что у нас вечен в крови,/ Немолодой, некрасивый румянец/  
Ляжет на щёки твои...»*

Вообще никакого другого способа выжить в литературе, кроме признания Юрия Кузнецова и Вадима Кожина, она не видела. Оттого и было таким трагичным и напряжённым ежедневное ожидание — почему не признают?.. Почему замалчивают?.. Вопрос о том, что думает о Светлане Кузнецовой В.В. Кожин, окончательно стал ясен только после её смерти: в 1991 году, работая в газете «День», я заказала Кожину полосу «антологию» со стихами С. Кузнецовой. Вадим Валерианович очень быстро и охотно откликнулся на предложение, стихи отобрал сам и написал предисловие: «...Признаюсь, что давно и не раз собирался я написать о поэзии Светланы Кузнецовой, да так и не собрался сделать это при ее жизни, — сетовал он. — А потом уже было поздно. И не проходит чувство вины, которое никак не облегчают эти сегодняшние слова... Поэзия Светланы Кузнецовой всё время находится как бы на самой грани жизни и смерти, не страшась, не трепеща перед этим уделом. А в бесстрашии — нет конца. Для поэзии эпохи окончательного упадка и гибели того или иного народа, той или иной культуры вовсе не характерно бесстрашие: такая поэзия склонна, напротив, прикрыть глаза, уйти в мир мечты, утопии, идиллии...» («День», № 23, 1991 г.)

Я не совсем понимаю, для чего Олегу Игнатьеву в его прекрасных воспоминаниях о Юрии Поликарповиче Кузнецове понадобилось зарывать в землю без того лишённую заслуженного признания поэтессу. «В ней слишком много кровей, противоречий... Татарско-польская-тунгусская-русская... В целом творчество её эскизное, черновое, чуть ли не графоманское, но последние стихи очень сильные... Каждый сильный талант знает себе цену», — цитирует Игнатьев одно из высказываний Ю.П. Кузнецова. Не сомневаюсь в том, что критиковавший Пушкина и соревновавшийся с Данте Кузнецов претензии к поэзии С. Кузнецовой имел.

И всё же многие поступки Юрия Поликарповича говорят о том, что он хотел вытащить С. Кузнецову из небытия. На вечере в честь своего пятидесятилетия в огромном зале ЦДЛ заявил, что есть сегодня настоящая поэтесса — Светлана Кузнецова, не родственница, однофамилица. Для того чтобы ввести в литературный процесс имя Светланы Кузнецовой, написал статью в «Литературную газету». Статья для женского уха сложная, не хочу делать вид, что разделяю точку зрения Ю.П. Кузнецова на женскую поэзию и женскую ложь, но Светлану Кузнецову в этой статье он поставил в один ряд с Цветаевой и Ахматовой. Два раза Юрий Поликарпович приходил домой к Кузнецовой — Светлана Александровна очень дорожила этими встречами и молчала о них, рассказала немного: спрашивал, не было ли каких-то знаков при её рождении, рассказал семейное предание о том, что о появлении поэта в его роду возвестила цыганка. Вытащил из кармана длинную бумажную ленту с записями (оказалось, что к встрече готовился специально и серьёзно), долго и подробно расспрашивал, как она написала то или иное стихотворение. После смерти Светланы Юрий Кузнецов вошёл в комиссию по литературному наследству поэтессы, составил подборку её стихотворений для «Нашего современника», провёл вечер, посвященный памяти поэтессы, в ЦДЛ. Марина Гах, как и Олег Игнатьев, учившаяся на ВЛК у Ю.П. Кузнецова, свидетельствует, что Юрий Поликарпович говорил: «Светлана Кузнецова — лучшая современная поэтесса» («Наш современник», № 11, 2004 г.).

Как и всякий поэт, обладающий магическим зрением и умеющий видеть будущее, Светлана Кузнецова остро чувствовала надвигающуюся катастрофу. Знаки



рушащегося мира напоминали об исторических свойствах больших чисел, о катаклизмах, связанных со сменой столетий и тысячелетий: «Тысячелетие встретим, пируя на тризне,/ пересчитаем и взвесим тяжёлые числа», — стихотворение, написанное примерно в 1987 году. Приблизительно в то же время создано одно из самых «запредельных» поздних стихотворений Светланы Кузнецовой «Мороженое», порождённое страшными демографическими данными и страшным грядущим, замаячившим впереди:

*Ты этот миг обсаывай подоле,  
Поскольку, шутки скользкие шутя,  
Расеюшка в кримпленовом подоле  
Баюкает мутантное дитя.*

*Баюкает не жданное, но роженое,  
Баюкает кровиночку и кровь.  
И тает, тает на губах мороженое,  
Последняя народная любовь.*

Катастрофа конца века для С. Кузнецовой — только продолжение катастрофы, начавшейся в семнадцатом году. Катастрофы длиной в столетие, завершающее русское тысячелетие. Потому-то и «Расеюшка» баюкает в подоле странное, порождённое вредными информационными полями разрушенного мира мутантное дитя, никак не могущее быть наследником умерших дедов. Мир накануне третьего тысячелетия разрушен на уровне неприкосновенных генов, обеспечивающих существование человеческого рода... В небесах ожидающей неизбежной участи земли летит «Крылья раскинувший демон/ Над атомной белой страной», на проспектах шумной, потерявшей разум столицы стоит с безучастным взором мальчик, одурманенный наркотическими маковыми парами. Перед нами — не просто признаки грядущего Апокалипсиса. Это Апокалипсис, длящийся здесь и сейчас. Особенно ужасает поэтессу предельная разруха русских деревень. Она поражает ум, возмущает сердце.

*Горький ветер касается губ.  
Что мне боль мимолётной потравы,  
Коль в деревне Кудяево клуб  
Оплели узловатые травы.  
Что мне зовы дурманной судьбы  
В одиночества полной столице,  
Если в клубе том сонном грибы  
Проросли через щель в половице.  
.....  
А на кладбище, там, над водой,  
Где закат умирает, пылая,  
Под крестом ли, под красной звездой  
Похоронена слава былая...*

Если деревенская изба, возникающая в стихах у Клюева, — всегда модель живого мироздания, то разрушенный деревенский дом Светланы Кузнецовой — модель мироздания умирающего, разорённого человеком. Не случайно в стихах



возникает образ затонувшей подлодки — образ угрожающего будущему, убитого и затонувшего до времени прошлого. На этот гниющий дом с атомным реактором изломанных судеб и загубленных душ, несущий в себе информацию о порушенном мироздании, может напороться идущий в ночи времён крейсер под названием «Россия»: *«Раскрошились в русской печи кирпичи./ Затянуло окошки льдом. / Затонувшей подлодкой лежит в ночи / Деревенский брошенный дом»* (стихотворение написано примерно в 1987 г.).

Светлана Кузнецова умерла 30 сентября 1988 года от продолжительной неизлечимой болезни, в больнице, не приходя в сознание после операции, в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Когда пришло известие о её смерти, стало очевидно, что ни в какой другой день года Светлана Кузнецова умереть не могла — так как глубинной сутью её природы были Вера, Надежда, Любовь и Премудрость Божья, не разменянные на пустопорожные сложности человеческого мудрования. И это — несмотря на бесконечные, частью судьбы ставшие самоубийства, мрак стихов, внешнюю черноту комнат и одежд.

Смерть свою Кузнецова предсказала загодя, как это часто случается с настоящими поэтами. Ещё в 1968 году, то есть ровно за двадцать лет до кончины, написала стихотворение «Тридцатое сентября». Помню, как я спрашивала её об этом стихотворении. В ответ Светлана пожала плечами — нет, ничего особого не произошло, написалось — и всё: *«Я дню такому рада,/ Как дорогой обнове./ Мне за печаль награда/ День именин Любви./ День именин Надежды./ Осенняя пора./ Я в светлые одежды/ Наряжена с утра. /Друзьям прощая вины,/ Я счастлива без меры./ Сегодня именины/ Моей последней Веры»*. И только после смерти поэтессы строчки приобрели особый, мистический, тайный смысл...

Таковы краткие заметки о жизни и смерти большого русского поэта, нищей наследницы двух богатых сибирских родов, Светланы Александровны Кузнецовой, по обычаям золотоносной земли драгоценным самородком вышедшей из неиссякающих древних недр, золотым самородком вернувшейся в землю огромного Отечества накануне катастрофы.

*Оплачен мой счёт и оплакана доля.  
Сибирская тройка умчалась, спеша.  
Огромность родного осеннего поля  
Теперь только может осилить душа.*

*И то не осилит. По краешку муки,  
Как ведьма, пройдёт, заклинанья творя.  
Но знаю: за миг до последней разлуки  
Над ней ослепительно вспыхнет заря.*

*Что я призову у последнего крова,  
На самом последнем из смертных кругов?  
Лишь чёрную магию русского слова.  
Лишь белую магию русских снегов.*

Предельно ясная и чёткая по натуре Светлана Кузнецова оказалась одним из сложнейших поэтов конца XX века. По природе лирик — она подняла важнейшую публицистическую тему гибнущего отечества, чуждая философии — встала

в один рост с важнейшими философскими проблемами века, по-женски беззащитная, обернулась поэтом значительным и волевым. Вспоминая снег, летящий за уносящейся в безоглядные дали сибирской тройкой, напоследок хочу заметить, что литературное наследие, оставленное поэтессой, невелико — после тщательного отбора сложится совсем небольшая книжечка первоклассных избранных стихотворений. И всё же спасти С. Кузнецову от забвения и дать ей полноценную жизнь в русской литературе мы должны, ибо удельный вес этой небольшой книги не только тяжелее «премногих томов», полнящих наши библиотеки, — при внимательном исследовании вопроса он окажется равен удельному весу чистого золота.

*2009-2024 гг., Смоленск*



АНТОН ЛУХНЕВ

## Путь к Пушкину

В Иркутском Доме литераторов отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Гений», «Наше всё», «Классик», — так выражали своё отношение к Пушкину его почитатели, собравшиеся в гостиной дома литераторов в день рождения поэта. Во вступительном слове ведущий Антон Лухнев отметил народное значение Пушкина, сказав, что творчество поэта делает нас народом. Народ — это не только пространственное, но временное явление, историческое. Мы, ныне живущие, — часть народа, который был до нас и будет после нас. Народ имеет народную культуру. Пушкин, знавший и любивший простых людей из непривилегированных сословий, подолгу живший в деревне, воспринял эту культуру и запечатлел её в своих произведениях. К тому же, в XIX веке бытовая среда, уклад жизни был во многом одинаковый, что в деревне, что в городе: и горожанин и селянин топили печь и ставили самовар. Время шло, жизненный уклад изменялся в силу технического прогресса, социальных пертурбаций. Деревня в XX веке ушла в небытие, о чём поведала «деревенская» проза, в том числе Валентин Распутин. А культура сохранялась и передавалась новым поколениям через литературу. Поэтому мы понимаем и друг друга и человека из XIX века.

Давид Самойлов однажды так объяснил значение Пушкина в сохранении русской народной культуры, которая «в наше время почти стёрлась с исчезновением её носителей — крестьян. Эта культура пережила многие века и стала органической частью национальной культуры, в ней исчезнув и растворившись — в гениях XIX века, прежде всего — в Пушкине» («Памятные записки», часть III, Горняшка). Стало быть, культура живёт, и народ живёт».

Далее ведущий объявил начало Свободного микрофона и первым вызвал... себя. Зрители услышали рассказ от первого лица о том, как Сергей Есенин сто лет назад, в 1924 году, побывал в Детском Селе (как тогда называли Царское Село) и придумал сделать фотографию, запечатлеть себя с Пушкиным, и как был удивлён такой выдумке местный фотограф.

На участие в концерте по принципу свободного микрофона поступило несколько заявок. Виктория Истомина выразительно исполнила произведение «Пророк» о дарованной свыше способности и миссии поэта. Наталья Козинцева, явно соперничая любимой героине, воспроизвела речь Татьяны, обращённую к несчастному Онегину. Далее мы не только услышали, но и увидели фрагмент из повести «Капитанская дочка», тот драматический момент, в котором решается участь главного героя. Анастасия Буева, участница театральной студии «Бусинки» (режиссёр И.В. Щербак), превосходно владея голосом, изменяя его тембр и интонацию, смогла передать решительность юной девушки, защищающей честь своего возлюбленного, и приветливую величавость и мудрую заботу императри-

цы. Тарасова Варвара с подлинным чувством и убеждением исполнила столь злободневное ныне стихотворение «Клеветникам России».

Сверх заявок поделиться своими любимыми произведениям вызвались Дарья Головина, учащаяся средней школы, и одна из участниц вечера. Первая прочитала стихи современного автора Игоря Шептухина о Пушкине «Не надо делать из него святого...», которые заканчиваются знаменательными словами: «Есть Пушкин, значит — есть Россия!». Прочитанное одной из почитательниц стихотворение «Буря» напомнило нам знакомые с детства слова, добрую, уютную и такую родную картину. Заведующая отделом прозы журнала «Сибирь» Светлана Владимировна Зубакова прочитала наизусть философские стихи «Что в имени тебе моём...», поэт Рада Черноусова прочитала несколько начальных строк «Евгения Онегина», строчки, ставшие крылатыми. Ведущий, тоже любящий этот роман, прочитал искромётные «Отрывки из путешествия Онегина» о весёлой жизни молодого человека в Одессе.

Затем зрители бойко отвечали на вопросы викторины, посвящённой биографии и творчеству Пушкина. За каждый правильный ответ ведущий одаривал знатока большой красивой конфетой... Все мы узнали что-то новое о поэте. В частности, о судьбе перстня-талисмана Пушкина, об истории создания живописных портретов поэта, написанных И. Репиным, И. Айвазовским, Г. Чернецовым, О. Кипренским. Ведущий признался, что, готовя вопросы, был очень удивлён, когда узнал о роли митрополита Филарета в жизни Пушкина. Гости тоже подивились, увидев на слайде икону современного изографа Зенона, на которой изображены Пушкин и святой Филарет. На последний вопрос викторины — кто был автором идеи учреждения лицея в Царском Селе? — никто из гостей не ответил. А известен ли ответ вам?

Ведущий осветил тему связи Пушкина и декабристов, среди которых были его друзья, и прочитал стихотворение Д. Самойлова «Пестель, поэт и Анна», о знакомстве и взаимопонимании ссыльного поэта и главы тайного общества. Затем прозвучало начало письма Вильгельма Кюхельбекера. Двенадцать лет проведший в одиночном заключении, сосланный в Сибирь, в посёлок Баргузин, что на восточном берегу Байкала, Кюхельбекер, когда получил дозволение вести переписку, прежде всех написал к Пушкину, поблагодарил его за верность их дружбе. В качестве примера литературы, отражающей образ великого поэта, чтец процитировал также стихотворение В. Ходасевича, отождествляющего Родину с творчеством Александра Сергеевича.

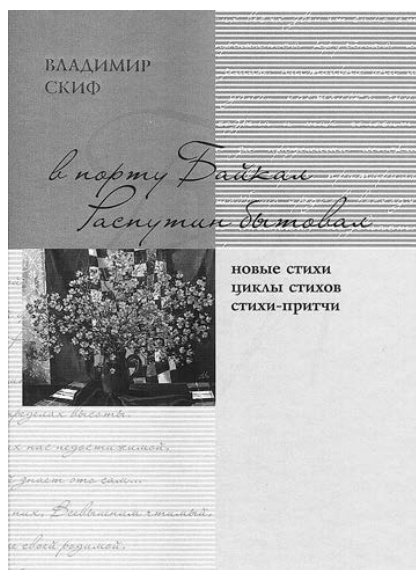
В завершение встречи А. Лухнев привёл мысль Сергея Некрасова, директора Всероссийского музея А.С. Пушкина, сказавшего, что Пушкин — это не только праздник. Пушкин — это, прежде всего, труд. Труд постижения его творений и труд поисков пути к Пушкину. На прощание всем гостям ведущий пожелал продолжать этот радостный и прекрасный труд.



ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

## На русском перепутье

ИЗОБРАЖЕНИЕ И СМЫСЛ В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА СКИФА



Владимир Скиф — фигура в современной русской поэзии необычная. В его стихотворениях, чаще сменяя друг друга, а порой находясь в рамках одного сюжета, присутствуют две духовно-стилевые линии. С одной стороны, он — прекрасный лирик реалистического толка, превосходно владеющий самыми разными способами литературной изобразительности. Его пейзажи, повадки зверей, остро подмеченные приметы современников очень наглядны и остаются в памяти читателя надолго. И кажется, что его творческую родословную вполне можно соединить со стихами Николая Рубцова.

*Не выйти из ночного круга,  
Когда до утра далеко,  
И катится в лесу упруго  
Живой туман, как молоко.*

*Луны не видно. Мрак на небе.  
Земля пустынная темна.  
Но солнца петушиный гребень  
Уже воспрянул ото сна.*

Однако вторая ипостась его сюжетов как будто резко удалена от названной художественной практики и более склоняется к самым разным примерам из поэтики Юрия Кузнецова, где события и предметы условны и подчинены логике развития литературного мифа.

*Неизбывно время длится,  
Неизбывно снятся мне  
Чьи-то крылья, чьи-то лица  
В непроглядной тишине.*

*Почему-то мне не спится,  
Потянулся в небо взгляд.  
Это души или птицы  
Над погибшими летят...*

*И для смерти нет границы,  
И для жизни нет конца.  
И хлопочут души-птицы  
У Господнего крыльца...*

Парадоксальное присутствие в произведениях Скифа таких разных ментальных притяжений проявляется, как правило, не контрастно, порой сглаживая взаимную непохожесть подобных устремлений автора. А в иных сборниках мы видим эти ипостаси как вполне автономные воплощения творческих замыслов автора, что подтверждено композицией издания, делением на темы и ракурсы, взаимно не совпадающие, но отчетливо обозначенные и даже подчеркнутые. Примерно так выглядит и его настоящая книга.

Обращая внимание на эхо Рубцова и Кузнецова в поэтике Владимира Скифа, необходимо понимать, что тут речь идет о происхождении его слова. Эту почву поэт хранит в своей душе как некое общее интонационное поле, из которого прорастают его самобытные и яркие произведения. Так устроено развитие русской поэзии — с образными переключками и чувством наследования, и считать, что некий автор может повторять художественные решения предшественников в определенной мере рационально, было бы близоруко и легкомысленно.

Датировка стихотворений и сочетание двух названных тенденций в одном течении и развитии поэтической речи Владимира Скифа, в свою очередь, свидетельствуют об органичности его голоса, дополнительно подтверждая, что мы имеем дело с редким феноменом отечественной лирики, впитавшим и растворившим в себе то, что было прежде в современной русской литературе и в какой-то мере уже прошло, поскольку теперь нет его живого авторского возобновления. Тогда как стихи Скифа живут сегодня и отражают в себе нынешний день — его приметы и детали, его скрытые смыслы и положение на бесконечной ленте времени, его русскую основу и чувство полноты мира.

Уже самим названием сборника «В порту Байкал Распутин бытовал» автор ориентирует своего читателя на реалистический профиль последующего корпуса сюжетов. Именно к тому подводит нас имя Валентина Распутина в заглавии, а в дальнейшем — и в ряде мемориальных и духовно окрашенных сюжетов. Как будто и упоминание великого озера поддерживает этот смысловой вектор. Однако Байкал — явление не только вещное, предметное, но и таинственное, скрывающее сердцевину своего рождения и сути. И потому опрощенное, на первый взгляд, название сборника по сравнению с другими книгами Скифа («Заброшенный сад», «Где русские смыслы сошлись», «Русский крест», «Все боли века я в себе ношу...») исподволь становится синкретичным, объединяющим в себе зоркий взгляд автора на картины реального мира — и мистику земли и воды, живого пространства — и незримых пределов, в которых искрятся потаенные ответы на неисчерпаемую загадку человеческого присутствия на земле.



*Байкал не бил волною каменной,  
Или тяжёлой, как железо.  
Он разразился речью пламенной,  
Как будто праведною мессой.*

*Он говорил: «Живите в Господе,  
Не тратьте сил на дело зряшно.  
Хамар-Дабана скалы острые  
Да и волна не станет страшной.*

*И катер солнечный прогулочный  
В пучину тёмную не ухнет,*

*Как будто по иркутской улочке,  
Вас пронесёт по тихой бухте.*

*Моими нерпами обученный,  
Научит в море волны свёртывать.  
И между водами и тучами  
Казаться калачами тёртыми.*

*Я вам со дна достану омуля,  
Сига байкальского — могучего,  
Чтоб не забыли непреклонного  
Байкала вещеого, живучеого!»*

Сами по себе внутренние разделы книги не говорят прямо о том, какие в образном отношении стихи сосредоточены в конкретном цикле. Поэтические сюжеты тут часто объединяются в литературную сюиту по центральному имени, слову или понятию в отдельных вещах. И порой реальный контекст неожиданно переходит в видение и миф в пределах одной тематической группы стихотворений. Новые стихи, циклы, стихи-притчи — вот основные части сборника, которые в какой-то степени готовят читателя к последующему восприятию столь разных строк и лирических историй Владимира Скифа. В поэтические циклы автор свел произведения, часто созданные в течение довольно большого периода времени, и это обстоятельство позволяет со всей очевидностью говорить о внутренней преемственности в движении его лирики через эпохи и десятилетия.

Полифония тем в этой книге поэта впечатляет разнообразием. Однако практически все вещи содержат в себе ноты грусти и трагизма. Картины природы и автобиографические мизансцены, пронизанные чувством нежности к прошлому, социальная графика и жестокое столкновение смыслов, отражающих современную русскую реальность, — вот самые общие приметы тематической палитры этого издания, которое становится еще одним взаимным соединением под общей обложкой избранных произведений Владимира Скифа.

*Не постичь эту землю, настолько она многолика,  
Не объять эти дали, настолько они велики...  
А в распадах созрела и так голосит голубика,  
Даже слышно её за пределами ленской тайги.*

*Разудалая Лена в горах проторила дорогу,  
Над рекою, как стойбища предков, восходят столбы.  
И великая эта стихия, подвластная Богу,  
Стала кладом Сибири и частью народной судьбы.*

.....  
*Всё было в раю, как и в жизни людской:  
Здесь каждый спокоен, послушен,  
Но только невидимый райский покой  
Был странным событием нарушен.*



*Он увидел — мир несовершенный,  
Понял — что-то на земле не так...  
Закричал, как будто оглашенный,  
И пошёл с гранатой на танк...*

*А когда во тьме его подняли,  
Он бескровен был и очень плох.  
На «укропа» ночью обменяли  
У ручья, который пересох.*

*...Он очнулся в тёмных катакомбах,  
Его били много дней подряд.  
Ангел жил, но превратился в зомби,  
Его крылья оторвал снаряд.*

*...Покрывалось время чёрной пылью,  
Мир тяжёлой злобой истекал.  
Видел я — меж небылью и былью —  
Ангел крылья белые искал.*

Вмешательство высшей силы в события плотной реальности, наверное, хранится как потаенная надежда в глубине каждого человека. Однако в наши дни христианское утешение очень часто оказывается не под силу душе измученного невзгодами мирянина. И он вправе выбрать сражение, сопротивление злу силой, не вынеся бесконечного терпения и нравственного унижения. Подобная склонность к борьбе есть свойство горячей природы, и это качество оправдывает возможные действия православного воина и его прямые упреки земным инстанциям, закосневшим в черствости, в теплохладности и эгоизме. Так, в строках, говорящих о Николае Рубцове, возникает неявный упрек столице, высокомерно озирающей всю остальную Россию.

*Он пел, как будто пел Архангел!  
Прощаньем полнились слова...  
В ответ гудел ему Архангельск  
И молча слушала Москва.*

А в стихотворении, посвященном Юрию Кузнецову, праведное действие появляется вослед молчанию и напряженному созерцанию.

*Стою на русском перепутье  
Один меж небом и землёй,  
Где на кресте башкою крутит  
Залётный ворон удалой.*

*Он говорит одно и то же:  
Что я — друзьями позабыт...  
А у меня мороз по коже —  
Судьба из ворона глядит!*

*Он долго чистит клюв кровавый,  
За что-то вновь меня корит.*

*Он говорит: — Иди направо!  
Или — налево! — говорит.*

*— Там будешь бит! Здесь будешь предан!  
Я — ворон твой. Я там и здесь.  
Направо я вчера обедал,  
Налево завтра буду есть.*

*Он был жесток. Он был проворен.  
Он долго правил торжество.*

*Я камень взял: — Не вейся, ворон! —  
И вышиб сердце из него.*

Заметим, что такая логика происходящего не становится общепринятой нормой духовного поведения. В данном случае она свидетельствует о душевном устройстве поэта, однако в настоящее время очень многие готовы встать рядом с автором плечом к плечу. И это нарастающее свободное дыхание глубинки позволяет думать о России как о проснувшейся и бодрствующей державе.

Между тем, изменения в судьбе родной земли в стихах Скифа часто возникают на фоне присутствия в сюжете души простой, наивной, блаженной, бескорыстной. Подобная скрытая форма появления даже не праведника, а традиционного

русского «простеца» в трудных обстоятельствах для поэта не только важна и почти регулярна, но и говорит все-таки о неразделимости в его творчестве шагов волевых со стоическим, мужественным вглядыванием в окружающее социальное и духовное пространство.

*Опустилось с небес полотно:  
То ли древнего времени свиток,  
То ль зовущее в небо рядом  
Для свиданий с Творцом или пыток.*

*Подошёл к полотну человек,  
Был он вишивый, плешивый, убогий,  
Пропадавший в себе целый век,  
Никогда не мечтавший о Боге.*

*Дёрнул раз, дёрнул два полотно,  
И оно заструилось, как речка.*

*— Вот продам его, то-то оно, —  
Заблажил полый рот человечка.*

*Но открылось на небе окно,  
И возник будто гром возле солнца:  
— Для спасенья Руси — полотно!  
И сверкнуло лучами оконце.*

*Изумился блаженный: — Но-но...  
Ить и я об ей думаю. Верно!  
И набросил на мир полотно,  
И очистил Россию от скверны.*

На Руси многое свершается по необъяснимому Промыслу Божьему. Автор верит в это, хотя сроков и имен не ведает, как и все иные люди. Едва уловимое волнение и ожидание знаков Небесных живут в нем, напоминая о себе постоянно. Одновременно не убывает в его стихах и видимая любовь к простым вещам, искренним людям, просторам и теснинам природы, безыскусным словам и дорогим деталям прошлого. Острый ум и внимательное око художника не отпускает все названные вещи далеко от себя, они всегда рядом как драгоценное свойство укорененности русского человека в родной земле. Быть может, это самое важное в нашем сознании и переживании, о чем мы не очень много говорим, но понимаем — как очевидное.

*Просвистела на небе игла,  
Со звездой и душой наигралась,  
И в стогу на закрайке села  
Мировая игла затерялась.*

*Что её в этот стог занесло?  
Кто ей дул в её чуткое ушко,  
Чтоб упала она на село,  
Где молчит даже ржавая вьюшка?*

*Стог ворочался в белом снегу,  
Каркал ворон чугунно и долго.  
И стонала, и выла в стогу  
Занесённая с неба иголка.*

*Вдруг откуда-то в мёртвом селе  
Заискрились пустые окошки,  
Замычали коровы в тепле,  
Петухи закричали и кошки.*

*Вон и тройка взвилась по зиме,  
Пели девки в селе без умолку.  
Даже старый казак в полутьме,  
Словно саблю — почувял иголку.*

*Всё живое метнулось искать  
В плотном сене иглу мировую,  
Стали девки из стога таскать  
То пырей, то осоку сухую.*

*И явилась из стога игла,  
Деревенскому люду мигнула.  
И разбитые судьбы села  
Стали шить, и деревня уснула.*

*Век уставший прилёг на кровать,  
Приутихли — печаль, укоризна.  
А игла продолжала сновать  
И сшивать лоскуты русской жизни.*

## ЭДУАРД АНАШКИН

Член Союза писателей России

### Светлое триединство



*Светлана Вьюгина*

Кто-то из писателей сказал, что зря Бог человеку фамилию не дает. А я бы добавил, что порой данное родителями имя является девизом жизни человека, ведь не часто, но случается, что настолько человек соответствует своему имени, что остается только изумляться. Светлана Вьюгина из числа таких людей! Светлая эта женщина скоро будет праздновать свой юбилей — слово, которое не вяжется с этой ее молоджавостью и свежестью, но тем не менее это так. Порой вспоминаешь ее и думаешь, что та сельская девчонка, она появилась на свет в подмосковном селе Красногорского района, так и осталась жить в этой женщине, ставшей известной писательницей, получившей престижную профессию журналиста, и не

где-нибудь, а в лучшем вузе страны — на факультете журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Когда-то Светлана Вьюгина начала свою журналистскую карьеру в газете «Советский патриот». Но потом, как не часто, но все-таки случается (а с журналистами особенно!), выбрало Светлану призвание писателя. Пошли публикации в журналах «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Юный натуралист», «Аврора», «Балтика», «Огни Кузбасса», «Дон», «Север» и других известных периодических изданиях. Ныне она автор многих книг для детей — книг с такими солнечными названиями, как «Конопастик», «Солнечные краски», «Черемуховое крылечко»... С 1976 года начала работать в правлении Союза писателей России, и вот уже как минимум три десятка лет трудится в приёмной коллегии Союза писателей России.

Как много света в книгах Светланы!.. Для примера начну со своего любимого Вьюнка, и опять придется вернуться к волшебной правде имен: в народе говорят, что хороший конь сам себе хозяина выбирает. Я бы добавил, что настоящий хороший конь выбирает себе не только хозяина, но и имя. Так случилось и с главным героем одного из рассказов Светланы Вьюгиной. А главным героем стал даже не человек, а жеребенок по кличке Вьюнок. С такой любовью и пониманием глубинного мира этого четвероногого «лирического героя» написана его героическая биография, что не зазорно поместить ее в жизнь замечательных зверей. Хотел было хозяин жеребенка, сельский зоотехник, своему питомцу, у которого ко времени официального поименования уже было «детское» имя Вьюнок, дать солидное звучное имя — Самсон. Однако дело даже не в том, что любящие жеребенка сельчане не сочли это имя подходящим для жеребенка. Сам жеребенок отверг это имя, категорически на него не отзываясь! Вьюнок пожелал остаться Вьюнком, даже став великолепным конем. Чувство собственного достоинства этого коня распространилось не только на выбор собственного имени, но и продолжилось

тем, что свободолюб Вьюнок считал, что вправе сам себе выбирать наездника. И как только его пытался оседлать некий начальственный дядя, чтобы покрасоваться на красивом коне, Вьюнок вставал на дыбы и безжалостно сбрасывал непрошеного наездника, всякий раз ставя своего любимого хозяина в неудобное положение. Был Вьюнок талантливым в спортивных конных состязаниях, но, как у нас часто водится, не любит начальство строптивых и гордых. И отправлен был прекрасный конь на хозяйственные черные работы. Да только не горюнился, потому что жил среди простых, его любящих людей, когда краюшка хлебушка или кусочек свеколки из рук любящего мальчишки дороже сахара из начальственной руки. Когда есть счастье лунной летней ночью вместе с мальчишками купаться в реке, а не подставлять угодливо спину под начальственный зад...

Все мы, да не все, немного кони, заезженные жизнью-наездницей. Но когда встречаем в жизни ли, в книге ли — коня с настоящим русским характером, это ли не событие? И как важно, чтобы это событие произошло в детстве, а вдвойне важнее, чтобы случилось оно с детьми города, которые коней только на экранах смартфонов и видели. Чтобы смогли увидеть в «брате нашем меньшем» живое одухотворенное существо, а не красивую картинку, потому что если смотреть только на киборгов, то человечности не добудешь. У Светланы Вьюгиной, как правило, светло и книги заканчиваются, даже если повествуют о трудных временах. Вьюнок на войне спасет своего хозяина, примчится к его сотоварищам, и те поймут, что Николай Николаевич ранен и нуждается в помощи.

Я уже тут упомянул о киборгах и прочих фантомных порождениях человеческой фантазии. Они победно шествуют по страницам современных детских книг, что по-хозяйски разлеглись на полках с детской литературой. Вот так придет молодая мама в книжный магазин, чтобы купить книгу ребенку, а что выбрать? Полиграфически книги выполнены богато, стоят дорого, а что на поверку несут они душе юного читателя? Более-менее читающая мама, что ориентирована не только на яркую картинку, полистает-полистает всякие «гарри-потерианские» подделки, да и выберет испытанные временем советские книги вроде рассказов Носова и «Бронзовой птицы».

Потому что придуманные истории с невообразимыми персонажами, надуманные герои и неумно срежиссированные отношения главного героя со сверстниками и взрослыми бесконечно далеки даже от нашей такой порой фантастической жизни. Все меняется — времена, эпохи, технологии. Но подлость не перестает быть подлостью, сколько бы ни внушали нам, что это толерантность. И дружба не перестает быть дружбой, сколько бы ни учили нас ставить во главу жизни рыночные отношения. А юный читатель, только входящий в жизнь, должен узнать эту самую жизнь — пусть вначале из книг, потому что столкновение с ней неизбежно, это и называется взрослением. Узнать жизнь надо сначала из хороших книг, чтобы иметь образец того, что такое хорошо и что такое плохо. Как писал Высоцкий: «Значит, нужные книги ты в детстве читал!». Понимал Владимир Семенович, как много зависит от прочитанных, особенно в детстве, книг, ведь плохие книги могут испортить нас не меньше, чем плохие друзья. И конечно, книги должны быть именно друзьями, что способны, когда надо, сказать нам нелицеприятную правду. И не какими-то лукавыми «партнерами», уводящими от реальности в мир, которого не существует. Умение видеть чудо не в приключениях киборга, а в реальности вроде бы обыденной — это качество великой души, которую можно и нужно воспитывать. И это способны сделать не сочинители «страшных рассказов», а писатели, подобные Вьюгиной, умеющие показать реальность такой интересной, что виртуальность становится не нужна. Научить юного читателя любить родину



реальную, начинающуюся от порога родного дома, а не грезить о некоей общечеловеческой стране, где нет войн, где булки запросто в рот падают. Все это качества настоящего ума, который можно и нужно воспитывать. Уметь быть добрым даже тогда, когда вынуждают быть злым. И быть добрым не теоретически, а на деле, когда порой раздражают не какие-то сказочные киборги, а вполне реальные люди... Всему этому учат (или не учат) книги.

В произведениях Светланы Вьюгиной хочется войти, вернуться, как в детство, чтобы вдохнуть воздуха свежести и незамутненности, доброты и отваги, который так порою нужен и во взрослой жизни. Поэтому, наверное, я не только давал и даю книги Вьюгиной читать детям, несмотря на то, что могут и зачитать. Я и сам перечитываю их... Это очень нужные для души книги!

Вы спросите, а какие именно? Да все! Если видишь на обложке имя автора — Светлана Вьюгина, можно, не сомневаясь, брать эту книгу, плохому она не научит, а задуматься заставит. Героев повествований Вьюгиной даже не назвать персонажами, настолько они реальны. Они не приводят к жизни, помогают понять в ней главное, осознать вещи, без которых сложно стать личностью.

И опять вернусь я, благодаря Светлане Вьюгиной, к теме русской деревни как истоку России. Одной из отдушин современного горожанина стали дачи, иначе тяжело переносить блага цивилизации, если лишен возможности хотя бы изредка походить босиком по родной земле и окончательно не потерять с ней связь. Где еще можно так непосредственно ощутить, что ты часть этой природы, этой страны, которая не есть что-то отвлеченное, а вот именно этот лесок, эта маленькая речка, эти камушки, сверкающие на дне, эта прекрасная даже в своем увядании черемуха...

«...Черемуха душисто отцветала, потом тихо осыпала крылечко легкими лепестками и теперь скромно наклонилась над нами, как бы прислушиваясь к маминной сказке». Дети просят маму придумать сказку про черемуху, но мама отвечает: «Черемуха сама о себе рассказывает...». Какая глубокая русская мудрость в словах мамы! Тютчев об этом гениально сказал: «Мысль изреченная есть ложь...». А мама в книге Светланы Вьюгиной сказала проще, но оттого не менее глубоко и философски. А сама краткость, с которой писательница буквально несколькими штрихами рисует исконный русский быт, похожа на краткость Чехова. Так и видишь, что утомленная мать варит варенье на зиму, разливая его по банкам, и похожа мама в это время на усталую пчелу, а варенье струится, как свежий мед. Как просто, без лишних слов сказано о единстве человека и природы, что все мы в чем-то пчелы и каждый трудится по-своему. И сразу, читая это, вдруг вспомнишь Аксакова и его детские воспоминания о варке варенья его мамой, и сразу видишь ту преемственность поколений, на которой стоит русская традиция, непоколебимая никаким новым строем правления...

Философское мышление заключено обычно в самых простых вещах, когда говорит настоящий философ. А именно русским философом, по сути, является эта светлая улыбчивая женщина-писатель Вьюгина, которая дает нам образцы практически идеального общения отцов и детей. Она не рассуждает об ответственности за тех, кого мы приручили, словами Сент-Экзюпери. Когда у героя рассказа «Конопастик» маленького Вовы пропадает любимый хомячок, мама говорит Вове: «Ты перестал с ним заниматься, вот он и убежал». «Я ведь только немножко, на один денек перестал», — «А если бы я тебя на денек оставила?». И никаких тебе нудных нотаций, ссылок на французского писателя — все просто и гениально! Побольше бы таких мам в жизни. И побольше бы таких писателей, которые способны увидеть этих мам и привести на страницы своих произведений.

Автор горазд на выдумку, но не громоздит фантазии, а учит нас, своих читателей, таланту видеть чудесное вокруг, рядом, увидеть чудесное в обычном. В рассказе «Земля» мальчик с папой идут на пруд. И по дороге они разговаривают о цветах, папа вспоминает свое деревенское детство, когда был ровесником сына... «— Да-а, — говорит папа. — Красота! — Где красота? — Где-где... — смеется папа. — Везде! Вокруг нас! На всей нашей земле красиво».

Может, потому и так много среди нас впоследствии, когда вырастаем, блудных сыновей и дочерей, что ищут добра далече от того места, где родились, что вовремя не обратили их детское внимание на те чудеса, что постоянно творятся вокруг нас на нашей родной земле. И вот уходят блудные дети за какой-то не вполне понятной мечтой, которую, возможно, вычитали в одной из фантомных своих книг. И только лишившись малой родины, вдали от нее неожиданно для себя начинают ценить то, что почему-то не видели раньше вокруг себя. А если и видели, то не замечали! А она, мечта, оказывается, течет недалече от родного крылечка, аукается в ближнем лесу...

«В городе, где живет Вадик, нет ни океана, ни моря, есть только реки — Сейм и Тускарь... Но это тоже замечательно, что у нас есть целых две реки! Многие вон в пустыне живут, там стакан воды дороже всякого золота...».

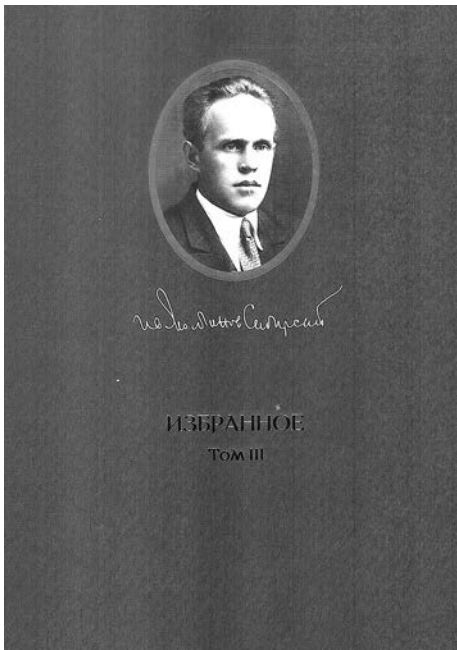
Многие книги Вьюгиной, да почти все — родом из детства, во многих видна автобиографичность, потому что простые чудеса это вам не байки про киборгов, и их не придумашь. Их надо прожить и увидеть! Одним из таких чудес был прекрасный творческий союз Светланы с поэтом Иваном Тertyчным — союз двух светлых, добрых талантливых людей, глядя на которых, всякий писатель понимал, что устоявшееся мнение о том, что два таланта, два писателя плохо уживаются друг с другом, имеет счастливые исключения. Мне не раз посчастливилось бывать в их доме на проспекте Вернадского, очень часто не только одному, но и с женой Тamarой Михайловной, и наслаждаться атмосферой того воистину пушкинского дружества, любви и созвучности, что царила меж этих людей и одаривала теплом и светом всех, кто оказывался рядом с ними. Два красивых русских человека, два таланта, два света — они как бы усиливали все лучшие качества друг друга... Увы, свет не бесконечен, но уверен: Иван Тertyчный сегодня смотрит с неба на свою любимую Светлану и радуется, что даже такое страшное горе его безвременного ухода не подкосило ее, не погасило свет ее глаз и книг!

Ведь книги Светланы Вьюгиной из категории таких «обычных чудес», которые придумывать не надо, надо просто дать себе труд и внимание увидеть эти чудеса. А потом щедро поделиться ими со своими читателями, ведь этот свет — триединство веры, любви и надежды.

Накануне юбилея у Светланы Васильевны в издательстве «Российский писатель» совместно с секретарем Правления Союза писателей России Николаем Коновским вышла книга под названием «Вечная Россия, или У Бога все живы». Эта православная книга для взрослого читателя рассказывает о писателях Юрии Бондареве, Юлии Друниной, Владимире Корникове из Костромы, о Михаиле Годенко, Валентине Распутине.



# Книжная полка



**Молчанов-Сибирский, И.И.**

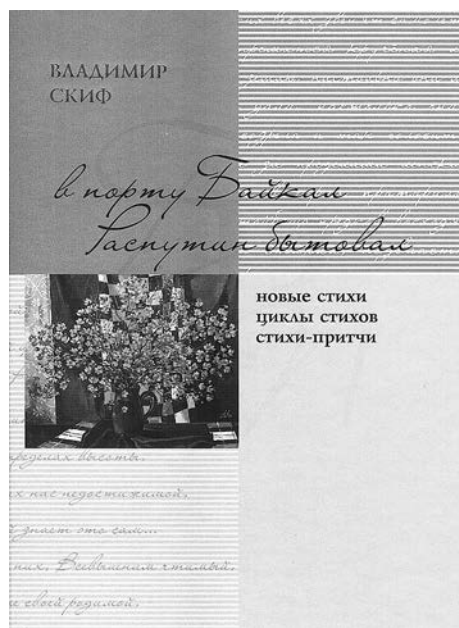
**Избранные произведения : в 3 т. Т. 3. : стихи и проза для детей / И.И. Молчанов-Сибирский. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2024. — 244 с. : ил.**

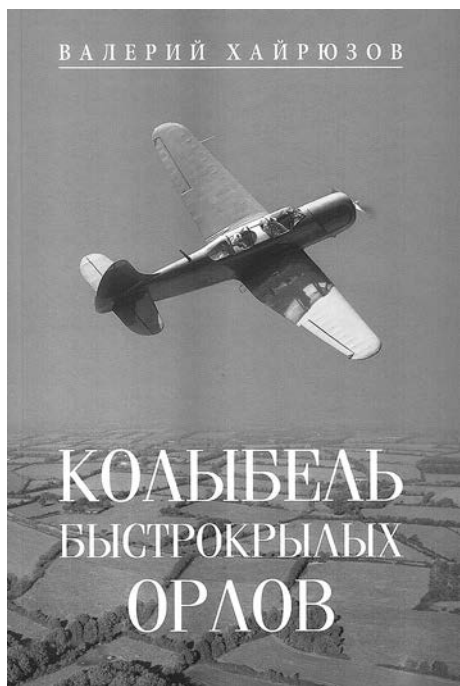
В третий том под общим названием «Дяди Ванин туесок» вошли рассказы и стихи для детей, поэма «Шишкар», повести «Мальчишка из предместья», «Акимкина маевка», а также рассказы «Медвежонок на палубе», «Байкальский мальчуган» и другие.

**Скиф, В.П.**

**В порту Байкал Распутин бытовал : стихи / В.П. Скиф. — СПб : Издательство «Маматов», 2024. — 372 с. — (Библиотека российской поэзии).**

В новую книгу известного поэта Владимира Скифа вошли новые стихи, циклы стихов, стихи-притчи. В предисловии к книге литературный критик В. Лютый пишет: «...Владимир Скиф прекрасный лирик реалистического толка, превосходно владеющий самыми разными способами литературной изобразительности... Уже самим названием сборника автор ориентирует своего читателя на реалистический профиль последующего корпуса сюжетов. Именно к этому подводит нас имя Валентина Распутина в заглавии...».





**Хайрюзов, В.Н.**

**Колыбель быстрокрылых орлов : повесть, рассказы, пьесы / В.Н. Хайрюзов. — М. : Вече, 2024. — 640 с.**

В новый сборник произведений Валерия Хайрюзова вошли не только воспоминания о детстве и отрочестве, о годах учебы в летном училище и на факультете журналистики Иркутского государственного университета, но также хроника противостояния президента и парламента в годы работы автора в Верховном совете России — «Кто вызывает ветер», лирические истории «Добролёт» и «Кинбурнский волк», очерк «Извольте, Словения!», острое злободневное интервью «Еще раз о патриотизме» и, конечно, рассказы об опасной работе летчиков гражданской авиации на северных маршрутах,

о которой автор, много лет проработав пилотом в сибирском небе, знает не понаслышке. Также в книгу вошла пьеса «Иннокентий».

**Журавский, А.В.**

**Ab uno dicunt omnes : избранные стихотворения и переводы / А.В. Журавский — Иркутск : [б.и. «ООО Восточно-Сибирская типография»], 2024. — 176 с.**

В книгу стихов Александра Журавского вошли новые стихотворения, а также переводы с нескольких десятков языков народов мира. Текст снабжен рисунками автора. Книга издана по решению Издательского совета Иркутского Дома литераторов.







**Корнилов, В.В.**

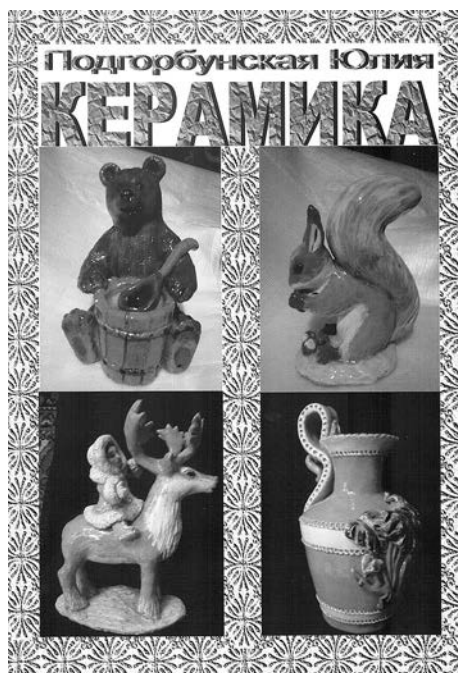
**Сроднило нас русское слово : отзывы и статьи о творчестве современных российских поэтов и прозаиков / В.В. Корнилов. — СПб : Родные просторы, 2023. — 236 с.**

В новой книге известного сибирского поэта Владимира Корнилова «Сроднило нас русское слово» опубликованы статьи, отзывы и комментарии о творчестве коллег, собратьев по перу — современных российских поэтов и писателей. Со многими из них Владимир Корнилов встречался и подружился на творческих конференциях, семинарах, презентациях... Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся современной российской литературой.

**Подгорбунская, Ю.В.**

**Керамика : стихи и работы / Ю.В. Подгорбунская. — Иркутск : Репроцентр +, 2024. — 60 с. : ил.**

Иллюстрированный альбом представляет керамические работы Юлии Подгорбунской — члена Союза писателей России, поэта, скульптора, живописца. Также в издании опубликованы стихи Юлии, посвященные гончарному искусству.



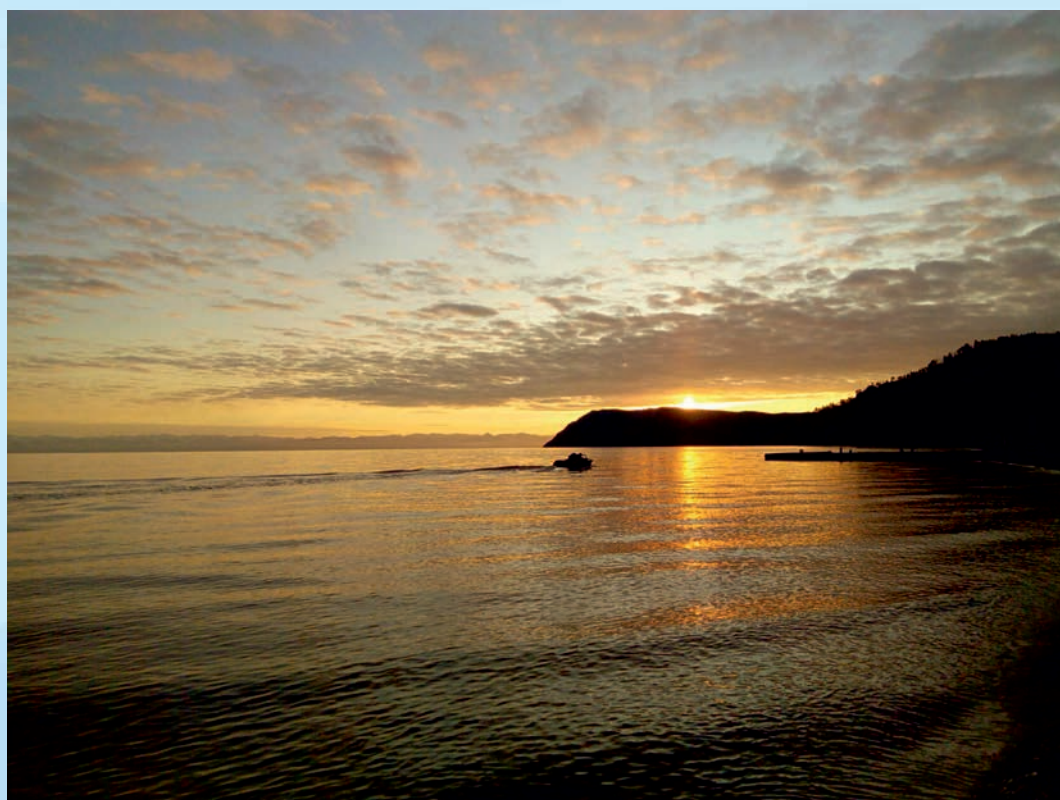


Фото И.А. Прищеповой





# АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ

125 лет  
со дня  
рождения

